Методъ V. Bourgarde.

Полный практическій и теоретическій курсъ французскаго языка для взрослыхъ.

В. Бургарда.

Шестое изданіе

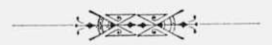
вновь исправленное и дополненное.

Часть II.

(Для желающихъ читать безъ словаря и говорить).

Цѣна 2 рубля.

Обратить вниманіе на примѣчаніе на оборотѣ книги.



С.-Петербургъ.
Типографія Тренке и Фюсно, Максимиліановскій переулокъ, № 13.
1906.



Оглавленіе.

СТРАН.
Необходимыя указанія и совѣты VII
О чтеніи книгъ IX
Списокъ авторовъ и сочиненій въ порядкѣ легкости слога XI
Опечатки XV
Матеріалы для словесныхъ и письменныхъ упражненій въ разговорной рѣчи (сто §§ разговоровъ на разныя темы) 1-85
Pages choisies des auteurs contemporains 85
Paul de Kock. Un banc du boulevard (*Un mari dont on se moque*) . . . 87
Henri Greville. La femme moderne 96
Guy de Maupassant. Un Journal parisien (*Bel-Ami*) 99
La relique 101
Jalousie (*Pierre et Jean*) 105
La nuit. Cauchemar 107
Hector Malot. Angoisses d'un père (*Mère*) 111
Les ambitions d'un tyranneau de village (*Marichette*) 116
Georges Ohnet. Avant le duel (*Le Maître de forges*) 120
Alexandre Dumas (père). La mort d'un Titan (*Le Vicomte de Bragelonne*). 123
Waterloo. (*Excursions sur les bords du Rhin*) 128
Alexandre Dumas (fils). Paradoxe idéalisé. (*La Dame aux Camélias*) . 133
George Sand. La prière du soir. (*La mare au diable*) 135
Paysanne et jacobin (*Nanon*) 138
Symphonie sur les lagunes (*Lettres d'un voyageur*) 142
Égayons l'école (*Histoire de ma vie*) 145
Alphonse Daudet. Mes caoutchoucs (*Le Petit-Chose*) 146
Le porte-drapeau (*Contes du lundi*) 149
François Coppée. Le Louis d'or. Conte de Noël 153
André Theuriet. L'enterrement 158
Valmy (*La Chanoinesse*) 162
Rule, Britannia 170
Erckman-Chatrian. Première bataille (*Le conscrit de 1813*) 175
Blessé (*Le conscrit de 1813*) 178
Alfred de Musset. La jeunesse romantique (*La confession d'un enfant du siècle*) 179
Impromptu. (Une réponse à cette question: Qu'est-ce que la Poésie) . 186
La mort (*Extrait du Saule*) 186
Mérimée. L'enlèvement de la redoute 187

СТРАН.

Edmond et Jules de Goncourt. Le bal de l'opéra (*Charles Demailly*) . 191
La salle d'hôpital (*Sœur Philomène*) 193
Le duel (*Renée Mauperin*) 195
L'exécution de M[me] du Barry (*La du Barry*) 197
Victor Cherbuliez. Le chirurgien (*Noirs et Rouges*) 200
H. de Balzac. La mort du père Goriot (*Le père Goriot*) 208
Paul Deroulède. En avant! (*Poésies militaires*). 215
Lamartine. Un village des Alpes (*Jonceclyn*) 216
Rêverie du jeune âge (*Lectures pour tous*). 218
L'infini (*Lectures pour tous*). 219
Octave Feuillet. Croyance idéale (*La Morte*) 220
De la prière (*La Morte*) 222
Théophile Gautier. Le poète et la foule (*Poésies*) 223
Alfred de Vigny. Les horreurs de la guerre (*Grandeur et Servitude militaires*) 224
Sully Prudhomme. L'agonie (*Les solitudes*) 227
Pierre Loti. Le quart à bord du «Primauguet». (*Mon frère Yves*) . . . 229
La mort de Sylvestre (*Pêcheur d'Islande*) 231
Une aurore boréale (*Fleurs d'ennui*) 233
L. A. Thiers. Discours sur la déclaration de guerre à la Prusse (15 juillet 1870). 235
Paul Margueritte. Un moment de félicité. (*La Tourmente*) 239
Anatole France. L'étoile (*Le livre de mon ami*). 242
Gustave Flaubert. L'éducation d'Emma Bovary (*Madame Bovary*) . . . 246
Chateaubriand. Une profession de foi (*Essai, préface de 1826*) 250
Victor Hugo. Après la bataille (*Légende des siècles*) 252
La mort de Gavroche (*Les Misérables*) 253
Waterloo (*Les Châtiments*) 255
L'asile (*Notre-Dame de Paris*). 257
Coup d'œil de celui qui est hors de tout. (*L'homme qui rit*) 260
Edouard Rod. Religion. (*Le sens de la vie*) 264
La Mort (*Le sens de la vie*) 266
Emile Zola. La Mort de Miette (*La fortune des Rougon*) 268
Le paradou (*Le faute de l'abbé Mouret*). 272
Après le conseil des ministres (*Son Excellence Eugène Rougon*) . . 275
Paul Bourget. Angoisse (*Un crime d'Amour*) 278
Prêtre et sceptique (*Mensonges*) 280
Psychologue criminel (*Le disciple*) 285

Lettres 289
Modèles de lettres. Billets d'invitation, d'acceptation et de refus . . . 291
Billets et lettres d'affaires, de demande, de sollicitation, de gratitude, de recommandation etc.. 292
Lettres de commerce 304
Procurations 311

Необходимыя указанія и совѣты.

Вторая часть учебника состоитъ изъ **трехъ** отдѣловъ: 1-го *русскаго*, заключающаго въ себѣ 100 упражненій въ связныхъ разговорахъ на всевозможныя темы, 2-го *французскаго* подъ заглавіемъ: **«Pages Choisies»**, въ который вошли лучшіе отрывки современныхъ выдающихся писателей Франціи и 3-го нѣсколькихъ образцовъ *писемъ* разнаго содержанія изъ общаго ежедневнаго обихода, дѣловыхъ и коммерческихъ. Учащіеся, которые прошли первую часть **Курса**, а также начинающіе уже говорить, но у которыхъ ощущается еще недостатокъ словъ, выраженій и оборотовъ, должны перевести постепенно всѣ 100 §§ съ русскаго на французскій, въ первый разъ словесно, въ слухъ, безразлично, ведется ли занятіе подъ руководствомъ учителя, или самостоятельно, во второй же разъ *непремѣнно* письменно, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда учащійся ощущаетъ замѣтный недостатокъ словъ и оборотовъ, свойственныхъ французскому языку, а равно и тогда, если существуютъ кое-какіе недочеты въ правописаніи.

Тѣ, которые занимаются самостоятельно, могутъ провѣрять правильность своего перевода съ русскаго языка на французскій, справляясь съ французскимъ текстомъ всѣхъ 100 §§, изданныхъ особою брошюркою въ Парижѣ (главный складъ и этого изданія въ книжномъ магазинѣ Н. Н. Морева (бывшій Фену и К°) по Невскому пр., д. № 92 въ С.-Петербургѣ) подъ заглавіемъ **«Texte français des exercices russes, contenus dans la 2e partie de la méthode Bourgarde»** и составляющимъ III-ю часть Курса. Однакожъ не нужно упускать изъ виду, что всякое русское предложеніе можетъ быть переведено совершенно правильно и иначе, и такимъ образомъ не смотрѣть на **«Texte français»**, какъ на нѣчто недопускающее никакихъ измѣненій.

Помимо того, что уже было сказано, я *настоятельно* совѣтую учащимся, особенно тѣмъ, которые начали изученіе французскаго языка съ самыхъ элементарныхъ познаній, прежде чѣмъ они займутся переводомъ съ русскаго на французскій, прочитать и постараться предварительно понять французскій текстъ всѣхъ 100 §§, прибѣгая лишь въ крайнихъ случаяхъ, для разъясненія своихъ сомнѣній, къ русскому тексту.

Пройдя такимъ образомъ этотъ отдѣлъ (т. е. 100 вышеупомянутыхъ §§), начинающіе говорить убѣдятся, что они достигли возможности не только понимать прочитанное, но и живую рѣчь, а равно и выражать свои мысли безъ особенныхъ затрудненій; тѣ же, которымъ недоставало свободы выраженій, словъ и проч., будутъ сами себѣ судьями относительно той разницы, которая произошла въ ихъ знаніи.

При изученіи языка почти всегда случается, что многіе, особенно изъ тѣхъ, которые занимались самостоятельно и, пройдя первую часть Курса, достигли пониманія прочитаннаго, все-таки затрудняются въ пониманіи живой разговорной рѣчи. Для устраненія этого недостатка нужно почаще читать вслухъ; еще лучше, если учащійся имѣетъ возможность прислушиваться къ чьему-либо постепенно ускоряемому выразительному чтенію французскаго текста 100 §§ упражненій, но не тѣхъ, съ которыми онъ уже ознакомился, а новыхъ, т. е. тѣхъ, которыхъ онъ еще не переводилъ или читалъ.

Вѣра въ самого себя, въ то, что указанный путь и методъ приведутъ къ желаемой цѣли и, наконецъ, извѣстная доля **терпѣнія** — вотъ и все, чѣмъ нужно вооружиться, чтобы, закончивъ занятія и закрывъ эту книжку, сказать самому себѣ: «время и трудъ далеко не пропали даромъ». Это будетъ лучшею наградою за мое искреннее желаніе принести учащимся дѣйствительное облегченіе въ достиженіи ими желаемой цѣли.

Викторъ Бургардъ.

Cap d'Antibes, septembre 1905.

О чтеніи книгъ.

Тѣ изъ учащихся, которые прошли первую часть метода (заключающую слишкомъ 8000 словъ), могутъ **смѣло** приступить къ чтенію французскихъ авторовъ, согласно тѣмъ указаніямъ, которыя заключаются въ статьѣ, помѣщенной въ 1-й части вмѣсто предисловія. Что касается выбора авторовъ и сочиненій, то въ ниже помѣщенномъ спискѣ находится все то, что есть лучшаго въ современной беллетристикѣ Франціи.

Однакожъ для достиженія полнаго чтенія безъ помощи словаря, необходимо переходить постепенно отъ болѣе легкаго къ болѣе трудному слогу и придерживаться по мѣрѣ возможности того порядка при чтеніи французскихъ авторовъ, который указанъ въ этомъ спискѣ. Тѣ учащіеся, которые, начавъ изученіе французскаго языка съ самыхъ элементарныхъ познаній, ограничивались до сихъ поръ лишь чтеніемъ разсказовъ, помѣщенныхъ послѣ каждаго урока, сдѣлаютъ гораздо лучше, если прежде чѣмъ они приступятъ къ чтенію одного изъ сочиненій упомянутыхъ въ нижеслѣдующемъ спискѣ, прочтутъ нѣсколько отрывковъ (хотя *десять* первыхъ) изъ «**Pages choisies des auteurs contemporains**» (смотри страницу 87-ю).

Читать слѣдуетъ **непремѣнно** безъ словаря, если вначалѣ будетъ попадаться еще довольно много неизвѣстныхъ словъ или неясныхъ предложеній, продолжать **во что бы ни стало** подобнаго рода чтеніе, довольствоваться пока пониманіемъ лишь *нити* разсказа и всякій учащійся убѣдиться, какъ мало-по-малу онъ пріобрѣтетъ массу новыхъ словъ, выраженій и прочее, а главное освоится и пойметъ духъ языка. Прошу имѣть всегда въ виду, что тѣ, которые пріобрѣли уже около 5 тысячъ словъ, могутъ смѣло приступить къ подобнаго рода чтенію, и вотъ почему: допустимъ, что изъ 10 словъ

6 уже извѣстны учащемуся, то по смыслу разсказа онъ непремѣнно угадаетъ по крайней мѣрѣ еще 2 или 3 слова, а остальныя не могутъ уже служить серьезнымъ препятствіемъ, наконецъ, и найти-то ихъ въ словарѣ не составитъ особеннаго труда и затраты времени. Повторяю еще разъ: пока учащійся встрѣчаетъ на страницѣ прочитаннаго 10—15 неизвѣстныхъ словъ, ему не слѣдуетъ прибѣгать къ помощи словаря, а *несравненно* лучше и *полезнѣе* прочитать еще разъ или два неясный для него отрывокъ и постараться уловить общій смыслъ. Когда же учащійся замѣтитъ, что на страницѣ прочитаннаго число незнакомыхъ словъ не превышаетъ уже 5-ти или 6-ти и что они затемняютъ смыслъ — это и есть моментъ, когда пользованіе словаремъ принесетъ ему существенную пользу.

Можетъ быть и даже болѣе чѣмъ вѣроятно, что многимъ подобнаго рода совѣтъ покажется весьма страннымъ и идущимъ въ разрѣзъ съ общепринятымъ способомъ изученія, лучшее средство убѣдиться въ истинѣ этой аксіомы — это личный опытъ, при условіи, что у нихъ хватитъ силы воли и терпѣнія прочитать такимъ образомъ 3 или 4 сочиненія, а результатъ докажетъ имъ до очевидности справедливость этого утвержденія.

Наконецъ, всѣ тѣ, которые уже изучили нѣмецкій языкъ по моему методу, а вѣдь онъ гораздо труднѣе французскаго, и убѣдились въ цѣлеобразности этого совѣта, могутъ служить лучшимъ и и неоспоримымъ доказательствомъ, что это есть кратчайшій и вѣрнѣйшій путь достичь желаемой цѣли въ самое короткое время и съ самою меньшею затратою труда и времени.

Сочиненія, напечатанныя жирнымъ шрифтомъ и курсивомъ, самыя выдающіяся.

Списокъ авторовъ и сочиненій въ порядкѣ легкости слога.

Paul de Kock. — *Un mari dont on se moque. Mon ami Piffard. Les demoiselles de Magasin. Une drôle de maison. La famille Braillard. La famille Gogo. Papa Beau-père. Le concierge de la rue du Bac. Le professeur Fichelaque. Les petits ruisseaux. Le Millionnaire. Maison Perdaillon et C-ie* и проч.

Émile Gaboriau. — L'affaire Lerouge. *M. Lecocq.* Le dossier № 113. La clique dorée. *La corde au cou.*

Henri Gréville. — *Dosia.* La princesse Ogheroff. Le vœu de Nadia. Le crime. Perdue. Les épreuves de Raïssa.

Henri Rochefort. — *Le palefrenier.*

Jean de la Brète. — *Mon oncle et mon curé.* **Un vaincu** (Prix Montyon).

Ernest Daudet. — L'espionne и проч.

Guy de Maupassant. — Une Vie. **Bel-Ami.** Pierre et Jean. Au Soleil. Notre Cœur. *Fort comme la Mort.* Mr. Parent. Horla и проч.

Gabriel Franay. — Mon chevalier (Prix Montyon.)

Albert Delpit. — *Le fils de Coralie.* Disparu. La Marquise. Mademoiselle de Bressier. Comme dans la vie.

Erckman-Chatrian. — L'invasion. Waterloo. Le conscrit de 1813. *L'ami Fritz. Contes populaires* и проч.

Saint-Prix. — *Vertu païenne.*

Hector Malot. — *Sans famille.* Les Millions honteux. Le lieutenant Bonnet. Micheline. *Conscience. Justice.* Mondaine. Mère. Mariage riche.

Jules Sandeau. — *Mademoiselle de la Seiglière.* Maison de Penarvan и проч.

Georges Ohnet. — **Serge Panine.** *Le Maître de forges.* Volonté. Le docteur Rameau. La Grande Marnière. Dernier Amour. Le chemin de la gloire. La Conquérante и проч.

Octave Feuillet. — *Le Roman d'un jeune homme pauvre. Monsieur de Camors.* Un mariage dans le monde. Un Roman Parisien. Histoire d'une Parisienne. **La Morte**. *Honneur d'Artiste.*

André Theuriet. — **La maison des deux Barbeaux**. Tante Aurélie. Sauvageonne. Deux Sœurs. Boisfleury.

René Bazin. — Les Oberlé. Donatienne.

Jean Richepin. — **Madame Andrée.**

A. Dumas père. — Les trois Mousquetaires. Vingt ans après. Vicomte de Bragelonne. **Comte de Monte-Christo. Louis XIV et son siècle.** *Fernande.* Impressions de voyage и проч.

Eugène Sue. — Mystères de Paris. Juif-Errant и проч.

A. Dumas fils. — *La Dame aux Camélias.* Diane de Lys. Le Roman d'une femme. Affaire Clémenceau и проч.

Alfred de Musset. — **La confession d'un enfant du siècle**. Poésies.

Béranger. — Chansons.

Merimée. — Chronique du règne de Charles IX. **Colomba**.

George Sand. — Histoire de ma vie. **Mauprat**. Consuelo. Indiana. Le Marquis de Villemer. Jean de la Roche. **La Mare du Diable.** Nanon и проч.

Edmond et Jules Goncourt. — **Sœur Philomène**. Charles Demailly. **Madame Gervaise**. Renée Maupérin. La Faustin и проч.

Marcel Prévost. — La Confession d'un Amant. **Les Demi-Vierges**. Frédérique. Léa. La princesse d'Erminge (1904).

Octave Mirbeau. — Le Calvaire.

Paul Margueritte. **La Tourmente**. Ame d'enfant. Les femmes nouvelles.

Paul et Victor Margueritte. — **Désastre** и проч.

Edmond Rostand. — Princesse Lointaine. **Cyrano de Bergerac**. L'aiglon.

François Coppée. — Henriette. **Toute une jeunesse**. Contes en prose. *Longues et brèves.*

Henri Régnier. — Le passé vivant. Les rencontres de M. Bréot.

Pierre de Coulevain. — Sur la branche.

Victor Cherbuliez. — Le comte Kostia. *Le Roman d'une honnête femme.* **L'idée de Jean Téterol. Noirs et Rouges**. Méta Holdenis. La bête. Le Secret du Précepteur и проч.

Alphonse Daudet. — Lettres de mon moulin. *Contes du Lundi.* **Le Petit Chose. Fromont Jeune et Risler Aîné**. Jack. Les Rois en exil. **Le Nabab. Sapho**. Numa Rumestan. L'immortel. **La petite Paroisse. Soutien de famille** и проч.

Gustave Flaubert. — **Madame Bovary**. L'éducation Sentimentale. La tentation de Saint-Antoine.

Madame de Staël. — Corinne.

Pierre Loti. (Julien Viaud). — **Pêcheur d'Islande**. Roman d'un enfant. Mon Frère Yves. **Madame Chrysanthème**. Le Roman d'un Spahi и проч.

Brieux. — Les Avariés.

Alfred de Vigny. — *Grandeur et Servitude militaires.* **Cinq-Mars.**

Édouard Rod. — **Le Sens de la Vie**. Les trois cœurs. La Sacrifiée. La Course à la Mort. Les Roches Blanches и проч.

Anatole France. — **Le Crime de Sylvestre Bonnard. Thaïs. Le Lys rouge.** L'orme du Mail и проч.

J.-K. Huysmans. — Là-bas. En route. La Cathédrale.

Henri Taine. — Derniers essais de critique et d'histoire. Voyage en Italie. Voyage aux Pyrénées.

Balzac. — **Le père Goriot**. Le cousin Pons. Eugénie Grandet. La femme de trente ans. Les deux poètes. Le Curé de Tours. **Grandeur et Décadence de César Birotteau** и проч.

Stendhal (Henri Beule). — *Le Rouge et le Noir.* Chartreuse de Parme.

Louis-Adolphe Thiers. — Histoire de la Révolution. Histoire du Consulat et de l'Empire.

Delavigne. — École des Vieillards.

André Chénier. — Poésies lyriques.

François Guizot. — Histoire générale de la civilisation en France.

M. Miguet. — Histoire de la Révolution française.

Mirabeau. — **Discours.**

Alphonse de Lamatine. — Méditations. Harmonie poétique. **Histoire des Girondins** и проч.

Victor Hugo. — **Les Misérables**. Notre-Dame de Paris. L'homme qui rit. Hernani (drame). Le Roi s'amuse (drame) и проч.

Emile Zola. — **Contes à Ninon**. Les Soirées de Médan. **La faute de l'abbé Mourret. Son Excellence Rougon**. Une page d'amour. **Germinal.** L'œuvre. L'argent. La Débâcle. **Le docteur Pascal**. Lourdes. Rome. Paris.

Paul Bourget. — **Cruelle Énigme. Un Crime d'Amour. Mensonges. Le disciple**. Un Cœur de Femme. La Terre promise. Cosmopolis. Les Voyageuses. Drames de famille. Un Divorce и проч.

Charles Baudelaire. — **Œuvres complètes.**

Классики.

Bernardin de Saint-Pierre. — Paul et Virginie. Harmonies de la nature.

Châteaubriand. — **Atala.** L'essai. Génie du Christianisme. Mémoires d'outre-tombe и проч.

Beaumarchais. — Barbier de Séville. Mariage de Figaro.

F. M. de Voltaire. — **Le Siècle de Louis XIV.** Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. La mort de César (tragédie). Œdipe (tragédie). Brutus (tragédie) и проч.

Jean-Jacques Rousseau. — Mes confessions. **Contrat social.** Émile.

La Fontaine. — Fables.

Corneille. — **Le Cid.** Cinna. Polyeucte.

Jean Racine. — Britannicus. **Phèdre. Athalie** и проч.

Molière. — Les précieuses ridicules. Don Juan. **Le Tartuffe.** L'Avare. Le Misanthrope. **Les Femmes savantes.** Le Malade imaginaire и проч.

Boileau. — Satires. **L'Art poétique.**

Pascal. — Lettres persanes. Pensées.

Bossuet. — **Oraisons funèbres.**

Montesquieu. — Lettres persanes. **Esprit des Lois.**

Что касается словарей, то лучшіе изъ нихъ: **Макарова,** какъ русско-французскій, такъ и французско-русскій, **Каменскаго** фр.-русскій и **Таккеля** тоже франц.-русскій; болѣе знающіе могутъ пользоваться прекраснымъ толковымъ французскимъ словаремъ **Larousse** — (100 изданіе), цѣна 5 фр. (2 руб.).

Опечатки.

Стран.	Строки.	Напечатано.	Читайте.
5	6 сверху	сейчасъже	сейчасъ же
9	6 »	я	и я
44	1 снизу	предложенія	предположенія
117	7 сверху	ui	lui
151	14 снизу	Envelons-le!	Enlevons-le!
205	16 »	favoiris	favoris
218	4 сверху	Réveries	Rêveries
227	1 »	se moment	ce moment
231	5 »	hamme	homme
251	4 снизу	chergé	clergé
262	4 сверху	cestigmate	ce stigmate
272	8 снизу	légerrire.	léger rire

ПРИМѢЧАНІЕ
для покупающихъ эту книгу.

Всякій, купившій учебникъ, можетъ отослать его автору (С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 106; прошу лишь имѣть въ виду, что авторъ живетъ въ С.-Петербургѣ только съ 15 сентября по 1 мая, остальное время года за границею), если, пройдя его добросовѣстно, онъ найдетъ, что учебникъ не принесъ ему истинной пользы и не оправдалъ его ожиданій. Номинальная цѣна будетъ выслана желающему немедленно за отчисленіемъ 20% (уступки дѣлаемой книгопродавцамъ) и 15 коп. за почтовый переводъ (для иногородныхъ). Книга можетъ быть и бывшая въ употребленіи, лишь бы съ полнымъ числомъ страницъ и не слишкомъ запачканная.

Начинающіе изученіе французскаго языка, во избѣжаніе лишняго расхода, могутъ пріобрѣтать сначала 1-ю часть руководства, и тогда лишь покупать 2-ю часть, когда они будутъ убѣждены въ **несомнѣнной** пользѣ учебника.

Лица, не имѣющія вѣрнаго понятія объ изученіи языка, думающія, что это дѣло нѣсколькихъ недѣль, а не нѣсколькихъ мѣсяцевъ, сдѣлаютъ гораздо лучше, **не покупая** эту книгу.

Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ имперіи и по желанію высылается въ провинцію наложеннымъ платежомъ. Главный складъ всѣхъ изданій В. Бургарда въ книжномъ магазинѣ Н. Н. Морева (Фену и К°), С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ № 92.

МАТЕРІАЛЫ
для
СЛОВЕСНЫХЪ И ПИСЬМЕННЫХЪ УПРАЖНЕНІЙ
ВЪ РАЗГОВОРНОЙ РѢЧИ.

1.

Здравствуй, моя милая; я уже давно звоню, и никто не вышелъ отпереть мнѣ. Мы всѣ были въ саду и ничего не слышали. Я думала, что здѣсь никто не живетъ (habiter, demeurer, loger). Мы здѣсь съ прошлаго вторника. Какъ вамъ нравится ваша новая квартира? Мы еще не совсѣмъ устроились (s'arranger, s'installer), но домъ очень хорошъ, комнаты обширны и свѣтлы. У насъ есть также конюшни, большой дворъ и прекрасный садъ. А есть ли у васъ жильцы? Всего только двое: одинъ занимаетъ нижній этажъ, а другой живетъ въ третьемъ. Кто такіе эти жильцы? Это два семейства; ихъ почти никогда не видать; оба они бездѣтны. Не покажешь ли мнѣ (Ne vas-tu pas me montrer) своихъ комнатъ? Съ большимъ удовольствіемъ, пойдемъ со мною. Вотъ моя спальня. Эта лѣстница просторна, красива и не крута (raide, rapide); ступеньки (les marches) очень удобны. Вотъ комнаты моей матери. Какая у васъ прекрасная мебель: шкапъ изъ краснаго дерева, а письменный столъ изъ чернаго! Какъ тебѣ нравятся этотъ стулъ и это кресло? Все превосходно: диванъ, комодъ и коверъ восхитительны (ravissant). Но кто разбилъ (briser) это стекло? Мой братъ. Обои этой комнаты замѣчательно хороши; но почему въ этой комнатѣ полъ не паркетный? Наконецъ, вотъ и людскія (l'office). Покажи мнѣ теперь погребъ, кухню и чердакъ.

2.

Скажите мнѣ вашу послѣднюю цѣну, я терпѣть не могу торговаться (marchander). Ничего не могу уступить, это крайняя цѣна (prix fixe, prix fait), мы никогда не запрашиваемъ (surfaire). Уступите по (à) рублю 30 копѣекъ за аршинъ. Извините, не могу. Этотъ атласъ (satin) намъ самимъ стоитъ дороже. Но я не замѣчала, чтобы цѣна поднялась на шелковыя матеріи. Я помню, что (я) покупала (d'avoir acheté) у васъ же по рублю аршинъ, и атласъ былъ лучше этого. Вы ошибаетесь, вѣроятно; хорошее сохраняетъ (conserver, garder) всегда свою цѣну. Итакъ (or), я должна согласиться на ту цѣну, какую вы отъ меня требуете! Отрѣжьте 12 аршинъ и не скупитесь въ (sur la) мѣрѣ. Объ этомъ не безпокойтесь. Есть ли у васъ бархатъ? Есть, сударыня; я покажу вамъ разныхъ сортовъ. Мнѣ не нравится полосатый (rayé) бархатъ; покажите мнѣ гладкій (uni). У насъ есть только одинъ остатокъ (coupon) такого бархата. Жаль; посмотрите, пожалуйста, довольно ли его будетъ на отдѣлку (la garniture) платья. А сколько вамъ нужно на отдѣлку? Не менѣе трехъ съ половиною аршинъ. Тутъ только три съ четвертью аршина. Очень жаль, но этого будетъ мало (suffire). Сдѣлайте отдѣлку немного попроще. Этого бы я не хотѣла; впрочемъ, если вы отдадите за сходную (raisonnable, convenable) цѣну, то я возьму этотъ остатокъ. Я не могу уступить дешевле трехъ рублей за аршинъ. Если вы уступите за два рубля пятьдесятъ копѣекъ, то я возьму его. Вы отложите, пожалуйста, въ сторону все, что я купила. Извольте (volontiers), сударыня. Сколько слѣдуетъ мнѣ заплатить вамъ? За все приходится 16 руб. 35 коп.

3.

Скажите мнѣ, сколько вы платите за вашу квартиру? Я слышалъ, что въ этомъ домѣ всѣ квартиры очень дешевы. Прежде я платилъ 1500 р., но съ прошлой Пасхи (я) плачу меньше въ виду того (vu que), что (я) живу здѣсь уже 16-й годъ. Вашъ хозяинъ — какая-то рѣдкость; всѣ домовладѣльцы (propriétaire) имѣютъ обыкновеніе увеличивать наемную цѣну квартиръ (le loyer), а вашъ уменьшаетъ ее. Нужно вамъ сказать, что я знаю его уже болѣе 25-ти лѣтъ, когда-то (jadis или dans le temps) мы были товарищами по

университету. Вообразите, (что) до сихъ поръ я не могу найти хорошей квартиры; въ прошломъ году я жилъ въ домѣ П., но квартира была сырая и холодная, теперь я нанялъ квартиру въ домѣ О.; но и эта квартира далеко не хороша; къ тому же (d'ailleurs, du reste) она очень мала для нашего семейства. Я вамъ совѣтую посмотрѣть квартиры въ домѣ моего родственника Л.; всѣ помѣщенія (local, appartement) его дома очень удобны и не дороги. Нужно будетъ посмотрѣть, хотя (bien que) его домъ находится далеко отъ центра города. Для меня было бы неудобно жить такъ далеко, но у васъ есть лошади. Не всегда же можно ѣздить, иногда приходится (il arrive) ходить и пѣшкомъ. — Оставайтесь у насъ до вечера; въ 8 часовъ М. придетъ, и мы составимъ (faire) партію виста. Благодарю васъ, но сегодня я не могу: въ половинѣ восьмого (я) долженъ уже быть у Г. — Когда будетъ свадьба вашей дочери? Если обстоятельства позволятъ, то въ (vers, sur) концѣ будущаго мѣсяца — между двадцатымъ и двадцать-пятымъ. Если вы не пригласите Р. и все его семейство, то это можетъ возбудить разные толки (propos). Пусть говорятъ все, что угодно: это меня весьма мало интересуетъ.

4.

Посмотрите, пожалуйста, который часъ на вашихъ часахъ, мнѣ кажется, что мои отстаютъ чуть ли не на четверть часа; не пора ли намъ уже ѣхать? Что вы! (Allons donc), еще нѣтъ и половины 8-го, а поѣздъ уходитъ въ 9 ч. 55 м. Не очень полагайтесь (se rapporter à или se fier) на вѣрность вашихъ часовъ; вѣдь до сихъ поръ вы ихъ не переводили на здѣшній часъ (l'heure d'ici), между тѣмъ разница составляетъ около (environ) полутора часа. Вы забыли, что вотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ здѣсь ввели средній европейскій часъ (l'heure moyenne de l'Europe), такъ что разница не превышаетъ (surpasser) 45 м. Пейте преспокойно (tout tranquillement) вашъ кофе и не волнуйтесь (s'inquiéter, se tourmenter); не только не опоздаемъ, но у насъ будетъ еще время прогуляться по городу. — Все ли вы приготовили къ отъѣзду? Почти все, черезъ пять минутъ мы можемъ и отправляться. Позовите швейцара отнести (emporter) нашъ багажъ. Какъ же мы поѣдемъ: въ омнибусѣ или въ наемномъ экипажѣ? Для меня это безразлично; но я думаю, что въ омнибусѣ будетъ удобнѣе, тѣмъ болѣе что у насъ масса багажа. Скоро ли мы поѣдемъ

(Allons-nous partir bientôt)? Вы видите, что все уже готово; мы ждемъ только омнибуса. Какъ скоро мы доѣдемъ до вокзала желѣзной дороги (Сколько нужно времени, чтобы доѣхать до вокзала)? Мы будемъ тамъ черезъ четверть часа. Я боюсь, чтобъ мы не опоздали къ поѣзду, который отходитъ ровно въ восемь часовъ. Будьте спокойны, мы будемъ на вокзалѣ за часъ до (avant) отхода поѣзда. Я вамъ говорилъ, что вы ошибаетесь, поѣздъ уходитъ не въ восемь часовъ, а въ четверть восьмого. Берите скорѣе билеты. Въ какомъ классѣ вы поѣдете? До Б. во второмъ, а отъ границы (la frontière) въ первомъ. Какой у васъ багажъ? У меня два чемодана, дорожный сакъ и картонка со шляпою. А гдѣ же одѣяло и зонтикъ? Поторопитесь, поѣздъ сію минуту отправляется.

5.

Когда вы отправляетесь въ Дуврь? Сегодня съ третьимъ пароходомъ. Въ такомъ случаѣ я вамъ совѣтую немедленно взять мѣсто. Если вы будете медлить, то, по всей вѣроятности, не найдете отдѣльной каюты (la cabine). Первое или второе мѣсто вы возьмете? Какія цѣны мѣстамъ? Первыя — 32 франка, а вторыя — 19. Возьмемъ первыя мѣста. Гдѣ наши вещи? Я уже отправилъ ихъ на пристань (le port), но я еще не былъ на пароходѣ, чтобы взять для себя каюту. Еще успѣете; теперь не такое время (saison), чтобы трудно было достать (se procurer, se réserver) хорошее мѣсто. Развѣ это ваше первое путешествіе моремъ? (Развѣ вы въ первый разъ путешествуете моремъ?). Нѣтъ, я былъ уже два раза въ Англіи: первый разъ въ 1884 году, а второй — въ 1892. Не забудьте адреса гостиницы, который я вамъ далъ: вы увидите, что вы будете ею (en) очень довольны. Вотъ гостинница, которая имѣетъ довольно приличный видъ (l'apparence). Не остановиться ли (descendre) намъ здѣсь? Войдемъ: если она окажется неудобною въ какомъ бы то ни было отношеніи, то завтра (мы) переѣдемъ въ другую. — Есть ли у васъ свободныя (disponible) комнаты? Да, господа: вы найдете здѣсь прекрасныя комнаты и отличныя квартиры со всѣми удобствами. Я не забочусь (se soucier de) о роскоши, лишь бы комната была удобна и не въ верхнихъ (supérieur, d'en haut) этажахъ. Мнѣ кажется, что изъ всѣхъ комнатъ, которыя мы видѣли, эта самая удобная. Мы беремъ (retenir, prendre) № 42; велите принести (faire apporter) нашъ

багажъ и затопите каминъ, — мы ужасно озябли. Кстати, когда пойдете внизъ, позовите къ намъ буфетчика. Что у васъ есть изъ жаркихъ? Не хотите ли нашпикованной телятины (du fricandeau), ростбифу или цыпленка? Принесите намъ двѣ порціи ростбифу, бутылку краснаго вина и какихъ-нибудь фруктовъ. Больше ничего не желаете? Нѣтъ, только велите сейчасъже подавать намъ ужинать, потому что мы устали съ дороги и хотимъ спать. Постланы ли постели? Не забудьте разбудить насъ завтра ровно въ шесть часовъ утра.

6.

Вы ѣдете въ Парижъ? Точно такъ. Въ такомъ случаѣ я буду имѣть удовольствіе ѣхать съ вами: я тоже отправлюсь (se rendre) туда (y). Это мнѣ очень пріятно; въ обществѣ дорога кажется короче. Одному путешествовать очень непріятно и скучно. Вы правы: когда ѣдешь въ обществѣ, то говорятъ, болтаютъ (causer), и время проходитъ незамѣтно. Какъ вы думаете, когда мы будемъ въ Парижѣ? Завтра въ половинѣ 10-го вечеромъ ... А я былъ увѣренъ, что этотъ поѣздъ приходитъ въ Парижъ въ семь часовъ, а не въ половинѣ 10-го. Вы смѣшали (confondre); это пассажирскій поѣздъ, а не курьерскій, который хотя и уходитъ изъ Мобежъ (Maubège) часомъ позже, но все-таки приходитъ въ Парижъ въ семь часовъ вечера. Въ такомъ случаѣ намъ слѣдовало ѣхать не съ этимъ поѣздомъ (prendre ce train), а съ курьерскимъ. Это зависитъ отъ вкуса; но я предпочитаю пассажирскіе поѣзда (les trains-omnibus): хотя они и ходятъ медленнѣе, но удобнѣе и въ нихъ само путешествіе пріятнѣе. — Мнѣ сказали, что у васъ отдаются комнаты въ наемъ; нельзя ли мнѣ ихъ видѣть? У меня есть на разныя цѣны. Какъ вамъ угодно нанять: поденно или помѣсячно? Покажите мнѣ ихъ, а потомъ (puis) мы поговоримъ уже о всѣхъ этихъ условіяхъ. (débattre les conditions) Вотъ прекрасная комната; она въ первомъ этажѣ, и при ней есть особый кабинетъ, который можетъ замѣнить (remplacer, servir de) спальню. Она не очень велика, я хотѣлъ бы побольше. Вы видите, что тутъ масса мебели; половину стульевъ можно убрать (enlever) — и тогда комната будетъ казаться гораздо больше. Что вы хотите за эту комнату? Если вы берете ее только на нѣсколько дней, то — по три франка въ сутки; на недѣлю —

15 франковъ, а если вы нанимаете помѣсячно, то она будетъ стоить (reviendra à) 50 франковъ въ мѣсяцъ. Мнѣ кажется, что это немного дорого. Нѣтъ, это очень недорого; обратите вниманіе, что эта комната во второмъ этажѣ и (что) ея окна выходятъ (donner) на бульваръ. Хорошо, торговаться я не буду и беру ее помѣсячно. Вотъ 10 франковъ задатку (d'acompte); вечеромъ я переѣду и заплачу вамъ за мѣсяцъ впередъ.

7.

Вы жалуетесь, что вамъ скучно; это понятно: вы ничего не дѣлаете. Но я не пріѣхалъ сюда, чтобы работать или чѣмъ-либо заниматься; цѣль моего пріѣзда — поправить (rétablir) свое здоровье. Чтеніе не есть работа; напротивъ, это удовольствіе, между тѣмъ вы даже не читаете ничего. Я читаю газеты каждое утро, не могу же (я) читать по цѣлымъ днямъ, какъ это дѣлаютъ другіе. Но чтеніе газетъ занимаетъ (prendre) у васъ десять минутъ или самое большее четверть часа, читайте что-нибудь другое, здѣсь вы можете достать (trouver, se procurer) лучшія произведенія нашей литературы. Все это я уже читалъ, а новаго ничего не нашелъ. Наконецъ, если вы не находите удовольствія въ чтеніи, тогда гуляйте побольше, посѣщайте концерты и театры. — Будьте столь любезны, скажите мнѣ который часъ: мои часы остановились, и я не знаю сколько теперь времени. Теперь ровно два часа; мы можемъ еще погулять по крайней мѣрѣ три четверти часа. Но я не могу идти обѣдать прямо (directement), мнѣ нужно еще вернуться домой: вы видите, что я не одѣтъ. Я этого не замѣчаю, напротивъ, вы одѣты лучше меня. А мое бѣлье? Посмотрите: моя рубашка совсѣмъ (toute) грязная; я долженъ ее перемѣнить. Полноте (Allons donc!), она еще совсѣмъ чиста. Но я не задержу васъ, черезъ десять минутъ (я) буду здѣсь. Хорошо; но я васъ увѣряю, что это совершенно излишне (superflu), послушайте лучше моего совѣта и идите прямо обѣдать.

8.

Я взялъ бы съ удовольствіемъ эту комнату, но она слишкомъ мала, а во-вторыхъ, не на солнечной сторонѣ (le côté solaire, le midi).

Не бойтесь пожалуйста, она не холодна, притомъ вы будете жить здѣсь въ самое лучшее время (saison). Уступите за 18 р. тѣ двѣ комнаты, которыя я видѣлъ внизу, тогда я ихъ найму тотчасъ же. Нѣтъ, менѣе 22 рублей я не могу взять; не забывайте, что одна изъ этихъ двухъ комнатъ очень большая; это совсѣмъ не дорого; вы поищите, и увидите, что нельзя найти что-либо лучшаго за эту цѣну. Вы ошибаетесь, думая, что ваши квартиры очень дешевы: за 22 р. я найду навѣрное что-нибудь лучшее; я только не люблю искать, — а (quant aux) квартиръ сколько угодно, и даже очень недорогихъ. Я могу уступить (rabattre, céder) вамъ еще два рубля, но не больше. Теперь скажите мнѣ, какъ долго вы намѣрены пробыть (rester) у насъ, потому что если вы думаете пробыть (passer) недѣлю или десять дней, тогда я не отдамъ этой квартиры и за 22 рубля. Сегодня ничего не могу вамъ сказать, такъ какъ я еще не совѣтовался (consulter) съ докторомъ и не знаю, сколько времени (я) долженъ буду пробыть (séjourner) здѣсь; тѣмъ не менѣе (я) полагаю, что (я) пробуду не менѣе трехъ или четырехъ недѣль. Въ такомъ случаѣ мы можемъ кончить, дайте мнѣ задатокъ (un acompte) и переѣзжайте, когда вамъ будетъ угодно (quand bon vous plaira). Я хотѣлъ бы (vouloir или tenir à) еще знать слѣдующее: сколько я долженъ платить за прислугу, и могу ли (я) получать у васъ каждое утро свѣжее молоко и яйца? Прислуга будетъ вамъ стоить 2 р. въ недѣлю; молоко и яйца (вы) можете имѣть во всякое время.

9.

Говорятъ, что М. женится; я слышалъ даже, что его свадьба будетъ (avoir lieu) въ началѣ будущаго мѣсяца. Не вѣрьте, пожалуйста, въ среду онъ былъ у меня, и я говорилъ съ нимъ объ этомъ, но онъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ и не думаетъ о чемъ-либо подобномъ. Можетъ быть, онъ не хотѣлъ сообщать (faire part de) вамъ своего намѣренія. Еслибъ онъ не былъ моимъ другомъ, то это было бы понятно; но я увѣренъ, что этотъ слухъ ложенъ. Знаете ли вы, кто мнѣ говорилъ объ этомъ? Какимъ же образомъ я могу это знать; не братъ ли нашего друга Б.? Нѣтъ, я ему не вѣрю больше. Я убѣдился, что чаще всего онъ лжетъ. Вы поссорились съ нимъ (se brouiller), — не правда ли? Нѣтъ; а почему вы меня спрашиваете объ этомъ (en), развѣ вы слышали что-либо въ этомъ

родѣ? — Неужели родители Р. такъ богаты, что ихъ сынъ тратитъ столько денегъ? Прежде у нихъ было громадное состоянiе; но говорятъ, что они уже не столь богаты. Я слышалъ, что ихъ сынъ тратитъ (gaspiller, gâcher, dépenser) до 15-ти тысячъ въ годъ. Въ такомъ случаѣ онъ дѣлаетъ долги; я знаю навѣрное, что они даютъ ему не болѣе шести тысячъ въ годъ. Впрочемъ у него есть очень богатый дядя: можетъ быть (peut-être или il se peut), онъ ему и помогаетъ, хотя (я) сомнѣваюсь въ этомъ. Конечно, онъ не даетъ ему ни гроша, вѣроятно онъ дѣлаетъ долги, надѣясь на наслѣдство. Но если онъ будетъ продолжать тратить столько денегъ, то черезъ пять или шесть лѣтъ у него будетъ столько долговъ (онъ будетъ имѣть), что и наслѣдства не хватитъ (suffire).

10.

Я не знаю, когда онъ прiѣдетъ, но мы ждемъ его съ часу на (en) часъ. Развѣ на дняхъ вы не получали отъ него письма или какого-нибудь извѣстiя? Нѣтъ, но на прошлой недѣлѣ онъ телеграфировалъ моему знакомому N., что 18-го числа (онъ) намѣренъ выѣхать изъ (quitter) Петербурга; если такимъ образомъ (de sorte que) ничто не задержало его и (если) въ пятницу онъ дѣйствительно выѣхалъ, то онъ долженъ быть здѣсь сегодня или самое позднее (au plus tard) завтра утромъ. Что онъ не выѣхалъ — въ этомъ (en) вы можете быть увѣрены: иначе (autrement) вы получили бы телеграмму, если не (sinon) съ мѣста, то по крайней мѣрѣ изъ Берлина. А вы когда думаете уѣхать, неужели (est-ce bien) въ субботу? Конечно, мнѣ здѣсь болѣе нечего и дѣлать; купанье я окончилъ, а жить здѣсь для удовольствiя не имѣетъ смысла (sens). Итакъ въ субботу вы уже насъ покидаете? Къ сожалѣнiю — да, но, тѣмъ не менѣе, я не теряю надежды увидѣть васъ въ Парижѣ, куда вы конечно отправитесь отсюда. Это еще не рѣшено, но весьма вѣроятно, что мы тамъ будемъ около (dans, vers) двадцатыхъ чиселъ. — Куда же вы, развѣ уже домой? Нѣтъ, но уже половина 12-го, а въ двѣнадцать часовъ я долженъ быть въ купальнѣ; впрочемъ вечеромъ мы вѣроятно встрѣтимся съ вами въ казино (Casino). Не думаю, потому что моя сестра больна, а идти одной какъ-то неловко (gênant). Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ быть вашимъ кавалеромъ (vous accompagner). Послѣ обѣда, часовъ въ шесть (sur les 6 h.), я зайду

за вами (je viendrai vous prendre), и мы отправимся вмѣстѣ; согласны ли вы на это (y)? Конечно, если только это не причинитъ вамъ затрудненiя (если это васъ только не затруднитъ) (déranger) и (если) не имѣете намѣренiя пойти сегодня куда-либо (ailleurs), гдѣ болѣе весело.

11.

Если вы думаете ѣхать завтра вечеромъ, то можетъ быть и поѣду съ вами (accompagner). Вчера еще я думалъ ѣхать въ субботу, но теперь (я) вижу, что это невозможно. Почему же, развѣ вы еще не все кончили? До сихъ поръ я не могу получить 586 р., которые мнѣ долженъ X. Если вы ждете этихъ денегъ, то, я думаю, вы просидите еще (vous allez rester) здѣсь по крайней мѣрѣ двѣ или три недѣли. Нѣтъ, вчера я его видѣлъ, и онъ обѣщался уплатить всю эту сумму въ пятницу. Можетъ быть онъ и заплатитъ, но я слышалъ, что у него нѣтъ въ настоящее время и ста (une centaine) рублей. Не будете ли вы столь любезны подождать еще нѣсколько дней: мнѣ хотѣлось бы ѣхать съ вами, а то одному скучно. — Правда ли, что братъ полковника З. еще не вернулся (revenir, rentrer)? Въ воскресенье я былъ у нихъ, и его еще не было, но можетъ быть онъ прiѣхалъ на этой недѣлѣ. Я не понимаю, что онъ дѣлаетъ такъ долго въ Москвѣ? Но я слышалъ, что онъ думалъ поѣхать изъ Москвы къ своему брату. Не помните ли вы, кто вамъ это говорилъ (qui vous l'a dit или vous en a parlé)? Если не ошибаюсь, то сестра вашего хорошаго друга господина К. Гдѣ вы ее видѣли? У моей сестры, двѣ или три недѣли тому назадъ. Я удивляюсь, какъ она могла это знать, когда никто изъ насъ не слышалъ даже объ этомъ. Вѣроятно, вы ошиблись или не хорошо поняли. Если вы не вѣрите, то спросите ее: вы увидите, что она вамъ отвѣтитъ.

12.

Почему вы приходите такъ поздно, гдѣ же вы были до сихъ поръ? Но еще не поздно: теперь не болѣе (il n'est que) какъ половина пятаго. Посмотрите на часы, и (вы) увидите половина ли 5-го, какъ (вы) говорите. Да, вы правы, уже три четверти 6-го, я не

понимаю, какимъ образомъ я не замѣтилъ, что мои часы не вѣрны. Будете ли вы обѣдать сегодня съ нами или вы уходите? Я не иду никуда; но вѣроятно вы уже отобѣдали? Нѣтъ еще, мы васъ ожидали, тѣмъ болѣе что, уходя, вы сказали моей женѣ, что въ пять часовъ (вы) уже будете дома. Не сердитесь, пожалуйста, — впредь (à l'avenir, désormais, dorénavant) я уже буду приходить во-время (à temps). Я и не думалъ сердиться; разскажите мнѣ лучше, гдѣ вы были и кого вы видѣли? Утромъ въ одиннадцать часовъ, я пошелъ къ доктору, но не засталъ его дома; послѣ (я) поѣхалъ (se rendre) къ отцу моего друга N., — тамъ я пробылъ до пяти часовъ. Но вы хотѣли сегодня быть въ банкѣ; развѣ вы тамъ не были? Нѣтъ, туда нужно идти въ двѣнадцать часовъ дня или въ три часа пополудни. Что это съ вами (Qu'avez-vous) сегодня: вы не пьете ничего? я завтракалъ у N., и мы выпили бутылку краснаго вина. Но если не ошибаюсь, вы вѣдь не пьете краснаго вина? Прежде я его не любилъ, но теперь иногда (parfois) (я) пью его съ удовольствіемъ. Если вы хотите, то мы можемъ выпить и краснаго вина. Иванъ, принеси бутылку Lafitte! Не безпокойтесь, пожалуйста, я уже ничего не буду пить.

13.

Я думалъ, что вы остаетесь здѣсь до 24-го числа. Я остался бы съ удовольствіемъ и дольше, напр., до 1-го сентября, но что же дѣлать, когда это невозможно: 15-го августа я долженъ уже быть (je dois или il faut que...) въ Петербургѣ. Развѣ вы служите гдѣнибудь? Я не служу, но у меня есть свои дѣла (des affaires à moi), кромѣ того (en plus de cela), здѣсь жизнь стоитъ очень дорого. Я этого не нахожу. Сколько же вы платите, напр., за вашу квартиру? Сначала я жилъ въ гостиницѣ N. и платилъ 25 франковъ въ недѣлю за очень маленькую (toute petite) комнату; теперь живу въ домѣ № 45 и плачу 24 франка за двѣ комнаты. Но развѣ для васъ одного мало (suffire) одной комнаты? Я взялъ двѣ комнаты, чтобы имѣть больше воздуху въ квартирѣ. Мнѣ кажется, что гораздо лучше имѣть одну большую комнату, нежели двѣ маленькія: вопервыхъ, это стоитъ дешевле, а во-вторыхъ—воздуху будетъ больше. Мое несчастіе, (что) я пріѣхалъ уже слишкомъ поздно, всѣ лучшія квартиры были уже заняты. Очень жаль, что вы не сказали мнѣ этого раньше: двѣ недѣли тому назадъ вы могли бы получить отдѣльную

личную комнату за 12 франковъ въ томъ домѣ, гдѣ я живу. А гдѣ вы обѣдаете? Въ различныхъ ресторанахъ, но вездѣ обѣды не хороши и дороги. Это правда, обѣды очень дороги; кромѣ того (sauf ceci), даютъ (on sert) такъ мало, что весьма часто послѣ обѣда встаешь голоднымъ. Говорятъ, что при леченіи (la cure) это необходимо.

14.

Я понимаю (comprendre, concevoir), что для больныхъ это необходимо, но здѣсь живетъ масса лицъ совершенно здоровыхъ. Здоровые могутъ потребовать (se faire servir) двойной обѣдъ. Конечно, но не всякій можетъ тратить 5 или 6 франковъ на обѣдъ. Но если вы возьмете двѣ порціи жаркого, то это не будетъ стоить тремя франками дороже. Я не говорю, что это будетъ на три франка дороже, но, во всякомъ случаѣ, разница составитъ (faire) не менѣе $1^1/_2$ франка. Я не знаю какъ другіе, но я (quant à moi) совершенно доволенъ и нахожу, что, напротивъ, жизнь (le vivre) здѣсь стоитъ гораздо дешевле, чѣмъ у насъ, въ Петербургѣ. Можетъ быть вы завтракаете, въ такомъ случаѣ это понятно (concevable). Но мнѣ кажется, что всѣ завтракаютъ, тѣмъ болѣе, что мы встаемъ обыкновенно въ шесть часовъ утра. Я не завтракаю, но въ десять часовъ я пью (prendre) чай или кофе. Въ такомъ случаѣ вы составляете исключеніе, и я понимаю, почему вы недовольны обѣдомъ; но попробуйте завтракать хотя немного — и вы увидите, что (вы) не будете хотѣть ѣсть (avoir faim) послѣ обѣда. Попробую, можетъ быть вы и правы. — Что вы намѣрены дѣлать сегодня вечеромъ? Я еще и самъ не знаю, все это будетъ зависѣть отъ погоды: если погода будетъ хороша, то (я) отправлюсь (se rendre à или partir pour) въ М., если же будетъ дождь, то (я) пойду въ театръ. Вообразите, что до сихъ поръ я еще не былъ въ театрѣ, а между тѣмъ живу здѣсь уже четыре недѣли. Не хотите ли тогда пойти сегодня со мною? Хорошо, но только, если погода будетъ не хороша.

15.

Давно ли вы видѣли М., говорятъ, что въ настоящее время онъ совершенно здоровъ. Я видѣлъ его въ прошлую субботу; правда,

теперь ему гораздо лучше, онъ выглядитъ отлично (avoir excellente mine) и чувствуетъ себя вполнѣ хорошо. Не знаю (ignorer), каково ваше мнѣніе, но мнѣ кажется, что его болѣзнь зависѣла отъ того, что онъ работалъ слишкомъ много (trop). Не вѣрьте вы этому, онъ не работалъ больше кого-нибудь изъ насъ; причина его болѣзни не трудъ, а его безобразная (безпутная, разгульная) (débauchée) жизнь. Насколько я могъ замѣтить, то послѣднее время (dernièrement) онъ проводилъ большею частію дома. Совершенно вѣрно, но это было, когда онъ уже былъ боленъ и не могъ выходить изъ дому; но годъ тому назадъ, когда онъ еще былъ здоровъ, (онъ) никогда не ложился раньше трехъ или четырехъ часовъ ночи. Въ такомъ случаѣ понятно, почему онъ разстроилъ (déranger, abîmer) свое здоровье. — Но какъ же вы чувствуете себя теперь; довольны ли вы вашимъ путешествіемъ? Нельзя сказать, чтобы было совершенно хорошо, но все-таки теперь гораздо лучше: во-первыхъ, я чувствую себя гораздо сильнѣе, а во-вторыхъ и мой желудокъ исправнѣе (plus en ordre). Однимъ словомъ, совѣтъ доктора К. былъ отличный. Да, онъ одинъ понялъ мою болѣзнь и посовѣтовалъ мнѣ поѣхать въ Карлсбадъ; всѣ же прочіе совѣтовали совсѣмъ другое. Я думаю, что вы поѣдете и на будущій годъ туда же? Конечно, тѣмъ болѣе что это полезно (cela fait du bien à... или bon pour...) для моего здоровья и стоитъ недорого.

16.

Куда вы такъ торопитесь? — не бѣгите такимъ образомъ. Уже не такъ рано: три четверти 12-го, а въ двѣнадцать часовъ я долженъ (devoir или falloir) уже быть у М. Развѣ онъ васъ ждетъ, или вы ему писали, что (вы) будете у него въ двѣнадцать часовъ? Я видѣлъ его третьяго дня и сказалъ ему, что сегодня въ двѣнадцать часовъ (я) буду у него. Я увѣренъ, что онъ не обидится, если, вмѣсто двѣнадцати часовъ, (вы) придете къ нему лишь въ половинѣ 1-го. Я могу прійти и позже, но это было бы невѣжливо; однакожъ скажите мнѣ, пожалуйста, почему вы меня задерживаете? Я хотѣлъ бы поговорить съ вами о дѣлѣ моего знакомаго N.; вчера онъ былъ у меня и просилъ побывать у васъ и посовѣтоваться съ вами (vous consulter). Скажите ему, что я ничего не могу сдѣлать, — все это зависитъ отъ М.: пусть онъ и обратится къ нему. Я вижу, что

сегодня вы въ дурномъ расположеніи духа, и потому (et bien) — до свиданья! Напрасно вы думаете (avoir beau), что завтра или послѣзавтра (вы) услышите отъ меня что-либо другое: двѣ недѣли тому назадъ я вамъ сказалъ то же самое. Извините, тогда вы мнѣ говорили совсѣмъ другое (tout autre chose); 22-го числа вы обѣщали поговорить съ М. Я уже говорилъ съ нимъ, и вы знаете его отвѣтъ; чего же онъ хочетъ еще; развѣ этого ему мало (suffire)? Если вы думаете, что я обманываю васъ, тогда обратитесь къ самому М., и вы увидите, что онъ вамъ скажетъ. Я не имѣю никакого права не вѣрить вамъ, но вѣроятно вы ошибаетесь сами, иначе это и быть не можетъ.

17.

На-дняхъ я уже былъ у васъ, но васъ не было дома; мнѣ отвѣтили, что вы въ деревнѣ. Можете ли вы сказать мнѣ, когда вы приходили? Если не ошибаюсь, я былъ у васъ въ четвергъ на прошлой недѣлѣ; знаю только, что это было 15-го числа. Вѣроятно вы ошибаетесь: всю среду и четвергъ я былъ дома; если же вы приходили ко мнѣ, то или раньше, или позже, но во всякомъ случаѣ не (pas) 14-го или 15-го числа. Что я приходилъ къ вамъ именно 15-го числа — это (я) помню отлично; но можетъ быть дворникъ, у котораго я спрашивалъ — дома ли вы, не зналъ, что вы уже вернулись съ дачи. Конечно, онъ этого не могъ знать, теперь я понимаю, какъ это случилось (arriver, se passer); но вы сами виноваты: вамъ слѣдовало позвонить и спросить у лакея или у кухарки, дома ли я. Я такъ и сдѣлалъ, но никто не отворилъ двери; думая, что вы спите, а лакей вашъ куда-нибудь ушелъ, такъ какъ это было въ половинѣ 9-го утра, я отправился (se rendre, s'adresser à) къ дворнику, и этотъ послѣдній увѣрилъ меня, что квартира пуста, и (что) вы и ваше семейство уже на дачѣ. Странно, что въ половинѣ 9-го утра вы не застали дома ни лакея, ни кухарки; что я спалъ въ это время и не слышалъ ничего — это весьма вѣроятно, но прислуга (les gens) во всякомъ случаѣ должна была быть дома; не забыли ли вы, не приходили ли вы въ половинѣ 8-го? Нѣтъ, я знаю навѣрное, что это было около (sur, vers) девяти часовъ, а не раньше.

18.

Вы не можете себѣ представить, какъ я недоволенъ тѣмъ, что я пріѣхалъ сюда (своимъ пріѣздомъ сюда); еслибъ я могъ знать (догадаться), что у васъ такая скверная погода, то (я) остался бы въ Т. по крайней мѣрѣ до конца іюня. Не безпокойтесь, черезъ (dans) два или три дня погода перемѣнится, и вы не пожалѣете, что вы пріѣхали (о своемъ пріѣздѣ). Но вотъ уже вторая недѣля какъ безпрерывно (sans cesse, continuellement) идетъ дождь; я не спорю (discuter, contredire), можетъ быть, хорошіе дни еще вернутся, но, вѣроятно, я ихъ не увижу, такъ какъ черезъ недѣлю (я) уже уѣду. Почему такъ скоро, развѣ вы не можете остаться здѣсь хотя до перваго числа? Я уже потерялъ немало времени совершенно напрасно, пора (il est temps) и возвратиться, тѣмъ болѣе что (я) имѣю еще намѣреніе поѣхать на двѣ недѣли въ Парижъ и на нѣсколько дней въ Лондонъ. Развѣ вы еще не были никогда въ Парижѣ? Нѣтъ, я былъ тамъ уже три раза, но (я) поѣду еще разъ; я не могу себѣ представить, какъ можно быть за границею и не посѣтить этой столицы міра! Вамъ это кажется страннымъ, потому что вы ѣздите за границу болѣе для удовольствія, нежели для здоровья. Нисколько! но нельзя же лечиться (se traiter, faire une cure) все лѣто, нужно удѣлить немного времени и для удовольствія. Повѣрьте мнѣ, что кто серьезно боленъ, тотъ не думаетъ объ удовольствіяхъ: его единственная цѣль — здоровье, потому что оно ему дороже всего.

19.

Звонятъ, посмотрите, пожалуйста, кто тамъ: если это не N., то скажите, что меня нѣтъ дома. Развѣ вы уходите куда-нибудь и не хотите, чтобы васъ задержали? Я никуда не уйду, но у меня страшно болитъ голова и я хочу лечь. Сдѣлайте лучше маленькую прогулку (лучше немного прогуляйтесь), и вы увидите, что головная боль пройдетъ. Сначала (tout d'abord) я усну немного, а послѣ, подъ вечеръ, пойду погулять; теперь еще жарко, и это меня только утомитъ. Въ такомъ случаѣ отправляйтесь въ спальню, а я пойду отворить дверь. Но гдѣ же Иванъ: я его съ утра не видѣлъ; неужели онъ опять напился (se griser, s'enivrer)? Нѣтъ, я послалъ (envoyer chercher) его за виномъ, онъ скоро вернется. Но какъ же ваша головная боль: лучше ли вамъ теперь, или вы еще чувствуете себѣ не совсѣмъ хорошо? Я и самъ не знаю, кажется, что головная боль уменьшилась, но я какъ-то особенно усталъ и не могу понять, отчего это происходитъ. Вы сидите слишкомъ много дома; вамъ необходимо гулять побольше. Развѣ вы не видите, что я ежедневно гуляю? — не могу же (я) гулять въ продолженіе трехъ или четырехъ часовъ сряду (de suite). Отчего же нѣтъ: развѣ вы такъ заняты? вамъ очень легко погулять два часа утромъ и часъ или полтора вечеромъ: попробуйте, и увидите, что вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Не думаю; прежде я гулялъ еще меньше, а все-таки чувствовалъ себя гораздо лучше.

20.

Куда это вы шли, когда я встрѣтилъ васъ вчера; вы такъ торопились, что не замѣтили даже, когда (que) я вамъ поклонился? Въ которомъ это было часу? Пополудни около трехъ или половины четвертаго; я замѣтилъ даже, что вы несли что-то въ (à la) рукѣ. Вы ошибаетесь, до шести часовъ вечера я не выходилъ изъ дому; это былъ кто-нибудь другой. Извините, я дѣйствительно ошибся: это было не вчера, а третьяго дня, въ среду. Въ среду — да, (я) помню, я шелъ отъ (de chez) моей сестры и несъ книги, которыя (я) купилъ (achetés) для моихъ дѣтей (купленныя для моихъ дѣтей). Я былъ увѣренъ, что у васъ дѣти очень малы и еще не учатся (étudier). Моему старшему сыну пятнадцать лѣтъ, онъ уже въ (en) шестомъ классѣ; самой младшей дочери девять лѣтъ; что же касается моего второго сына, то вотъ уже третій годъ, какъ онъ постоянно боленъ.— Слышали ли вы, что братъ поручика П. опасно боленъ? — говорятъ, что нѣтъ никакой надежды спасти его. Неужели? — но въ четвергъ я еще видѣлъ его у моихъ знакомыхъ М.; онъ былъ совсѣмъ здоровъ. Съ нимъ случился ударъ, и это уже во второй разъ; сегодня я встрѣтилъ доктора Я.: онъ и сообщилъ мнѣ это печальное извѣстіе. Очень жаль, если онъ умретъ: это былъ отличный человѣкъ; такихъ людей теперь не много; но можетъ быть его еще спасутъ, какъ и два года тому назадъ. Это весьма мало вѣроятно, тѣмъ болѣе, что докторъ О. ошибся и не предписалъ (сдѣлалъ) того, что слѣдовало бы; думая, что это простуда, онъ далъ какое-то лекарство, послѣ котораго ему сдѣлалось (il se sentit) еще хуже.

21.

Не говорите, пожалуйста, такъ скоро: вы забываете, что я говорю по-французски еще очень мало. Однакожъ, вы меня понимаете; мнѣ кажется, что для васъ гораздо полезнѣе, если я буду говорить какъ настоящій французъ. Я прошу васъ говорить помедленнѣе потому, что (я) хочу понимать каждое слово, между тѣмъ когда вы говорите скоро, то многое (bien des choses) остается для меня непонятнымъ (m'échappent). Въ такомъ случаѣ спрашивайте меня: я могу повторить то, что я вамъ говорю, но (я) не нахожу нужнымъ говорить медленнѣе. — Какъ же вамъ понравилась вчерашняя пьеса; я слышалъ, что М. игралъ лучше обыкновеннаго? Онъ всегда хорошъ, но вчера онъ игралъ превосходно: я еще никогда не видѣлъ чего-либо подобнаго; но остальные актеры были очень слабы въ своихъ роляхъ. — Скажите мнѣ, правда ли, что вы намѣрены купить имѣніе вашего сосѣда Г.? Это еще не рѣшено; я даю ему 43 тысячи, но онъ не хочетъ уступить дешевле (à moins de) 48-ми, а я нахожу это черезчуръ дорого. Извините, это не только не дорого, но даже очень дешево, его имѣніе одно изъ лучшихъ; черезъ пять или шесть лѣтъ оно будетъ стоить (valoir), по меньшей мѣрѣ, 75 тысячъ рублей. Вѣроятно, я дамъ ему эту цѣну, но (я) не тороплюсь, тѣмъ болѣе что до Новаго года у меня не будетъ наличныхъ денегъ (argent comptant). А если, пока вы думаете и ждете, кто-нибудь другой дастъ ему 48 тысячъ, что вы будете тогда дѣлать? Это меня не безпокоитъ: теперь не такъ-то легко продать имѣніе, — вы знаете какое у насъ безденежье (le manque d'argent или la pénurie). На это вы не должны разсчитывать (vous ne devez pas y compter): несмотря на безденежье, онъ давно продалъ бы (aurait vendu) это имѣніе, еслибъ было извѣстно, что онъ его продаетъ.

22.

Я не понялъ хорошенько (вполнѣ), что они говорили; но мнѣ кажется, что рѣчь шла (il s'agissait) о вашемъ знакомомъ господинѣ X. Но они его не знаютъ, если же они его и видѣли разъ или два, то что же (они) могутъ говорить о немъ? Насколько я могъ понять, то офицеръ увѣрялъ, что X. весьма извѣстный русскій живописецъ. Странно, какъ они могли узнать, кто онъ и чѣмъ онъ занимается

(ce qu'il fait): это тѣмъ болѣе непонятно, что X. пріѣхалъ только вчера ночью, и (что) кромѣ меня у него нѣтъ здѣсь ни одного знакомаго! Вѣроятно, имъ сказали все это въ гостиницѣ, гдѣ живетъ X.: иначе и быть не можетъ. Но я васъ задерживаю, не замѣчая (sans remarquer), что, посматривая (consulter, regarder) на часы, вы хотите вѣжливымъ образомъ напомнить, что мнѣ пора вамъ сказать «до свиданья»: — не правда ли (n'est-ce pas), (что) я правъ? Нисколько! До половины 3-го я свободенъ, и смотрѣлъ на часы потому, что, услышавъ бой (entendant sonner) башенныхъ часовъ (l'horloge), я хотѣлъ посмотрѣть, вѣрны лы мои. Но и мнѣ уже пора домой: до свиданья! — вѣроятно, вечеромъ мы увидимся, если не въ саду, то на концертѣ. Въ саду я буду, но на концертъ не пойду; вчера я уже тамъ былъ и убѣдился, что не стоитъ (cela ne vaut pas la peine) ходить такъ далеко. М. говорилъ мнѣ, что, напротивъ, концертъ былъ отличный. Если вашъ знакомый М. слышалъ въ первый разъ венгерскую (hongroise) музыку, то я не удивляюсь, что она понравилась ему; но я ее слышалъ (je l'ai entendue) столько разъ, что она мнѣ уже наскучила. Приведите съ собою вашу сестру: что она сидитъ постоянно дома? Она еще не совсѣмъ оправилась (se remettre) (здорова) и до сихъ поръ еще не выходитъ.

23.

Скажите мнѣ, почему вы не хотите поѣхать со мною къ М.: не лучше ли (n'est-ce pas mieux) провести вечеръ у нихъ, чѣмъ сидѣть дома и думать про какія-то (à des) болѣзни? Вы не вѣрите и думаете, что я совершенно здоровъ; повторяю (говорю) вамъ еще разъ, что сегодня мнѣ очень не хорошо. Будетъ лучше — только слушайтесь (suivez) моихъ совѣтовъ. Начните съ того, что, не думая (sans y penser) долго, идите одѣваться; для васъ лучшее лекарство — (это) не думать о вашихъ болѣзняхъ. Будучи совершенно здоровымъ, вы не понимаете меня, и думаете, что это капризы. Не безпокойтесь, я вижу отлично, что вы не совсѣмъ здоровы; но лучшее средство противъ вашей болѣзни — общество, удовольствія и тому подобныя развлеченія. Я не хочу ѣхать съ вами и потому еще, что вы остаетесь у нихъ всегда черезчуръ долго; вы вѣдь не вернетесь раньше (avant) трехъ или четырехъ часовъ ночи, а я завтра долженъ встать не позже семи часовъ утра. Извините, завтра вос-

кресенье, и вы можете спать сколько вамъ угодно, хотя бы до трехъ часовъ пополудни. Въ девять часовъ ко мнѣ придетъ З.; мы поѣдемъ съ нимъ къ моей сестрѣ: завтра ея рожденіе. Вы это (le) только такъ говорите, но я увѣренъ, что ранѣе двѣнадцати часовъ вы не отправитесь въ Павловскъ. Не вѣрьте, если не хотите, — для меня это безразлично. Я не вѣрю потому, что (я) вижу, какъ вы ищете повода, чтобы только (pourvu de ne...) не ѣхать со мною. Поѣзжайте въ понедѣльникъ, и я вамъ не скажу ни слова, но сегодня (я) не поѣду.

24.

Какъ же вамъ понравилась (вы нашли) М., не правда ли, что она очень хороша? Она не дурна (mal), но нельзя сказать, чтобы она была особенно хороша: такихъ красавицъ (beauté) я вамъ найду весьма много. Кто же изъ вашихъ знакомыхъ красивѣе ея, — не дочь ли генерала С.? Почему вы меня спрашиваете именно про нее? Потому что, насколько я могъ замѣтить, она вамъ нравится болѣе другихъ. Нравилась, но не нравится, это будетъ гораздо вѣрнѣе, впрочемъ, вы правы, по моему мнѣнію, она несравненно красивѣе М. До сихъ поръ я еще не слышалъ подобнаго мнѣнія; вы первый находите, что Х. красивѣе, лучше и умнѣе. Красивѣе — да, но не умнѣе; про качества какъ М., такъ и Х., я не могу судить: я ихъ знаю еще такъ мало. Какъ мало! но если я не ошибаюсь (se tromper или faire erreur), то вы знакомы съ семействомъ Х. уже шесть или семь лѣтъ. Кто это вамъ сказалъ? — я познакомился съ ними только прошлою зимою. Такъ какъ же вы разсказывали мнѣ не разъ про Х. и все его семейство? я помню, что это было гораздо раньше. Я встрѣчался съ ними довольно часто и раньше (прежде), но я не бывалъ (fréquenter) у нихъ; первый разъ я былъ у нихъ 24-го ноября прошлаго года, т. е. восемь мѣсяцевъ тому назадъ. Я полагалъ, что вы ихъ знаете съ 1888 года. Вы ошиблись, какъ это случается съ вами весьма часто, вотъ и все. — Но я замѣчаю, что вы начинаете уже сердиться, а поэтому будемте лучше говорить о чемъ-нибудь другомъ.

25.

Я не понимаю, почему они не отвѣчаютъ на наши письма: неужели ихъ уже нѣтъ въ Б.? Вы еще мало знаете Д.; вы не можете

себѣ представить, какой это лѣнтяй. Всѣ письма ваши онъ получилъ еще на прошлой недѣлѣ и не отвѣчаетъ потому только, что ему трудно посидѣть часъ или два дома. Но до сихъ поръ этого съ нимъ не случалось, напротивъ: онъ отвѣчалъ постоянно на всѣ мои письма. Я думаю, что вѣроятнѣе всего — они уже уѣхали (quitter) изъ Б. Еслибъ они уѣхали, то Павелъ написалъ бы намъ объ этомъ (en). Повѣрьте мнѣ, что ничего особеннаго не случилось, всѣ они здоровы и веселы, а если не пишутъ, то потому лишь, что у нихъ нѣтъ времени думать о (à) насъ. — Почему вы являетесь такъ поздно? — мы уже думали, что вы не придете. Извините, опоздалъ; но не я тому виноватъ (ce n'est pas de ma faute); по дорогѣ я встрѣтилъ К., и онъ задержалъ меня. Вообразите, что Х. не хотѣлъ начинать партіи безъ васъ: онъ увѣряетъ, что когда вы не играете, то ему скучно (онъ скучаетъ). Можетъ быть ему скучно потому, что тогда некому проигрывать? Но, насколько я могъ замѣтить, вы проигрываете не особенно часто; въ большинствѣ случаевъ (pour la plupart) вы играете довольно счастливо (avoir de la chance, de la veine). Извините, но это положительная неправда (faux); спросите кого-нибудь изъ моихъ друзей (знакомыхъ), — видѣлъ ли онъ, чтобы я выигралъ хотя бы разъ даже 10 копѣекъ? Но если вы проигрываете постоянно, такъ зачѣмъ вы продолжаете играть?

26.

Завтра или, самое позднее, послѣзавтра я уѣду; но пусть это васъ не безпокоитъ; вчера я видѣлъ М., и онъ мнѣ обѣщалъ заняться вашимъ дѣломъ. Конечно мнѣ было бы пріятнѣе имѣть дѣло съ (à) вами, нежели съ постороннимъ (чужимъ) человѣкомъ; но что же дѣлать, когда это невозможно. М. человѣкъ отличный: онъ мой хорошій другъ; я увѣренъ, что онъ устроитъ все не хуже меня; впрочемъ, ваше дѣло уже почти кончено. Получить деньги вещь не трудная — главное (l'essentiel) уже сдѣлано. А что будетъ, если эти деньги будутъ задержаны? — безъ васъ мы ничего не сдѣлаемъ. Это почти невозможно, но еслибъ что-нибудь подобное случилось, тогда напишите мнѣ, и я вамъ сообщу, что нужно будетъ предпринять въ такомъ случаѣ. — Итакъ, вы находите, что я виноватъ; вы полагаете, что онъ поступилъ умно и честно? Конечно, вы сами виноваты: но его поведеніе нельзя назвать (qualifier de) честнымъ.

Что же я долженъ теперь дѣлать: жаловаться ли (porter plainte) мировому или просто оставить дѣло безъ вниманія (sans conséquences, suites)? Повѣрьте мнѣ, что это будетъ лучше всего; пожаловаться не трудно, но какой прокъ изъ этого (quel en sera le profit)? Я все-таки думаю, что (я) могъ бы выиграть этотъ процессъ. Можетъ быть вамъ это скажутъ многіе, но будьте увѣрены, что все будетъ напрасно; вмѣсто 1,500 р. вы потеряете 2,000 рублей: вотъ и вся разница. Вы забываете, что у меня есть и до сихъ поръ его первое письмо, въ которомъ онъ сознается, что бралъ (d'avoir pris) у меня эти деньги.

27.

Что же это вчера вы не были у насъ, мы васъ ожидали до половины 9-го? Мнѣ кажется, что вы сдѣлали бы лучше, еслибъ, вмѣсто этого вопроса, (вы) извинились (faire des excuses) передъ нами за свою невѣжливость. Приглашаете гостей, а сами уходите. Согласно (selon) обѣщанію, мы пришли къ вамъ ровно въ половинѣ седьмого, но васъ не было дома. Въ половинѣ седьмого меня не было дома, но вы могли подождать меня, тѣмъ болѣе, что я предупреждалъ васъ не приходить раньше восьми часовъ. Конечно мы подождали бы васъ, но квартира была заперта: нельзя же было ждать на улицѣ или на дворѣ (ни на улицѣ, ни на дворѣ). Вы могли погулять и вернуться черезъ полчаса, но вы предпочли отправиться въ садъ: тамъ конечно веселѣе, нежели у меня. Кто вамъ говорилъ, что мы были въ саду? Это уже мое дѣло (Cela me regarde), кто сообщилъ мнѣ это извѣстіе (кто разсказалъ мнѣ это), достаточно, что я это знаю. Не имѣя ничего лучшаго въ виду, мы отправились въ садъ М., гдѣ мы пробыли до часу. Вы, а не кто другой виноватъ, что это удовольствіе обошлось намъ по 25-ти рублей съ человѣка. Напротивъ, я этому (en) очень радъ; другой разъ у васъ будетъ больше терпѣнія; это вполнѣ заслуженное наказаніе; очень жаль, что это не стоило каждому изъ васъ по 50-ти рублей. Потеря 25-ти р. еще не большая бѣда (mal), но вотъ что худо (le pis); въ саду я простудился, и изъ-за этого пролежалъ (être alité) всю прошлую недѣлю; еще до сихъ поръ чувствую себя не совсѣмъ хорошо. Какъ же вы могли простудиться? въ субботу погода была отличная, совсѣмъ теплая.

28.

Не видѣли ли вы X.? — вообразите, что вотъ уже болѣе полгода, какъ я его не встрѣчалъ, — не уѣхалъ ли онъ? Теперь вы его не такъ-то легко встрѣтите: все время онъ проводитъ у своей невѣсты; развѣ никто не говорилъ вамъ, что онъ женится? Первый разъ объ этомъ слышу; на комъ же (qui épouse-t-il donc)? На дочери О.; вѣроятно, если вы и не знаете самого О., то (вы) встрѣчали его у X. Но это очень богатый человѣкъ; у него должно быть не менѣе полмилліона состоянія, если не больше. Такимъ образомъ, X. беретъ большое приданое? Вѣроятно (конечно), иначе я не могу объяснить себѣ, какъ О. могла ему понравиться; нужно вамъ сказать, что его будущая жена (sa future) не только некрасива, но просто (tout bonnement) безобразна, притомъ же она старше его по крайней мѣрѣ восемью или девятью годами. Сознаюсь, я не думалъ никогда, чтобы X. былъ способенъ на подобнаго рода сдѣлку (accommodement). Еслибъ онъ еще былъ бѣденъ, это было бы простительно; но вѣдь онъ самъ весьма зажиточный (aisé, à l'aise) человѣкъ: у него два отличныхъ имѣнія въ Кіевской губерніи и домъ въ Москвѣ. Вы забываете, что не все это принадлежитъ ему: у него есть еще два брата и сестра, такъ что при раздѣлѣ (le partage) онъ не получитъ болѣе 15-ти или 20-ти тысячъ. Все-таки, по моему мнѣнію, продавать себя (trafiquer de sa personne) безчестно, тѣмъ болѣе, что не можетъ же онъ любить ее! Что онъ ея не любитъ, это я знаю навѣрное: онъ не стѣсняется говорить самъ объ этомъ (онъ самъ говорилъ мнѣ нѣчто въ этомъ родѣ).

29.

Что вы тамъ дѣлаете такъ долго? — помилуйте, мы ждемъ васъ уже болѣе часу. Пора уже и ѣхать; развѣ вы не помните, что поѣздъ уходитъ ровно въ половинѣ восьмого (à sept heures et demie précises), а теперь уже три четверти седьмого. Неужели вы думаете, что необходимо три четверти часа, чтобы (pour) доѣхать до вокзала (что нужно три четверти часа, чтобы доѣхать до вокзала); на это совершенно достаточно десяти минутъ (dix minutes y suffisent). Вы упускаете изъ виду, что мы поѣдемъ въ омнибусѣ (prendre l'omnibus), а онъ идетъ очень медленно. Вы торопитесь всегда, и мы постоянно

пріѣзжаемъ черезчуръ рано; та же самая исторія была и (тогда) когда мы ѣхали (quitter) изъ Женевы; и что же (et bien?)? — (мы) пріѣхали на вокзалъ за полтора часа до отхода поѣзда. Такъ, по вашему мнѣнію, лучше (préférable) пріѣзжать за пять минутъ до звонка (le coup de cloche), чтобы терять вещи и не быть въ состояніи получить удобнаго (bonne, commode) мѣста? Вмѣсто того чтобы спорить, уплатите лучше счетъ; онъ уже принесенъ два часа тому назадъ. Я же говорилъ вамъ, что счетъ невѣренъ; развѣ мы брали на этой недѣлѣ бѣлое вино? Насколько я помню, нѣтъ; впрочемъ, спросите Ивана: можетъ быть онъ и требовалъ когда-нибудь (un jour) бутылку бѣлаго вина. Вѣроятно, они ошиблись, нужно позвать хозяина (le patron) и разъяснить ему эту ошибку (la méprise, l'erreur). Кромѣ того въ счетѣ (la note) поставлено (il y a) 48 лиръ за квартиру; по моему расчету мы должны заплатить только за 6 дней, т. е. 42 лиры (lires). Можетъ быть они считаютъ и сегодняшній день; но вѣдь мы пріѣхали не утромъ, а вечеромъ въ девять часовъ.

30.

Если вы не приглашены, то обѣдайте съ нами. Благодарю васъ, но сегодня я не могу воспользоваться вашимъ любезнымъ приглашеніемъ: въ четыре часа (я) долженъ ѣхать въ Павловскъ. Но мнѣ кажется, что это не составитъ (faire) большой разницы, если вмѣсто четырехъ часовъ вы отправитесь въ Павловскъ въ шесть или въ половинѣ седьмого; не забывайте, что поѣзда идутъ туда каждые полтора часа. Вы думаете, вѣроятно, что я ѣду въ Павловскъ къ знакомымъ или такъ себѣ (tout bonnement), для препровожденія времени; нѣтъ, вы ошибаетесь, мнѣ необходимо отправиться туда по (par) дѣлу, которое нельзя откладывать (ajourner, remettre). Въ такомъ случаѣ отправляйтесь и не забудьте, что завтра мы будемъ ожидать васъ къ (à) обѣду; смотрите, не обманите. — Неужели вамъ было трудно зайти ко мнѣ, вѣдь вы проходили мимо нашего дома? Да, но это уже было около (sur les) одиннадцати часовъ вечера, поэтому-то я и не зашелъ; притомъ же (d'ailleurs) въ пятницу я еще ничего не зналъ. Что же онъ пишетъ, гдѣ онъ теперь, скоро ли вернется? Вообразите, что я объ этомъ (en) ничего не знаю; все письмо наполнено вздоромъ (fadaises), а про дѣло ни слова. Въ такомъ случаѣ вы должны ему немедленно телеграфировать; не забывайте, что до дня продажи этого имѣнія остается едва лишь двѣ недѣли.

31.

Утромъ онъ у меня не былъ, а вечеромъ я не имѣлъ времени зайти къ нему; такимъ образомъ вчера я его не видѣлъ. Я удивляюсь, почему онъ не извѣстилъ (informer, faire part) васъ, если ему нельзя было прійти самому; неужели у него не нашлось пяти минутъ свободнаго времени, чтобы написать вамъ двѣ или три строчки? Очевидно, вы его еще мало знаете, если удивляетесь такому случаю: это лѣнтяй, какихъ мало. Что же вы думаете дѣлать, неужели (вы) будете ждать, пока онъ пріѣдетъ къ вамъ? Нѣтъ, завтра я отправлюсь къ нему и постараюсь окончить всѣ эти переговоры (pourparlers). Не лучше-ли было бы послать къ нему Ивана; мнѣ кажется, что онъ устроитъ все это скорѣе васъ. Почему вы думаете, что я буду церемониться (faire des façons) съ нимъ? Зная вашъ характеръ, я убѣжденъ, что вы не будете въ состояніи поступить (traiter) съ нимъ, какъ бы слѣдовало. На этотъ разъ вы ошибетесь и убѣдитесь, что, когда необходимо, то и я сумѣю поступить (agir) не хуже всякаго другого. Вы это говорите, потому что въ настоящій моментъ (pour le moment) вы выведены изъ терпѣнія его поведеніемъ, но я ручаюсь головой (je donne ma tête à couper), что до вечера вы уже забудете все это и постараетесь такъ или иначе объяснить его поведеніе. Это можетъ произойти только въ такомъ случаѣ, если онъ докажетъ, что дѣйствительно онъ не былъ въ состояніи извѣстить меня заблаговременно (à temps). Я такъ и зналъ (Je savais bien), что всѣ угрозы (menaces) кончатся (Condit. présent) самою обыкновенною бесѣдою и все останется по-прежнему.

32.

Недѣлю тому назадъ вы меня просили купить вамъ эти бумаги (valeurs); я хлопоталъ (se donner de la peine) болѣе десяти дней, а теперь вы мнѣ говорите, что онѣ (en) вамъ не нужны болѣе. Извините меня, 4-го числа я вамъ сказалъ: эти бумаги и акціи нужны мнѣ на 12-е число, а вы мнѣ приносите ихъ сегодня; развѣ вы забыли, что у насъ уже (nous avons déjà или nous sommes déjà le...) 22-е? Но вы

могли предупредить (prévenir) меня, что онѣ вамъ не нужны. Не получая отъ васъ никакого извѣстія, я былъ увѣренъ, что, разсчитывая на меня, вы не пріобрѣтете ни одной акціи въ другомъ мѣстѣ (ailleurs). — Не думайте, пожалуйста, что вы меня стѣсняете, напротивъ, я буду очень радъ, что въ продолженіе (durant) лѣта вы будете жить со мною. Куда же я поставлю всю свою мебель? Мнѣ не хотѣлось бы оставлять ее въ сараѣ дома, гдѣ я жилъ до сихъ поръ; перевозить же ее къ вамъ — неудобно. Почему же? — всѣ мои верхнія (d'en haut) комнаты совершенно пусты, вы можете тамъ поставить всю вашу мебель. Я вамъ очень обязанъ за такую любезность, но (я) боюсь обезпокоить васъ этимъ (en). Полноте, какое тутъ безпокойство (tracas); завтра или послѣ-завтра вы перевезете всѣ ваши вещи; мои люди (gens) вамъ помогутъ — и въ полчаса все уже будетъ уставлено; я даже и знать ничего объ этомъ (en) не буду.

33.

Почему вы полагаете, что онъ не заплатитъ ему: развѣ въ настоящее время у него нѣтъ денегъ? Я слышалъ отъ многихъ, что онъ не очень заботится (se soucier) о своихъ долгахъ. Однакоже я заболтался и забылъ о главномъ; я зашелъ къ вамъ, (чтобы... pour) сказать вамъ, что ни сегодня ни завтра (я) не могу быть у вашего брата, потому что черезъ часъ (я) ѣду въ деревню къ моей сестрѣ, она очень больна (souffrante), и я даже опасаюсь, чтобъ она не умерла. Будьте спокойны, ея болѣзнь не такъ опасна, какъ вы предполагаете; это простая простуда, которая пройдетъ черезъ нѣсколько дней, если только ваша сестра не будетъ выходить изъ дому. — Какимъ образомъ вы думаете извѣстить ихъ о томъ, что мы не можемъ быть у нихъ сегодня? Очень (Tout, très) просто: послѣ обѣда мой братъ пойдетъ погулять, я и попрошу его зайти къ нимъ. Но вашего брата еще нѣтъ дома, онъ можетъ и не вернуться (rentrer, revenir) къ (à) обѣду. Впрочемъ, если они и не будутъ знать, что мы не будемъ у нихъ сегодня, то это небольшое несчастіе (il n'y a pas grand mal). Тѣмъ не менѣе, имъ будетъ очень непріятно ждать насъ до десяти или одиннадцати часовъ вечера. Что же дѣлать, когда иначе этого нельзя устроить! Вы должны были заранѣе подумать и не обѣщать наугадъ (à l'aventure).

34.

Сегодня я приглашенъ къ Р., но вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ не хочется идти туда. Вамъ, вѣдь, все равно (indifférent), куда ни пойти, лишь бы только не быть дома; подите къ нимъ за меня (au lieu de moi). Отчего же нѣтъ, я пошелъ бы и даже съ большимъ удовольствіемъ; но къ чему болтать (jaser) понапрасну, вы вѣдь знаете сами отлично, что это невозможно. Почему невозможно? — вы же бываете у нихъ, отправляйтесь и сегодня; кстати (à propos) вы и скажете, что я заболѣлъ и, несмотря на все мое желаніе, не могу быть у нихъ. Никто изъ нихъ не повѣритъ, что вы больны, они еще пошлютъ за вами (envoyer chercher); лучше уже идите сами. Вы можете уйти, когда вамъ угодно, никто не можетъ принудить васъ оставаться до утра. — Сегодня очень холодно; одѣвайтесь теплѣе, если вы намѣрены ѣхать къ N.; не забывайте, что вы еще не совсѣмъ здоровы. Но я не пойду пѣшкомъ, я ѣду съ В.: у нихъ будетъ карета и они обѣщали заѣхать за мною (venir me prendre). Если вы поѣдете, вамъ нужно одѣться еще теплѣе: идя пѣшкомъ, вы не простудитесь; ѣдучи же, это весьма нетрудно, стоитъ только (il ne faut que) ногамъ прозябнуть — вотъ вамъ и новая болѣзнь (vous voilà de nouveau malade). Знаете, что прежде, когда я гораздо меньше заботился о своемъ здоровьи, — я былъ несравненно здоровѣе; тогда я почти никогда не болѣлъ. Вы забываете главное: тогда вамъ было 20 или 25 лѣтъ, а не 50; мало ли что было когда-то (bien des choses étaient jadis); прошлаго не вернешь (le passé ne revient pas), поэтому про него не стоитъ и говорить; теперь нужно уже думать о настоящемъ и будущемъ.

35.

Развѣ вы его знаете лично? — можетъ быть все, что говорятъ про него, и правда. Еслибъ я не зналъ его лично, (я) никогда не осмѣлился бы утверждать (affirmer, soutenir), что все это ложь и клевета. Но тогда объясните мнѣ, во-первыхъ, кому выгодно (qui a du profit à) распускать подобнаго рода сплетни, а во-вторыхъ, почему прежде никто не клеветалъ? Лучшимъ доказательствомъ, что все это неправда, это, что, пока (tant qu'il) онъ не имѣлъ этого мѣста, никто не говорилъ про него ни слова; съ того же времени, какъ

онъ получилъ (obtenir) эту должность, начали появляться и всѣ эти слухи; мнѣ кажется, что это совершенно понятно: все это распускается людьми, завидующими ему (завистниками) (ses envieux). Все-таки я не вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе; вѣроятно, что-нибудь случилось, что и дало поводъ ко всѣмъ этимъ разговорамъ (racontages, racontars). Если вы хотите убѣдиться, что я правъ, тогда попросите кого-нибудь изъ распускающихъ эти нелѣпости сказать вамъ что-либо болѣе опредѣленное: вы увидите, что ни одинъ изъ этихъ господъ не приведетъ (citer) вамъ ни одного факта, а будетъ лишь продолжать говорить о разныхъ слухахъ, неопредѣленныхъ (vagues) фактахъ и тому подобномъ. Но вы знаете и сами о томъ, какъ онъ далъ отличное мѣсто мужу своей двоюродной сестры. Что-жъ изъ этого (Qu'est-ce que cela fait): развѣ И. человѣкъ не вполнѣ заслуживающій довѣрія; развѣ это мѣсто можно было дать кому-нибудь другому; кто же, по вашему мнѣнію, честнѣе и способнѣе его?

36.

Что это васъ такъ давно нигдѣ не было видно, не уѣзжали ли вы куда-нибудь? Нѣтъ, все это время я былъ безотлучно (sans m'absenter) въ городѣ и большую часть времени проводилъ дома, только изрѣдка посѣщалъ оперу. Отчего такая перемѣна? — прежде вы только и думали о томъ, какъ бы куда-нибудь отправиться, повеселиться (s'amuser), теперь же сидите дома по цѣлымъ мѣсяцамъ. Мало ли что было прежде; нельзя же думать всю жизнь про одни лишь удовольствія; наконецъ, прежде я былъ моложе. А развѣ вы уже причисляете себя (se placer au nombre de) къ старикамъ? — Рано! — что же вы скажете, когда вы будете въ моихъ годахъ (à mon âge)? До вашихъ лѣтъ (âge) я навѣрное не доживу (atteindre). Какъ же вы это можете знать, откуда (d'où vient) такая увѣренность? — Чего вы испугались, идите, пожалуйста: эта собака не укуситъ васъ; не бойтесь же, идите (avancez) смѣлѣе. Что вы ни говорите (vous avez beau...), но ваша собака не выглядитъ (avoir l'air) кроткою; посмотрите, какъ она лаетъ; хотя вы и увѣряете меня, что она не укуситъ, но я убѣжденъ, что она не впуститъ (laisser entrer) меня въ подъѣздъ (le perron). Слѣдуйте за мною и не обращайте, пожалуйста, никакого вниманія на эту собаку. Я ее нисколько не боюсь, но все-таки, (будучи) на вашемъ мѣстѣ, я не держалъ бы

никогда эту породу (espèce): во-первыхъ, онѣ очень злыя, а во-вторыхъ, я не вижу ничего красиваго въ догахъ. Я держу эту собаку не для роскоши, а просто для безопасности (sécurité); вы видѣли сами, насколько она хорошій сторожъ.

37.

Неужели вы въ состояніи сидѣть въ такой температурѣ? — помилуйте, у васъ тутъ навѣрное 20 или 22 градуса, — это ужасъ; — я весь въ поту (je suis tout en nage, sueur). Я не знаю какъ вамъ, но мнѣ совсѣмъ не жарко, притомъ же (d'ailleurs) здѣсь нѣтъ болѣе 16-ти градусовъ. Можетъ быть сегодня вы нездоровы? Нисколько; напротивъ, я чувствую себя отлично; но, привыкнувъ (habitué à) къ 13-ти градусамъ комнатной температуры, я не могу находиться [быть (тамъ)], гдѣ теплота доходитъ (monter) до 16-ти градусовъ, не говоря уже о 20-ти или болѣе. Вы не вѣрите, а вѣдь это чрезвычайно вредно; оттого-то вы и хвораете такъ часто, что (вы) находитесь въ такой жарѣ; подумайте только (pensez-y seulement), вы вѣдь постоянно въ разгоряченномъ состояніи (en transpiration): чуть (вы) войдете (туда), гдѣ немного холоднѣе, сейчасъ же (вы) и простуживаетесь. Нѣтъ, я уже совершенно привыкъ къ этой температурѣ; напротивъ, для меня это спасеніе (un remède) отъ всякой простуды. — Я думаю, что онъ теряетъ совершенно напрасно свое время: ея отецъ ищетъ жениха съ деньгами, а у него, кромѣ мѣста, нѣтъ ничего болѣе. Но она некрасива, притомъ у нея предурной характеръ. Развѣ вы ее хорошо знаете? — можетъ быть она и лучше, чѣмъ говорятъ. По моему мнѣнію, глупо ухаживать (faire la cour à...) за тѣми, которыя не хотятъ и смотрѣть на насъ (nous voir); неужели онъ не можетъ найти другой дѣвицы, хотя и бѣднѣе, но зато красивѣе и добрѣе? Дѣвица, о которой вы говорите, не та, про которую я думаю; кто-нибудь изъ насъ ошибается; не вы ли?

38.

Я не понимаю, къ чему ведутъ всѣ эти споры? — вы видите, что вы его не убѣдите: оставьте же его лучше въ покоѣ (tranquille). Не всѣ же могутъ слушать хладнокровно такую чепуху; хорошо, что

у васъ такой характеръ и для васъ это безразлично. Извините, я самъ спорилъ бы съ нимъ и доказывалъ бы ему несостоятельность (la fausseté, le tort) его мнѣній, если бы это былъ разсудительный (raisonnable) человѣкъ; но я уже убѣдился собственнымъ опытомъ, насколько всѣ эти споры безполезны. Не говорите, иногда онъ сознаетъ самъ свои заблужденія и уступаетъ; но сегодня я его не узнаю. Полноте (Allons donc!)! Неужели вы полагаете, что я его мало еще знаю; въ продолженіе одиннадцати лѣтъ моего съ нимъ знакомства, я еще не видѣлъ ни разу, чтобы онъ уступилъ комунибудь; всѣ его споры кончались всегда такимъ же образомъ. Сначала онъ споритъ довольно хладнокровно; затѣмъ, видя, что его противникъ (adversaire) съ нимъ не соглашается (n'est pas de son avis), (онъ) начинаетъ бранить его и въ концѣ концовъ, наговоривъ тысячу грубостей, уходитъ. Не всегда это ему удается: двѣ или три недѣли тому назадъ, поспоривъ съ К., онъ сказалъ ему какую-то грубость; но тотъ не только отвѣтилъ ему тѣмъ же, но и заставилъ его еще извиниться (à se faire des excuses). Что-жъ изъ этого, развѣ этотъ урокъ принесъ какую-нибудь пользу (былъ полезенъ); развѣ съ тѣхъ поръ, какъ это случилось, онъ сталъ (se mettre à) выражаться (s'exprimer, s'énoncer) не такъ рѣзко и грубо? Понятно, что если бы подобнаго рода случаи повторялись съ нимъ чаще, то весьма скоро отучили бы его отъ этой рѣзкости (brusquerie, grossièreté).

39.

Сердитесь, жалуйтесь, но я не могу поступить иначе; изъ этой суммы я не могу дать вамъ ни одной копейки; черезъ нѣсколько дней я ее передамъ вашему брату, тогда и дѣлите ее, какъ знаете (comme bon vous semblera). Но развѣ это не все равно (indifférent); къ чему эта процедура (formalité)? — вы же знаете, что половина этихъ денегъ принадлежитъ мнѣ. Не спорю, что половина этой суммы принадлежитъ вамъ, но (это) еще вопросъ: получите ли вы всю эту половину? Вашъ братъ говорилъ мнѣ, что изъ вашей части придется уплатить около 6 тысячъ долгу. А развѣ я самъ не могу этого сдѣлать; неужели вы думаете, что, взявъ деньги, я израсходую ихъ и не уплачу того, что (я) долженъ? — за кого же вы меня принимаете? За кутилу (viveur, gâcheur d'argent), каковы вы

и есть на самомъ дѣлѣ. Я вамъ совѣтую не спорить больше, потому что все будетъ напрасно; вы мнѣ ничего не докажете, — такъ къ чему же тратить совершенно напрасно время и слова? Въ такомъ случаѣ дайте мнѣ хотя тысячу рублей; я вамъ дамъ расписку, чего же вамъ еще нужно? Извините, но у меня нѣтъ времени болтать съ вами; меня ждутъ у нотаріуса къ одиннадцати часамъ, а теперь уже три четверти одиннадцатаго; поэтому (or) прощайте, приходите въ субботу къ вашему брату между тремя и четырьмя часами: я тамъ буду, тогда мы и поговоримъ обо всемъ. Итакъ, вы не дадите мнѣ даже и тысячи рублей? Не только тысячи рублей, но и десяти копѣекъ я не могу вамъ дать; я не имѣю на это (en) ни малѣйшаго права. Всю эту сумму я сдамъ подъ (contre) расписку вашему старшему брату, и онъ уже будетъ имѣть съ вами дѣло, а не я.

40.

М. разсказывалъ мнѣ непріятную исторію, которую вы имѣли съ моимъ братомъ; но вы сдѣлали очень умно, что не дали ему денегъ (не давъ ему денегъ), по крайней мѣрѣ, я могъ расплатиться (s'acquitter) съ его кредиторами. Не обижайтесь, пожалуйста, но я долженъ сказать вамъ, что вашъ братъ несносный человѣкъ; помилуйте (de grâce, tenez), онъ мнѣ наговорилъ столько дерзостей, что, еслибъ это былъ кто-нибудь другой, а не вашъ братъ, то я велѣлъ бы вывести (faire sortir) его изъ моего дома. Благодарю васъ сердечно за вашу любезность и прошу еще разъ извинить меня. Полноте, я уже и забылъ о всемъ этомъ; я удивляюсь только вашему терпѣнію, неужели вы ладите (s'entendre) съ нимъ? Сначала я не могъ даже и говорить съ нимъ хладнокровно, теперь же я уже свыкся (s'habituer, se faire à) и не обращаю болѣе никакого вниманія на всѣ его возраженія. — Скажите мнѣ, пожалуйста, какъ же вы кончили: отдали ли вы ему на руки остальную сумму, или же (вы) ее передали его женѣ, какъ (вы) хотѣли это сдѣлать? Во-первыхъ, 6,850 р. я уплатилъ его кредиторамъ, затѣмъ 3,149 р. помѣстилъ (verser, déposer) въ банкъ на имя его жены, а 1,500 р. отдалъ ему самому. И онъ остался доволенъ? — мнѣ что-то не вѣрится (je ne le crois pas). Онъ былъ увѣренъ, что я не дамъ ему и рубля, поэтому, получивъ сразу 1,500 р., онъ остался вполнѣ доволенъ.

Напрасно вы дали ему всю эту сумму заразъ; мнѣ кажется, что было бы гораздо благоразумнѣе (prudent, raisonnable) давать ему понемногу. Это совершенно вѣрно, но онъ уже такъ надоѣлъ мнѣ, что я хотѣлъ покончить разъ навсегда всѣ расчеты съ нимъ.

41.

Скажите, пожалуйста, правда ли, что на прошлой недѣлѣ васъ обокрали? — мнѣ говорили, что у васъ украдено серебра (de l'argenterie) и вещей на 2,600 р.? Это совершенная правда, меня обокрали (on m'a volé), но не на 2,600 р., а только на 1,400 р. Какъ же это случилось: развѣ въ квартирѣ никого не было, и было ли это ночью или днемъ? А вотъ какъ (Tenez): это было утромъ, часовъ въ шесть или въ половинѣ седьмого — я еще спалъ, а мой слуга пошелъ въ булочную и, уходя, забылъ запереть дверь; вѣроятно воръ, воспользовавшись его отсутствіемъ, вошелъ въ квартиру и, не думая долго (sans y penser), унесъ (emporter) ящикъ съ серебромъ, который стоялъ въ столовой. Все это мнѣ кажется весьма страннымъ; я думаю, что воръ кто-нибудь изъ живущихъ въ томъ же домѣ. Вы никого не подозрѣваете? Конечно, нѣтъ, тѣмъ болѣе, что Иванъ служитъ у меня уже 16 лѣтъ, а кухарки не было дома; въ это время она была на рынкѣ. Что же говоритъ полиція, подаетъ ли она какую-нибудь надежду на возможность отысканія вора и похищенныхъ (dérobées) вещей? Какъ обыкновенно, говоритъ она весьма многое, но я увѣренъ заранѣе, что (она) ничего не найдетъ. Такимъ образомъ вы миритесь съ мыслью потерять все ваше серебро? А что же дѣлать? — конечно, досадно (fâcheux) потерять 1,500 р.; но если помочь этому (y) нельзя, то не стоитъ и думать о томъ. Въ этомъ отношеніи у васъ отличный характеръ, и я вполнѣ раздѣляю ваше мнѣніе: нечего (il n'y a rien à) говорить о томъ, чего нельзя вернуть (retrouver).

42.

Если вы намѣрены ѣхать сегодня вечеромъ, то что же вы сидите дома, отправляйтесь кончать ваши дѣла: вѣдь многое (bien des choses) еще не сдѣлано. Будьте спокойны, къ одиннадцати часамъ вечера я окончу уже все; мнѣ осталось лишь побывать у X. и купить одѣяло. Однакожъ какая у васъ плохая память (Que la mémoire vous fait défaut); вы уже забыли, что мы должны еще отправить вещи, послать телеграмму моей женѣ, зайти на почту справиться (s'informer), нѣтъ ли тамъ писемъ, проститься (prendre congé de, dire adieu à) съ О. и съ семействомъ Павла и, наконецъ, кромѣ одѣяла, купить еще чемоданъ, картонку для (à) шляпы да еще коечто. Все это мы сдѣлаемъ въ продолженіе двухъ часовъ; вы увидите, что до обѣда (къ обѣденному часу) все уже будетъ готово; развѣ на все это нуженъ цѣлый день? Я вамъ совѣтую устроить это такимъ образомъ: я отправлюсь съ вещами на станцію для ихъ сдачи, а оттуда на почту; а вы въ это время пойдите и купите всѣ эти бездѣлицы; послѣ обѣда намъ останется только побывать (être, passer chez) у О. и у Павла. Какъ же вы хотите отправлять вещи, когда не все еще уложено (emballer)? -- посмотрите: тутъ еще будетъ работы часа на два. Приготовьте только ваши вещи, а про мои не заботьтесь: я уложу все въ пять минутъ. Вотъ что еще мы забыли, намъ вѣдь нужно еще зайти и въ банкъ. Затѣмъ, развѣ у васъ уже нѣтъ болѣе денегъ? Такъ вы хотите, чтобы, мѣняя эти бумажки въ Базелѣ (Bâle) на (pour de) золото, мы потеряли половину?

43.

Если вы уйдете (s'absenter, sortir), то пожалуйста не берите съ собою ключа, а то (sinon) опять случится такая же исторія, какъ и въ среду, когда мнѣ пришлось (falloir, devoir) ночевать у С. Не безпокойтесь, это не повторится (возобновится) больше; разъ случилось, а вы уже думаете [хорошо разъ, но вы не думайте (не должны думать)], что это будетъ постоянно. Съ вами бывали случаи во сто разъ хуже. Какіе? не угодно ли вамъ сказать мнѣ хоть одинъ? — я не помню по крайней мѣрѣ ничего подобнаго. Вспомните, что вы сдѣлали прошлый годъ на (à) Рождество. Развѣ тогда я вамъ не отослалъ (renvoyer) на шестой день всѣ ваши деньги? Сколько это будетъ стоить и можете ли вы приготовить все къ четвергу? Если къ этому вы не прибавите опять чего-нибудь, то въ четвергъ вечеромъ я вамъ принесу всѣ эти бумаги переписанными уже начисто (mis au net); если же явится (il y a) необходимость измѣнить ихъ содержаніе (le contenu) или вновь добавить кое-что,

тогда я не успѣю переписать всего къ четвергу. Нѣтъ, теперь уже не будетъ никакихъ измѣненій, исключая (sauf, excepté) тѣхъ, про которыя (dont) я уже говорилъ вамъ. Въ такомъ случаѣ вы можете разсчитывать получить все это даже въ среду, вечеромъ, но только не очень рано. Въ среду вы можете и не безпокоиться (se déranger), потому что по всей вѣроятности вечеромъ меня не будетъ дома; приходите лучше въ четвергъ, часовъ въ восемь или въ половинѣ девятаго. Я предпочелъ бы прійти въ среду вечеромъ, потому что въ четвергъ мнѣ придется поѣхать въ Р. съ первымъ поѣздомъ, а онъ отходитъ въ четверть 7-го. Хорошо, заходите и въ среду, если противъ всякаго ожиданія меня и не было бы дома, то вы передадите свертокъ (le rouleau) моей женѣ.

44.

Уговорите (persuader) (попросите) его пожалуйста, чтобы онъ не ѣхалъ на этой недѣлѣ, можетъ быть васъ онъ и послушается, потому что всѣ наши просьбы были до сихъ поръ безполезны. Но если онъ не желаетъ остаться, то я не понимаю, съ какой стати (à quoi bon) вы его упрашиваете и задерживаете? Но онъ еще не совсѣмъ поправился (se remettre); мы боимся, чтобы дорогою ему не сдѣлалось хуже. Оставьте пожалуйста; развѣ это ребенокъ, который не сознаетъ (reconnaître), что ему вредно; если онъ рѣшается (se décider à...) ѣхать, значитъ (cela veut dire, signifie, prouve) (онъ) чувствуетъ себя уже настолько здоровымъ, что не боится этого путешествія. Вы его не видѣли на этой недѣлѣ, а потому (вы) не можете и судить о томъ (en); но онъ сейчасъ придетъ (va rentrer), и вы убѣдитесь, основательно ли наше опасеніе или нѣтъ; онъ еще настолько слабъ, что еле ходитъ; куда же (comment peut-il...) ему ѣхать и притомъ одному. Если вы остаетесь, тогда пожалуй (aussi) и я останусь, хотя, сказать правду, намъ нечего больше смотрѣть, мы уже видѣли все; послушайте, не лучше ли намъ отправиться домой и лечь пораньше? Погодите еще полчасика — и я вѣдь не буду долго оставаться: въ два часа мы уйдемъ. Но я не вижу ни малѣйшаго удовольствія находиться въ (en) подобнаго рода обществѣ; я не понимаю тѣхъ людей, которые проводятъ здѣсь чуть ли не цѣлые дни; по моему мнѣнію, это не только не доставляетъ (procurer) удовольствія, но, напротивъ, внушаетъ (inspirer) даже отвращеніе къ

подобному препровожденію времени (passe-temps). Для васъ, какъ для человѣка серьезнаго, конечно это не можетъ нравиться; но вы видите, общество состоитъ (consister) большею частію (en majorité) изъ рабочаго класса, а для людей мало развитыхъ всѣ эти представленія особенно привлекательны. Я не говорю про нихъ; меня удивляетъ одно лишь, какъ вамъ не наскучитъ бывать здѣсь такъ часто? Я не знаю, правда ли, но мнѣ говорили, что вы не пропускаете (manquer, laisser passer) ни одного вечера.

45.

Ну, ужъ если на то пошло (Eh bien, s'il en est question), то я вамъ скажу, что вы поступили крайне глупо. Такъ что-жъ, по вашему мнѣнію, мнѣ слѣдовало извиниться передъ нимъ или отвѣтить молчаніемъ? Вы могли и не извиняться, но вамъ слѣдовало молчать: во-первыхъ, онъ былъ вполнѣ правъ, а во-вторыхъ (онъ) велъ себя во все продолженіе вашего разговора очень вѣжливо; вы начали бранить его, а не онъ. Тѣмъ не менѣе, въ концѣ концовъ онъ замолчалъ (il finit par se taire). Всякій благовоспитанный человѣкъ поступилъ бы точно такъ же: развѣ возможно спорить съ человѣкомъ (находящимся) въ ненормальномъ (anormal) состояніи? Всѣ, безъ всякихъ исключеній, согласны (convenir), что онъ поступилъ такъ, какъ это слѣдовало сдѣлать человѣку образованному (хорошо воспитанному); каждый скажетъ, что вы вели себя крайне неприлично. — Чтобы не произошло (Pour éviter) никакой задержки, я напишу къ нему сегодня же; завтра вы отправитесь къ нему, и если только захотите, то и кончите все въ полчаса. Я знаю, что съ его стороны не будетъ задержки, но завтра я не могу еще кончить, потому что пока у меня только 1,350 руб. Это не должно васъ безпокоить: — онъ подождетъ, въ случаѣ надобности, мѣсяцъ или два. И это я знаю, но (я) не соглашусь самъ начинать дѣла безъ денегъ: я нахожу, что лучше подождать еще нѣкоторое время, нежели съ первыхъ же дней входить въ долги (faire des dettes, s'endetter). Неужели 300 или 400 руб. такія большія (considérable) деньги, что это можетъ васъ безпокоить? Конечно, не большія (pas grand), но лучше не имѣть и трехъ копеекъ долгу.

46.

Развѣ, уходя, онъ не говорилъ вамъ, куда (онъ) идетъ, что вы не знаете, когда онъ вернется? Неужели вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что я спрашиваю его, куда онъ уходитъ; да мнѣ какое до этого дѣло (qu'est-ce que cela me fait)? Не знаю, какъ теперь, но прежде онъ положительно не могъ сдѣлать и шагу безъ вашего вѣдома (à votre insu). Никогда ничего подобнаго не было; вамъ кто-нибудь насплетничалъ (radoter), и вы не постыдились повѣрить этому вздору. Никто не говорилъ мнѣ ничего подобнаго, все это я видѣлъ самъ, и не разъ или два, а во все продолженіе того времени, пока я жилъ въ одной квартирѣ съ вами. И вамъ это не стыдно говорить? Нисколько, я вѣдь не лгу, а правду говорить нечего стыдиться. — Развлекитесь, подите куда-нибудь, и весь этотъ вздоръ (balivernes) вылетитъ (quitter) у васъ изъ головы; если вы хандрите (s'ennuyer), то тутъ нечего (не слѣдуетъ) и удивляться, помилуйте, вы проводите цѣлые мѣсяцы, не видя ни души. Я понимаю, что у каждаго изъ насъ бываютъ минуты, когда даже никого не хочется видѣть, но для этого необходимо имѣть какія-нибудь уважительныя причины, несчастіе, горе какое-либо, а у васъ одно (ce n'est que...) воображеніе. Это мнѣ нравится — воображеніе, сплинъ! почему вы знаете, можетъ быть, у меня есть весьма много горя и непріятностей (déboires, desagréments), если же я не разсказываю никому о нихъ и не жалуюсь, это еще не доказываетъ, чтобъ у меня не было чего-нибудь подобнаго. Сдѣлайте одолженіе (Allons donc!) — будь у васъ истинное горе, вы не такъ бы заговорили: въ томъ-то и дѣло (voilà la chose), что съ вашимъ характеромъ вы никогда не сумѣете скрыть чего-либо подобнаго отъ постороннихъ (лицъ), хорошо васъ знающихъ; малѣйшая непріятность (la contrariété) — и все это сейчасъ же отражается (se voit) на вашемъ лицѣ.

47.

Скажите мнѣ, какъ же вамъ нравится ваша новая квартира? Сказать вамъ откровенно, я ею (en) недоволенъ: во-первыхъ, она немного дорога для меня, а во-вторыхъ, (она) очень холодна. Я слышалъ отъ N. (j'ai entendu dire N.), который жилъ прежде въ этой квартирѣ, что, напротивъ, она очень тепла. Вы не можете себѣ представить, сколько я имѣлъ хлопотъ, пока (я) не нашелъ (до пріисканія) этой квартиры. Ваша супруга говорила мнѣ какъ-то на-дняхъ, что вы искали квартиру болѣе трехъ мѣсяцевъ. Я не знаю почему, но вообще (en somme) ваша квартира мнѣ кажется неудобною. Она въ самомъ дѣлѣ очень мала для насъ, особенно съ тѣхъ поръ, какъ съ нами живетъ и жена моего брата. Развѣ вы думаете и на будущій годъ остаться въ этой же квартирѣ, несмотря на ея сырость и всѣ ея неудобства? Что же дѣлать, когда мои средства (moyens, ressources) не позволяютъ мнѣ тратить болѣе пятисотъ р. въ годъ на квартиру, а за эту цѣну едва ли (я) найду что-нибудь лучшее. — Развѣ вы ее знали, когда она еще была дѣвицею, или вы слышали (entendre, tenir de) все это отъ другихъ? Я ее зналъ еще ребенкомъ, когда она жила у своей тетки. Какъ давно вы уже ея не видали? Порядочно (passablement); погодите, дайте (permettez) вспомнить: если не ошибаюсь, то это было 11 лѣтъ тому назадъ; можетъ быть немного и меньше, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе десяти лѣтъ (по крайней мѣрѣ десять лѣтъ) тому назадъ. Тогда вы ея не узнаете теперь: она такъ похорошѣла (embellir) въ эти послѣднія пять лѣтъ, что многіе, видѣвшіе ее шесть лѣтъ тому назадъ, принимаютъ ее за совсѣмъ другую личность. Можетъ быть, но все-таки (toutefois) я думаю, что я узналъ бы ее; а когда она у васъ будетъ? Сегодня вечеромъ; оставайтесь у насъ пить чай, и вы ее увидите.

48.

У него не было тогда и 500 руб. наличныхъ денегъ (en argent comptant); какъ же вы хотѣли, чтобы онъ одолжилъ вамъ 1,800 руб. и то еще на полгода? Я этому (у) не вѣрю; будьте увѣрены, что онъ васъ обманываетъ, говоря, что 14-го числа у него было всего 486 руб. А я вамъ говорю, что это правда; въ пятницу мой братъ былъ у него и просилъ 200 руб. на четыре дня, но онъ и ему отвѣтилъ, что до перваго числа онъ не можетъ дать ему ни одной копейки. Но это еще ничего не доказываетъ; очевидно, что онъ не желаетъ дать вашему брату точно такъ же, какъ и мнѣ (de même qu'à). — Я только что хотѣлъ уйти (aller sortir); если бы вы опоздали еще пять минутъ, то вы меня не застали бы уже дома. Вы не можете себѣ представить, какъ я торопился (se dépêcher, se hâter), тѣмъ болѣе, что я зналъ, что вы не будете меня долго ждать. Но

я васъ не задерживаю; мы можемъ отправляться; я васъ провожу, и дорогою мы поговоримъ. Мнѣ кажется, что намъ слѣдовало бы зайти и къ Ивану. Дѣлайте, какъ знаете, я согласенъ на все: до шести часовъ вы можете вполнѣ располагать мною (disposer de...). — Почему вы не пользуетесь этимъ случаемъ, развѣ въ настоящее время у васъ нѣтъ денегъ, или же вы уже отказались (renoncer à) отъ своего намѣренія пріобрѣсти домъ въ Петербургѣ? Въ томъ-то и бѣда (voilà le mal), что у меня не хватаетъ денегъ; если бы я могъ достать еще 15 тысячъ, то, не задумываясь (sans y réfléchir), (я) купилъ бы этотъ домъ. Но развѣ у васъ нѣтъ такихъ знакомыхъ, которые одолжили бы (avancer) вамъ эту сумму подъ залогъ этого же дома? У кого вы въ настоящее время (нынѣ) достанете денегъ? — всѣ бѣдствуютъ (être en détresse); если же нѣкоторые и имѣютъ, то они не даютъ (ихъ) (le) никому. Я не знаю, какъ поступили бы другіе, но будь у меня деньги, я немедленно далъ бы (donner, avancer) эту сумму, тѣмъ болѣе что обезпеченіе самое вѣрное (de toute sécurité). Это такъ, но, къ несчастію, не всѣ разсуждаютъ (raisonner), какъ вы.

49.

Зная почти навѣрное, что его нѣтъ дома, я отворилъ дверь въ его кабинетъ и вошелъ безъ церемоніи (façon); но вообразите себѣ (se figurer) мое удивленіе, когда я увидѣлъ, что у него тамъ была (qu'il y avait) цѣлая компанія. Вамъ слѣдовало спросить кого-нибудь, дома ли онъ. Но во всѣхъ комнатахъ я не нашелъ никого; дойдя (venu) до столовой и не найдя и тамъ никого, я былъ убѣжденъ, что его нѣтъ дома; поэтому-то я и пошелъ въ его кабинетъ, чтобы написать ему два или три слова. Однакоже, чѣмъ же вы кончили: принесло ли это свиданіе какую-нибудь пользу дѣлу? Пока (en attendant) еще нѣтъ, но я надѣюсь, что на этой недѣлѣ (я) дополучу остальныя деньги, и тогда все пойдетъ скоро и успѣшно. — Я могъ бы обратиться и къ нему самому; но (я) боюсь, чтобы онъ не сказалъ впослѣдствіи, что безъ него я не могъ бы получить (obtenir) этого мѣста. Этого вамъ нечего бояться; онъ не настолько глупъ, чтобъ говорить подобнаго рода вздоръ; кто же ему повѣритъ, если бы даже онъ и сказалъ что-нибудь подобное? Однакоже многіе говорятъ, что это съ нимъ (que cela lui...) случалось; еще недавно

(naguère) одинъ изъ моихъ друзей разсказывалъ мнѣ нѣчто въ этомъ родѣ. Извините меня, но вашъ другъ лгалъ: М. не способенъ на подобную глупость; я увѣренъ, что, если бы онъ и далъ кому-нибудь какое мѣсто, то впослѣдствіи онъ никогда не напрашивался бы на благодарность (la gratitude). Все-таки, я постараюсь обойтись безъ протекціи, — по крайней мѣрѣ, не будучи никому обязаннымъ, я буду спокоенъ. Не глупите, пожалуйста, а то впослѣдствіи вы будете раскаиваться.

50.

Неужели, имѣя такое громадное состояніе и будучи (живя) одинокимъ, онъ не помогаетъ своимъ роднымъ, которые если не всѣ, то большая часть бѣдняки? Онъ не только не помогаетъ никому, но даже не принимаетъ (recevoir) никого изъ нихъ; это до такой степени скряга (grigou, chiche), что и для самого себя жалѣетъ всякаго расхода. Я не знаю, каковъ (quel) онъ теперь, но 12 лѣтъ тому назадъ въ немъ не замѣчалось (нельзя было замѣтить) что-либо подобное. Теперь вы его не узнаете, до такой степени онъ перемѣнился во всемъ, не говоря уже о томъ, что онъ постарѣлъ. Давно ли вы его знаете? Около восьми лѣтъ; однимъ словомъ, съ тѣхъ поръ, какъ онъ покинулъ Петербургъ. — Я уже сказалъ вамъ какъ-то на-дняхъ, что это меня не касается (regarder, toucher, importer); зачѣмъ же вы пристаете ко мнѣ (obséder); какое мнѣ дѣло, что онъ вамъ долженъ: развѣ я его отецъ или опекунъ; если онъ вамъ долженъ, то и взыскивайте съ него (faire payer). Меня послалъ къ вамъ господинъ К.; онъ мнѣ говорилъ, что его отецъ, уѣзжая въ деревню, оставилъ у васъ 300 руб. на нужды своего сына; не будучи въ состояніи получить съ него ни копейки, мнѣ осталось лишь одно средство, — (это) обратиться къ вамъ. Дѣйствительно его отецъ оставилъ у меня 300 р., но онъ взялъ всѣ эти деньги еще въ маѣ мѣсяцѣ, говоря, что ему необходимо разсчитаться (payer) съ кое-кѣмъ; не подозрѣвая, чтобы онъ меня обманывалъ, я отдалъ ему всю эту сумму безъ всякихъ возраженій (sans contredire); впрочемъ, иначе я и не могъ поступить, потому что (puisque, vu que) М. сказалъ мнѣ, чтобы я употребилъ эти деньги на его нужды. Какъ вы мнѣ посовѣтуете, что мнѣ дѣлать: пожаловаться ли мировому или написать къ его отцу? Конечно, напишите лучше (plutôt) отцу;

что же касается (quant à...) жалобы, то вѣдь вы знаете, что она останется безъ всякихъ послѣдствій, такъ какъ онъ (vu qu'il) еще несовершеннолѣтній (mineur или n'est pas.... majeur).

51.

Казалось (можно было бы думать, что это) пустяки, между тѣмъ вотъ уже третья недѣля, какъ не могу поправиться (se remettre): до сихъ поръ чувствую себя весьма слабымъ, притомъ и лихорадка еще не совсѣмъ прошла; хотя и рѣдко, а все-таки нѣтъ той недѣли, чтобъ она не возвращалась. Но можетъ быть, вы не лечитесь (se traiter), какъ слѣдуетъ, или не исполняете предписаній (prescription, ordonnance) вашего доктора; не можетъ же быть, чтобы лекарства не дѣйствовали. Отчего же нѣтъ? — мнѣ кажется, что это и есть именно единственная причина, почему до сихъ поръ я не могу окончательно поправиться (что это именно единственная причина, которая мѣшаетъ моему окончательному выздоровленію); моя натура такъ привыкла къ разнаго рода лекарствамъ, что на нее (у) обыкновенныя дозы не производятъ уже ни малѣйшагѡ дѣйствія. Можетъ быть; но я думаю, что, кромѣ этого, тутъ еще должна быть какая-либо другая причина, которую какъ вы, такъ и вашъ докторъ еще не замѣтили; обратите на это (у) вниманіе, и увидите, что я не ошибаюсь. Не думаю; я уже такъ остороженъ во всѣхъ отношеніяхъ и настолько внимателенъ, что если бы что-либо подобное и было, то я немедленно замѣтилъ бы это. — Если вы располагаете временемъ, то посидите (rester) еще; куда вамъ торопиться, спать вѣдь не ляжете такъ рано, а чѣмъ сидѣть одному дома, посидите (passer) лучше лишній часъ (une heure de plus) у меня. Но уже не рано, пока (quand) я приду — будетъ двѣнадцать ч. ночи, а пока лягу — и половина второго, между тѣмъ завтра мнѣ нужно непремѣнно встать въ шесть час. утра. Отчего такъ рано, развѣ завтра утромъ вы собираетесь (vous avez l'intention d'aller) куда-нибудь? А развѣ вы не знаете, что я встаю обыкновенно въ шесть часовъ утра; я уже такъ привыкъ къ этому (j'y suis tellement fait, habitué), что, если иногда и случится проспать лишній часъ, то на слѣдующій день я всегда чувствую себя нехорошо. А я такъ, напротивъ, тогда только и чувствую себя совершенно хорошо, когда сплю не менѣе десяти часовъ ночью, но зато (en revanche) я никогда не сплю послѣ обѣда.

52.

Можетъ быть, вамъ и не понравилось то, что я вамъ сказалъ, но вы меня просили сказать вамъ всю правду. Однимъ словомъ, вы говорите, что не онъ виноватъ, а я. Конечно, мнѣ кажется, что всякій вамъ скажетъ то же самое: вы хотѣли пошутить, позабавиться имъ (s'amuser), но это вамъ не удалось. Въ этомъ-то именно вы и ошибаетесь: забавляться кѣмъ бы то ни было я не думала, да и не умѣю (je ne saurais le faire). Но если это правда, то почему же вы обижаетесь, что онъ пересталъ бывать (fréquenter) у вашей сестры? Я не обижаюсь, но мнѣ кажется, что его невниманіе къ моимъ роднымъ крайне (bien) невѣжливо. Почемъ вы знаете (Qu'en savez-vous); можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ у него есть основаніе (une raison, un motif) не посѣщать ихъ. Нѣтъ, я этого не понимаю и не пойму никогда. Я могу быть съ вами въ ссорѣ, но, тѣмъ не менѣе, встрѣчаться въ другомъ домѣ; мнѣ кажется, что глупо (malséant) было бы обижать постороннихъ людей (des étrangers, autrui) изъ-за того, что въ ихъ домѣ я могу встрѣтить личность, которую не хотѣлось бы видѣть. — Съ вами всегда бываютъ какія-то особенныя приключенія (aventure); скажите мнѣ пожалуйста, отчего ни съ кѣмъ изъ насъ не случается ничего подобнаго? Очень просто: у васъ нѣтъ никакихъ дѣлъ съ посторонними людьми, а потому съ вами этого и не можетъ случиться. Пока я не буду спорить съ вами; объ этомъ (en) мы поговоримъ (reparler) впослѣдствіи; теперь же продолжайте начатый вами разсказъ, но главное — не преувеличивайте (outrer, exagérer) и разсказывайте, какъ все это произошло. Я уже разсказалъ вамъ все, развѣ (вамъ) этого еще мало (suffire)? чего же вы еще хотите; вѣдь это просто (tout bonnement) сказка, никто не хочетъ вѣрить, чтобы что-либо подобное могло случиться и гдѣ же еще — въ столицѣ! Но знаете ли вы, что я могу разсказать вамъ множество подобныхъ случаевъ; для васъ, какъ (для) иностранца, это кажется чѣмъ-то невозможнымъ и удивительнымъ; но мы уже настолько привыкли къ подобнаго рода исторіямъ, что и не обращаемъ на нихъ (у) ни малѣйшаго вниманія.

53.

Какъ же ваши дѣла; устроили вы то, про что (dont) вы мнѣ говорили въ среду? Почти, но не совсѣмъ, въ настоящее время въ

Лондонѣ нѣтъ директора банка М., а безъ него совѣтъ не можетъ дать своего согласія (l'agrément) на мое предложеніе. Это одна лишь формальность; его согласіе не подлежитъ никакому сомнѣнію (est hors tout doute); тутъ весь вопросъ только во времени; поэтому вы можете считать (considérer) это дѣло вполнѣ удавшимся, съ чѣмъ васъ и поздравляю; вы устроили главное: все остальное сравнительно гораздо легче (пустяки). Не совсѣмъ: многое еще предстоитъ (avoir) мнѣ окончить, но не теряю надежды и думаю, что къ 20-му числу я окончу уже все. Гораздо раньше, черезъ десять дней все уже будетъ готово, и вы будете въ состояніи вернуться домой съ хорошимъ результатомъ. — Если вы желаете дѣйствовать успѣшно, то прежде всего вамъ необходимо войти въ соглашеніе (s'entendre) съ какимъ-нибудь банкирскимъ или торговымъ домомъ, иначе вы не будете пользоваться (jouir) довѣріемъ, а это — главное. Къ чему (à quoi bon) мнѣ входить въ какія бы то ни было сношенія съ здѣшними фирмами (raison sociale, maison de commerce), когда я заручился (se pourvoir) этимъ (en) въ Россіи? Какъ къ чему? — вы же не можете вести всѣ эти дѣла самостоятельно, вамъ необходимо имѣть какой-нибудь торговый домъ въ Лондонѣ для пріема заказовъ (la commande); безъ этого вы не обойдетесь. Мнѣ кажется, что гораздо лучше заручиться этимъ (en) теперь же, нежели откладывать до крайней (extrême) необходимости. Я не прочь войти (je ne suis pas contraire à) въ соглашеніе (une entente), если только условія будутъ подходящими (acceptables); но я слышалъ, что это весьма трудно, въ большинствѣ случаевъ всѣ фирмы (maisons) предлагаютъ почти невозможныя условія.

54.

Если онъ очень молодъ, то я вамъ не совѣтую его брать: для такого рода службы нуженъ человѣкъ опытный, уже служившій. Вступивъ въ отправленіе (entré en fonctions de...) своихъ обязанностей, онъ уже не будетъ имѣть времени учиться дѣлу, потому что исполняющій эту обязанность долженъ знать свое дѣло до мельчайшихъ подробностей. Я хотѣлъ взять молодого потому лишь, что, во-первыхъ, это будетъ стоить гораздо дешевле, а во-вторыхъ, и потому, что съ молодымъ легче справиться (venir à bout): — его можно поучить (reprendre) безъ церемоніи, сдѣлать замѣчаніе въ случаѣ нужды и проч.; пожилой же человѣкъ не только обойдется вдвое дороже, но

будетъ имѣть постоянно разнаго рода претензіи и требованія, а на дѣлѣ (au fait) окажется (être) ничуть не лучше молодого и менѣе опытнаго. Со всѣмъ этимъ я согласенъ, исключая лишь вашихъ экономическихъ взглядовъ (raison, motif): гдѣ идетъ (il s'agit) дѣло о тысячахъ, тамъ не можетъ быть рѣчи (question) о какихъ-нибудь пяти или шести стахъ рубляхъ; не упускайте изъ виду, что, выгадывая (lésiner) копейки, вы можете потерять тысячи. — Не помните ли вы, въ которомъ часу мы вышли изъ дому? — уходя, я забылъ посмотрѣть на часы, между тѣмъ мнѣ хотѣлось бы знать, сколько времени мы употребили (mettre), идя медленнымъ шагомъ. Я тоже не посмотрѣлъ на часы, но, проходя мимо думы (l'hôtel de ville), я взглянулъ на башенные часы и помню, что тогда было 18 минутъ перваго, теперь же половина третьяго; такимъ образомъ мы употребили приблизительно два часа 25 минутъ: это не особенно много. Да, но все это лишь приблизительно, потому что вы не помните навѣрное, который былъ часъ, когда мы проходили мимо думы; притомъ же вы не принимаете въ расчетъ (tenir compte de...) того времени, которое мы потеряли на разговоръ при встрѣчѣ (ayant rencontré) съ П., и наконецъ времени, нужнаго для того, чтобы прійти отъ насъ къ думѣ, а это разстояніе не малое. Какъ вы ни считайте (avoir beau compter), но результатъ выйдетъ тотъ же самый — два часа съ половиною или самое большее — три (часа), полагая, что мы шли очень медленно.

55.

Если я не хочу вдаваться въ подробныя объясненія, — то только потому, что мнѣ не хотѣлось бы начинать новыхъ споровъ и пререканій (contradiction). Послушайте, вѣдь мы не дѣти, чтобы (afin) спорить ради удовольствія. Новый разговоръ о томъ же самомъ предметѣ не можетъ послужить предлогомъ (prétexte) къ новому спору; напротивъ, онъ разъяснитъ (éclaircir, dissiper) лишь всѣ эти недоразумѣнія (malentendu). Наконецъ, если ваши слова: «я вашъ другъ» не были одною лишь пустою (en l'air) и звонкою фразою, то вы должны понять, что я имѣю право требовать объясненія. Отвергать того, что я былъ вашимъ другомъ, вы не можете и не имѣете права; я вамъ это доказалъ не словами, а сотни разъ на дѣлѣ (au fait). Вы выходите изъ себя (s'emporter) изъ-за (à propos) такихъ

пустяковъ; скажите, стоитъ ли раздражать себя ради такой бездѣлицы? — я понимаю, что было бы очень обидно слышать нѣчто подобное отъ образованнаго человѣка; но разумно ли обращать вниманіе на прислугу? Но помилуйте, если я ей позволю хотя разъ отвѣчать мнѣ подобнымъ образомъ, то что же будетъ впослѣдствіи? По моему мнѣнію, тутъ не должно быть никакихъ разговоровъ (conférence); она вамъ говоритъ грубости, отвѣчая черезчуръ дерзко; вы ею недовольны, — прогоните (congédier) ее: развѣ мало прислугъ? — да я вамъ сама достану сегодня же хотя десять отличныхъ кухарокъ. Я сознаю (reconnaître) и сама, что это слѣдовало сдѣлать еще въ прошломъ году, но я терпѣла (patienter), думая, что она исправится, но теперь вижу, что это ни къ чему не поведетъ: ее слѣдуетъ выгнать, — другого исхода нѣтъ. Такъ и сдѣлайте, но не ограничивайтесь (se limiter) одними лишь пустыми разговорами, не обѣщайтесь выгонять (mettre à la porte) и не кончайте этимъ, а отпустите (congédier) ее дѣйствительно (tout de bon).

56.

Извините меня, но мнѣ кажется, что вы меня не понимаете; я не говорю о тѣхъ обстоятельствахъ, которыя могутъ все измѣнить (modifier, changer); я хотѣлъ бы только быть увѣреннымъ, что вы не откажете мнѣ въ вашемъ содѣйствіи (concours): этого мнѣ уже совершенно достаточно, потому что, коль скоро вы захотите, чтобы я поступилъ (entrer) на службу, то все остальное устроится само собою. Что касается (quant à) моего содѣйствія (la coopération, le concours), то вы можете быть совершенно спокойны; я сдѣлаю все, что только будетъ отъ меня зависѣть. Не вѣрьте ему, пожалуйста, онъ лжетъ, вчера я и не думалъ выходить изъ дому; еслибъ я былъ (plus-q.-p.) въ маскарадѣ (bal masqué), то сказалъ бы вамъ объ этомъ еще вчера вечеромъ. Я говорю, что вы не были дома; въ половинѣ девятаго я проходилъ мимо вашего дома и у васъ въ окнахъ не было свѣту (lumière). Это еще ничего не доказываетъ: можетъ быть въ это время я былъ въ кабинетѣ, окна котораго выходятъ (donner) во дворъ. Это невѣроятно, тѣмъ болѣе что, насколько я могъ замѣтить, вы большею частью сидите (rester) всегда въ залѣ, а не въ кабинетѣ. А я вамъ говорю, что вы ошибаетесь: въ этотъ день я именно и просидѣлъ (passer) весь вечеръ въ кабинетѣ. Мнѣ только не хочется

спорить съ вами, но я могъ бы доказать вамъ, что вы говорите неправду; вы не были дома, я даже знаю, гдѣ вы были. Говорите, гдѣ же я былъ? Извольте (Tenez): въ восемь часовъ вы вышли изъ дому и отправились (se rendre) прямо къ М.; сколько времени вы тамъ пробыли, — этого я уже не знаю; но въ половинѣ двѣнадцатаго ночи васъ видѣли у подъѣзда купеческаго клуба. Странно, какъ это вы все знаете отлично!

57.

Вчера я его встрѣтилъ, но такъ какъ онъ былъ не одинъ, а въ компаніи, то я и не могъ поговорить съ нимъ (lui). Чего же вы ждете? — въ такомъ случаѣ вамъ необходимо пойти къ нему немедленно, а то (sinon) онъ уѣдетъ завтра, и мы опять останемся въ неизвѣстности (l'incertitude). Я пообѣдаю и сейчасъ же отправлюсь къ нему; если же пойти теперь, то пожалуй я его не застану дома. Мнѣ кажется, что, напротивъ, вы должны пойти къ нему теперь же: до двѣнадцати часовъ онъ, по всей вѣроятности, не уходитъ изъ дому. Можетъ быть онъ и будетъ дома, но (онъ) меня не приметъ (recevoir); не забывайте, что это большой баринъ (grand seigneur): онъ вѣдь встаетъ лишь въ часъ дня. Нѣтъ, если онъ и встаетъ поздно, то во всякомъ случаѣ не позже одиннадцати часовъ утра. А помните ли про прошлую среду: вѣдь уже было больше половины второго, когда мы пришли къ нему, а онъ еще былъ въ постели. — Вчера я былъ у Ивана и видѣлъ его новую квартиру; она въ самомъ дѣлѣ отличная и притомъ чрезвычайно удобная. Я думаю (Je le crois bien), за 3,000 руб. въ годъ не трудно найти еще лучшую; цѣна-то какая! Не особенно большая; не забывайте, что у него 18 комнатъ, двѣ конюшни, три или четыре сарая, нѣсколько погребовъ, ледникъ, наконецъ, отопленіе (le chauffage); я увѣренъ, что одни лишь (rien que) дрова стоятъ не менѣе шестисотъ руб. въ годъ. Я еще не видѣлъ этой квартиры, а потому и не могу спорить съ вами; но, судя (selon) по мѣсту, цѣна ея очень высока. Но гдѣ же вы найдете что-либо лучшее? — неужели, по вашему мнѣнію, квартира вашего зятя лучше, а вѣдь онъ платитъ 400 руб. въ мѣсяцъ. А мѣсто: развѣ возможно сравнивать квартиру, находящуюся на Англійской набережной, съ какой бы то ни было (квартирою) на Васильевскомъ островѣ? Что касается удобствъ, то, по моему мнѣнію, квартира Ивана гораздо лучше квартиры вашего зятя: во-первыхъ,

она въ бельэтажѣ, во-вторыхъ, комнаты гораздо больше и выше, наконецъ, и отдѣлка (la décoration, l'ornement) всей квартиры несравненно богаче.

58.

Не подумайте, пожалуйста, что вы мнѣ мѣшаете; напротивъ, я очень радъ, что вы пришли ко мнѣ. Я зашелъ (passer) къ вамъ на пять минутъ; вчера вечеромъ М. былъ у меня и (онъ) просилъ меня передать (communiquer) вамъ, что до субботы онъ не можетъ дать вамъ отвѣта. Скажите ему, пожалуйста, чтобъ онъ не безпокоился (se déranger): я могу подождать не только до субботы, но даже до 18-го числа. Въ субботу или самое позднее (au plus tard) въ воскресенье онъ будетъ у васъ, и вы получите всѣ эти свѣдѣнія (renseignements). Извините меня, но если сегодня или завтра вы увидите Б., то передайте ему, что на-дняхъ у меня былъ поручикъ X. и просилъ сообщить ему адресъ Б., между тѣмъ я и самъ не знаю, гдѣ онъ живетъ (habiter) въ настоящее время. Я знаю, гдѣ онъ живетъ, а потому могу вамъ дать этотъ адресъ сейчасъ же, — вотъ онъ. Прошу извинить меня еще разъ, что я васъ побезпокоилъ (de vous avoir), но задерживать васъ больше я не буду, — до свиданья! Погодите, пожалуйста, еще немного, куда вы торопитесь, вѣдь еще не время обѣдать. — Всѣ безъ исключенія разсказываютъ, что онъ могъ бы заплатить всю эту сумму заразъ, потому что до сихъ поръ у него есть еще порядочное (passable) состояніе. Вы недовольны тѣмъ, что вчера онъ вамъ не далъ денегъ; вы не вѣрите, чтобы онъ не имѣлъ трехсотъ руб.: не такъ ли? Конечно, это отвратительный скряга (grigou): онъ не далъ мнѣ этихъ денегъ не потому, что дѣйствительно у него ихъ (en) нѣтъ, а потому лишь, что (онъ) боится, какъ бы не потерять этой пустой (futile) суммы. Развѣ вы уже обращались и въ банкъ? Да, но мнѣ отвѣтили, что въ настоящее время это невозможно; что я уже опоздалъ, такъ какъ крайній срокъ (le terme) окончился (échoir) 29-го октября. Вы смѣетесь, думая, что все это шутки и что вамъ не угрожаетъ никакая опасность; но смотрите, какъ бы не ошибиться, и даже весьма жестоко!

59.

Какъ вамъ не совѣстно (avoir honte) дѣлать подобнаго рода предложенія: неужели, въ продолженіе 15-ти лѣтъ, какъ вы его знаете, (вы) не могли убѣдиться, что онъ не способенъ на подобнаго рода поступокъ? Я вамъ передаю (redire) лишь то, что (я) слышалъ: весьма возможно, что все это и вздоръ. Развѣ въ настоящее время его нѣтъ въ городѣ? — мнѣ говорили какъ-то на-дняхъ, что онъ уже вернулся въ прошлую пятницу. Можетъ быть, но я ничего объ этомъ (en) не знаю, и не думаю, чтобы это была правда: если бы онъ пріѣхалъ, то первымъ дѣломъ (avant tout) онъ пришелъ бы ко мнѣ (venir me voir). Впрочемъ, завтра я увижу его сестру; она должна знать, вернулся ли онъ уже, или если еще нѣтъ, то когда именно онъ пріѣдетъ. Вамъ нечего безпокоиться: я знаю отлично, что его еще нѣтъ въ городѣ; если онъ и вернется, то, во всякомъ случаѣ, не раньше 25-го числа, а сегодня у насъ только 14-е. Почему же вы полагаете, что онъ пріѣдетъ именно 25-го числа? — Почему вы не хотите отправиться съ нами къ М.? они вѣдь (же) васъ приглашали не только въ прошлую среду, но еще и вчера. Что же я буду у нихъ дѣлать? вы знаете, что я не играю въ карты, а у нихъ одно лишь развлеченіе (distraction) — карты. Нисколько, неужели вы думаете, что всѣ ихъ гости только играютъ (ne font que jouer) въ карты? — да вотъ (tenez), напримѣръ, братъ полковника К., онъ даже никогда и картъ не держалъ (avoir) въ рукахъ. Нѣтъ, сегодня я уже не пойду, лучше (plutôt) когда-нибудь въ другой разъ; притомъ же сегодня мнѣ что-то нездоровится (être indisposé). Конечно, если вы нездоровы, то эта причина весьма уважительная (admissible). Кланяйтесь имъ отъ меня и скажите, что я прошу ихъ извинить меня; поблагодарите за ихъ любезное приглашеніе и добавьте, что при первой возможности я постараюсь побывать у нихъ (d'aller les voir).

60.

Неужели у васъ не было времени пойти въ лавку, про которую (dont) я вамъ говорилъ еще вчера вечеромъ; развѣ вы не знаете, что въ нашей нельзя достать ничего порядочнаго (passable)? Если бы вы мнѣ дали деньги утромъ, а не въ три часа дня, то я пошелъ бы на рынокъ; утромъ я былъ совершенно свободенъ. Если уже было поздно, чтобы идти пѣшкомъ на рынокъ, то вы могли бы поѣхать; во всякомъ случаѣ вамъ не слѣдовало (falloir) покупать что бы то ни было въ нашей лавкѣ. Но мнѣ кажется, что рыба не особенно

худа; можетъ быть она не такая, какую вы хотѣли имѣть, но на вкусъ она не дурна. Вѣроятно, вы ея еще не пробовали (essayer)?— покушайте (goûter) и тогда (вы) увидите, что ея даже ѣсть нельзя (n'est pas mangeable). Да, это правда, она очень дурна; я не понимаю, какъ мнѣ не пришло въ голову (avoir l'idée) попробовать ее въ магазинѣ. Помните, пожалуйста, разъ навсегда, не покупайте ничего въ этой лавкѣ: ея хозяинъ замѣчательный плутъ (fripon). — Хорошо, что вы пришли, а то мы уже хотѣли посылать (aller envoyer) за вами; вы вѣроятно забыли, что (вы) обѣщались прійти самое позднее въ половинѣ восьмого; не угодно ли вамъ посмотрѣть, который уже часъ? Повѣрьте мнѣ, что я тутъ не при чемъ (j'y suis pour rien, ce n'est pas ma faute): въ шесть часовъ М. пришелъ ко мнѣ и задержалъ меня до сихъ поръ. Развѣ вы не могли сказать ему, что вы должны уйти, что васъ ждутъ и что вы обѣщали быть у вашихъ знакомыхъ не позже половины восьмого? Я ему дѣлалъ уже разные намеки (allusions); но, несмотря на все это, онъ продолжалъ сидѣть (rester) и болтать; видя, наконецъ, что онъ думаетъ провести у меня весь вечеръ, я извинился, и мы ушли вмѣстѣ: онъ пошелъ домой, а я къ вамъ. Скажите намъ, что вы дѣлали вчера? Вчера?.. да (mais) я провелъ весь день дома, впрочемъ въ семь часовъ (я) вышелъ прогуляться; но такъ какъ погода (mais vu qu'il faisait) была отвратительная, то (я) и вернулся сейчасъ же домой. Извините меня, но я не вѣрю, чтобы вы были въ состояніи просидѣть (passer) цѣлый вечеръ дома; это что-то невѣроятное, до сихъ поръ съ вами еще не случалось ничего подобнаго.

61.

Сегодня у меня не будетъ времени побывать у васъ, а потому вы меня и не ждите, но я буду у васъ навѣрное (sans faute) въ среду. Это не очень удобно; не можете ли вы быть у меня сегодня; заходите (passer) хотя на четверть часа. Извините меня, но сегодня я положительно не могу быть у васъ; черезъ часъ (я) ѣду въ Царское Село и вернусь лишь ночью, а можетъ быть и завтра утромъ. Что же я долженъ сказать, если въ двѣнадцать часовъ зайдетъ ко мнѣ М.? Скажите (ему), что до четверга вы не въ состояніи дать ему какой бы то ни было отвѣтъ; если же онъ спроситъ, почему именно, то отвѣчайте (ему), что меня нѣтъ въ городѣ, а безъ меня вы не

можете дать рѣшительнаго (décisive) отвѣта. Я боюсь, чтобы онъ не обидѣлся, тѣмъ болѣе, что еще вчера я обѣщался дать окончательный (définitive) отвѣтъ не позже, какъ сегодня вечеромъ. Что же дѣлать, когда иначе этого нельзя устроить; мнѣ самому это непріятно (j'en suis fâché moi-même). Не лучше ли будетъ, если, не дожидаясь его прихода, я пойду къ нему самъ? — Она говоритъ, что (она) сердится; но спросите ее за что именно, и она вамъ отвѣтитъ: «Это ужъ мое дѣло (toucher, regarder), этого я вамъ не скажу». Если не ошибаюсь, то мнѣ кажется, что я догадываюсь (présumer, deviner) о причинѣ ея неудовольствія: она обидѣлась, что мы не были у нея въ субботу; вы вѣроятно забыли, что 16-го мая день ея рожденія. Вотъ въ чемъ дѣло, а я себѣ голову ломаю (se rompre la tête), что это случилось съ нею? Вотъ, по моему мнѣнію, настоящая причина; а развѣ вы приписали (attribuer) все это чему-либо другому? Я былъ увѣренъ, что вы поссорились (se brouiller) съ нею, потому что вчера и сегодня она какъ-то болѣе сердилась на васъ. Это весьма просто, она знаетъ меня гораздо лучше, поэтому она и сердится (se fâcher, en vouloir), болѣе на меня; что же касается васъ, то она еще стѣсняется (se gêner). Пойдемте къ ней сегодня вечеромъ и извинимся, тѣмъ болѣе что, сказать правду, мы виноваты отчасти: намъ слѣдовало поздравить ее съ днемъ ея рожденія. Въ такомъ случаѣ, заходите ко мнѣ вечеромъ — и мы отправимся вмѣстѣ. Отлично, но я не буду у васъ раньше восьми часовъ: до половины восьмого я занятъ.

62.

Вы думаете, что это легко? — вы такъ судите потому, что вы еще не испытывали (éprouver) ничего подобнаго; но подождите годъ, два — и вы увидите, былъ ли я правъ! Я не спорю, отчасти вы правы, но, тѣмъ не менѣе, я все-таки (toutefois) лучшаго мнѣнія о людяхъ. Вчера мнѣ не удалось (pouvoir) видѣть ни Ивана ни его брата, поэтому я еще ничего не узналъ (apprendre, savoir); но будьте совершенно спокойны, ваши деньги не пропадутъ. Я не боюсь, что мои деньги пропадутъ или что онъ мнѣ ихъ не отдастъ; но согласитесь (convenir) сами, что мнѣ онѣ (en) нужны: развѣ я могу жить на то, что (я) имѣю въ настоящее время? Все это я понимаю; но что же вы подѣлаете? — до 18-го числа у него не будетъ и половины той суммы, которую онъ вамъ долженъ. Скажите мнѣ, по-

жалуйста, неужели онъ не можетъ занять на два или на три мѣсяца нѣсколько сотъ (centaines) рублей у своего шурина; вѣдь это очень зажиточный (aisé) человѣкъ? — Въ которомъ часу вы его встрѣтили, неужели утромъ? Совершенно точно (au juste) я не могу вамъ сказать, въ которомъ часу это было, но мнѣ кажется, что въ половинѣ одиннадцатаго утра. Не ошибаетесь ли вы, не было ли это въ два часа дня или даже въ половинѣ третьяго? Нѣтъ, въ два часа я уже былъ дома, самое позднее (это) могло быть въ половинѣ двѣнадцатаго; но почему это васъ такъ интересуетъ? Это васъ не касается (importer, regarder); мнѣ хотѣлось бы знать навѣрное, былъ ли онъ утромъ въ городѣ или же (онъ) пріѣхалъ съ дачи, какъ онъ мнѣ говорилъ, въ четверть второго. Однакожъ я васъ задерживаю, забывая, что для васъ всякая минута дорога. Сегодня я свободенъ, вы меня не задерживаете нисколько, напротивъ, я очень радъ, что (я) васъ встрѣтилъ (de vous avoir). Кстати, куда вы отправлялись, когда (lorsque) я васъ встрѣтилъ? Въ Б. Конюшенную, а оттуда на Васильевскій островъ къ моей сестрѣ. Въ такомъ случаѣ намъ по дорогѣ (le même chemin à faire, la même direction à prendre); если только я васъ не стѣсняю, то позвольте мнѣ проводить васъ до угла Невскаго проспекта? Сдѣлайте одолженіе (s'il vous plaît, je vous en prie), напротивъ: я этому (en) очень радъ.

63.

Его нѣтъ дома, но онъ вернется (va rentrer) черезъ полчаса; не угодно ли вамъ подождать; садитесь (prendre place, s'asseoir), пожалуйста. Вы можетъ быть озябли (avoir froid), тогда я велю подать (faire donner) вамъ стаканъ чаю. Нѣтъ, благодарю васъ, мнѣ не холодно, но я страшно усталъ; вообразите, что съ половины девятаго утра я уже на ногахъ (sur pieds) и все-таки еще ничего не сдѣлалъ; до сихъ поръ не могу получить свидѣтельства о смерти (l'acte de décès) моего дяди, а безъ этого документа судъ не выдастъ (délivrer) мнѣ денегъ. Павелъ вернется сейчасъ же, онъ вамъ посовѣтуетъ, что дѣлать и къ кому обратиться; у него очень много знакомыхъ въ окружномъ судѣ (la cour d'assises). У меня тамъ тоже есть кое-кто изъ знакомыхъ; но все это люди маленькіе (insignifiants), не имѣющіе никакого вліянія и значенія (l'importance), а безъ этого вы ничего не подѣлаете. — Какъ долго вы думаете пробыть въ нашемъ городѣ?

Пока (En attendant) я еще и самъ не знаю, все это будетъ зависѣть отъ того, какъ пойдутъ мои дѣла; я могу пробыть здѣсь дней десять, а можетъ быть и два или три мѣсяца. Развѣ весною, когда вы были здѣсь, (вы) не окончили этого процесса? Конечно, нѣтъ, тогда у меня не было съ собою достаточно денегъ, поэтому-то я и уѣхалъ, ничего не добившись (sans avoir abouti à quelque chose). Если я могу быть вамъ въ чемъ-либо полезнымъ, то скажите (мнѣ); — я сдѣлаю все, что только будетъ отъ меня зависѣть. Пока я могу и самъ коечто устроить; но если обстоятельства такъ сложатся (sont telles), что чья-нибудь помощь окажется (être) необходимою, тогда я прибѣгну (s'adresser, recourir à) къ вамъ; во всякомъ случаѣ я вамъ очень благодаренъ за вашу любезность.

64.

Кто вамъ говорилъ, что онъ женится? — онъ даже и не думаетъ о чемъ (à) либо подобномъ. Я не знаю, женится ли онъ или нѣтъ, но всѣ его знакомые увѣряютъ, что въ декабрѣ онъ ѣдетъ въ Москву, гдѣ должна состояться его свадьба. Не придавайте, пожалуйста, никакой вѣры (ajouter foi) этимъ сплетнямъ; повѣрьте, что, если бы это была правда, то я первый зналъ бы объ этомъ (en). Можетъ быть, онъ не желаетъ сообщать (faire part) своимъ друзьямъ и знакомымъ о своемъ намѣреніи? Подобнаго рода разговоры и слухи были уже не разъ, между тѣмъ, несмотря на все это, онъ остается и до сихъ поръ холостякомъ (célibataire). Мнѣ кажется, что въ настоящее время во всѣхъ этихъ слухахъ (racontages, propos) есть гораздо больше вѣроятности (probabilité). Почему именно? Потому что дочь К. прелестная дѣвушка, отлично образованная, да притомъ же (sauf ceci) и богатая невѣста. — Не спорьте, пожалуйста, я вамъ говорю, что вчера его здѣсь не было, съ субботы онъ уже на дачѣ. Еслибъ я его зналъ мало, тогда (я) могъ бы допустить, что я ошибся; но это невозможно, я вамъ даю мое честное слово, что онъ въ городѣ. Наконецъ, къ чему намъ спорить изъ-за (à propos) такихъ пустяковъ, не все ли вамъ равно (indifférent) — въ городѣ онъ или въ деревнѣ? Нѣтъ, мнѣ это хотѣлось бы знать, потому что, если онъ еще въ городѣ, то съ какой стати распускать слухи, что его нѣтъ здѣсь. Я не знаю, какъ для васъ, но для меня это совершенно безразлично

Вы это только говорите, но я увѣренъ, что вы думаете совершенно другое. Даю вамъ честное слово, что я вамъ говорю правду.

65.

Одѣвайтесь потеплѣе, сегодня очень холодно. Но я не могу одѣться теплѣе; что же мнѣ одѣть (mettre) еще? Дѣлайте, какъ знаете, но смотрите (prendre garde), будьте осторожны: простудиться и захворать не трудно; поправиться (se rétablir) же и особенно съ вашимъ здоровьемъ не такъ-то легко. Я одѣлся такъ тепло, что будь морозъ въ пять разъ больше, то и тогда я не могу прозябнуть; сегодня же всего 11 градусовъ. Морозъ не особенно великъ, но вѣтеръ сильный (violent), а это во сто разъ хуже; если кто-нибудь и простуживается (prendre froid), то большею частью въ (par) такую погоду. Если же вы такъ безпокоитесь, тогда дайте мнѣ вашу карету, я воспользуюсь ею (je m'en servirai) съ большимъ удовольствіемъ.— Почему вы не хотите обѣдать съ нами: развѣ вы приглашены куда-нибудь и имѣете лучшій обѣдъ въ виду? Нисколько, но я тороплюсь домой: въ четверть четвертаго у меня обѣщался быть X., а мнѣ необходимо (indispensable) повидаться съ нимъ сегодня. Въ такомъ случаѣ напишите къ нему, чтобы онъ пришелъ къ намъ; мы съ нимъ знакомы настолько же хорошо, какъ и съ вами. Сегодня онъ не придетъ къ вамъ, потому что въ 10 минутъ шестого онъ уѣзжаетъ въ Москву. Я просилъ его заѣхать (passer) ко мнѣ хотя на четверть часа; я хочу просить его, чтобы, будучи въ Москвѣ, онъ постарался окончить (achever, terminer) мое дѣло съ полковникомъ Р. Въ такомъ случаѣ отправляйтесь домой, переговорите съ нимъ и возвращайтесь къ намъ: мы подождемъ васъ до пяти часовъ. Отлично; но если въ пять минутъ шестого меня не будетъ, то не ждите и обѣдайте безъ меня. Во всякомъ случаѣ мы будемъ васъ ожидать; до свиданья!

66.

Поѣздъ уходитъ въ половинѣ восьмого: вамъ нужно торопиться, иначе (sinon, autrement) вы опоздаете; не забывайте, что до станціи по крайней мѣрѣ добрыхъ три четверти часа (trois bons quarts d'heure) ѣзды (trajet). Вы ошибаетесь: курьерскій поѣздъ уходитъ въ половинѣ девятаго, а не въ половинѣ восьмого; вчера я справлялся объ этомъ (en) на вокзалѣ желѣзной дороги. Не спорьте, пожалуйста: въ половинѣ девятаго поѣздъ идетъ въ Гавръ (le Havre), а не въ Діэппъ. Я не понимаю, какимъ образомъ я ошибся; я былъ увѣренъ, что мы должны уѣхать въ половинѣ девятаго, поэтому-то я и проспалъ. Но у насъ есть еще время, вставайте только поскорѣе; наговориться мы успѣемъ и послѣ, дорогою; а вашъ чемоданъ уложенъ? Право (Vraiment), не знаю; впрочемъ, вы же его укладывали (emballer, faire) еще вчера вечеромъ, такъ что же вы меня спрашиваете? Я уложилъ только свои вещи, вашихъ (я) не трогалъ.— Въ которомъ часу вы будете у нихъ?—если до обѣда, тогда я могу пойти съ вами. Я думалъ пойти вечеромъ; но если для васъ удобнѣе утромъ (si le matin vous arrange mieux), то я могу идти и теперь. Для меня удобнѣе всего было бы въ одиннадцать часовъ утра, но пожалуйста не стѣсняйтесь; если это для васъ неудобно, то идите вечеромъ, а я могу отложить (ajourner, remettre) свое посѣщеніе до болѣе удобнаго (favorable, opportun) случая. Гдѣ же вы были вчера вечеромъ: я заходилъ къ вамъ два раза и всякій разъ не заставалъ васъ дома? Вчера я провелъ весь день на дачѣ у П.; вы, вѣроятно, забыли, что это былъ день его ангела. Въ самомъ дѣлѣ! — а я его и не поздравилъ. Не большая бѣда, успѣете (pouvoir) поздравить и завтра.

67.

Кто-нибудь изъ васъ долженъ заплатить, — въ противномъ случаѣ (en cas contraire) я обращусь въ судъ (le tribunal, la cour), Я заплатилъ бы сейчасъ же, если бы у меня были деньги, но вы видите, что до сихъ поръ я еще ничего не получалъ (toucher). Что же вы дѣлаете съ вашимъ жалованьемъ: вы вѣдь получаете до 3,000 руб. въ годъ? — мнѣ кажется, что, имѣя такую сумму, можно жить отлично и ни въ чемъ не нуждаться. Кто вамъ говорилъ, что я получаю три тысячи? мое жалованье всего только (ne fait que) 1,200 руб.; неужели, по вашему мнѣнію, можно жить роскошно (avec luxe), имѣя 100 руб. въ мѣсяцъ? Не роскошно, но удобно и не бѣдно; если бы у васъ было семейство, тогда, конечно, (этого) было бы мало, но для холостяка (это) даже много. Но вы тоже не женатый, а сколько вы проживаете (dépenser) въ годъ, развѣ не вдвое болѣе? — Почему вы не кушаете, развѣ вы уже обѣдали, или этотъ

ростбифъ вамъ не нравится? Напротивъ, онъ отличный, но я уже совершенно сытъ (rassasié): вы забыли, что до обѣда мы завтракали, а вашъ завтракъ (это) своего рода обѣдъ. Что же вы ѣли за (à) завтракомъ: немного копченой рыбы, сыру и консервовъ; такого рода закуска (un hors-d'œuvre) не можетъ повредить обѣду, напротивъ, она лишь возбуждаетъ (exciter) аппетитъ. Да, но въ такомъ случаѣ, намъ слѣдовало лишь закусить, а не ѣсть вдоволь; если ваши гости обѣдаютъ не съ особенно большимъ аппетитомъ, то вы сами виноваты (à vous-même la faute): зачѣмъ вы заставляли ихъ кушать (faire manger) во время (à) завтрака. Вы видите однакожъ, что не всѣ слѣдуютъ вашему примѣру: между моими гостями (hôtes, invités) есть и такіе, которые ведутъ себя лучше васъ.

68.

Кто-то звонитъ, подите пожалуйста и посмотрите, кто тамъ: если это N., то скажите ему, что меня нѣтъ дома, а то (sinon) онъ опять совершенно напрасно продержитъ меня три или четыре часа. Но я его видѣлъ только разъ, и потому могу ошибиться и отказать (renvoyer) кому-нибудь другому. Неужели вы его не помните? — блондинъ, большого роста, въ очкахъ (aux (avec des) lunettes); въ прошлую субботу онъ былъ здѣсь, и мы пили (prendre) чай всѣ вмѣстѣ. Теперь я вспомнилъ; да, конечно, это несносный болтунъ (bavard), я ему платилъ бы даже — лишь бы только избавиться (se défaire, se délivrer) отъ его общества. Нѣтъ, это приходилъ почталіонъ (le facteur de la poste); вамъ (есть) два письма и цѣнная посылка (colis de valeur). — Повѣрьте мнѣ, что если бы это зависѣло только отъ меня, то я исполнилъ бы вашу просьбу уже давно, но до пріѣзда X. я ничего не могу сдѣлать: подождите еще двѣ или три недѣли. Я могъ бы подождать и дольше, еслибъ (я) былъ увѣренъ, что съ его пріѣздомъ все это устроится; а что будетъ, если, потерявъ время и не мало денегъ, мы увидимъ, что и онъ ничего не поможетъ? Что касается этого, то будьте совершенно спокойны; какъ только (dès que) онъ вернется, мы устроимъ все дѣло въ (en) двѣ недѣли; вы получите по крайней мѣрѣ половину денегъ, а можетъ быть и всю сумму. Хорошо, если бы ваши надежды не пропали даромъ; мнѣ какъ-то не вѣрится въ счастливое окончаніе этого противнаго (abominable) процесса. Если до сихъ поръ васъ обманывали, то изъ этого

еще не слѣдуетъ (il ne s'en suit pas), что (васъ) обманутъ и на этотъ разъ. Я вамъ ручаюсь, и вы можете быть совершенно спокойны.

69.

Вмѣсто того, чтобы идти къ нему и терять чуть ли не цѣлый день (toute une journée), лучше напишите къ нему. Я самъ думалъ сдѣлать то же самое; я даже и началъ писать, но въ письмѣ нельзя передать (transmettre) все такъ подробно, какъ въ разговорѣ. Мнѣ кажется, что нѣтъ надобности особенно распространяться (détailler, se répandre); напишите къ нему вкратцѣ (en bref), что, не будучи въ состояніи исполнить просьбу его матери по весьма многимъ независящимъ отъ васъ причинамъ, вы просите его, чтобы онъ заѣхалъ (de passer) къ вамъ самъ. Этого еще не достаточно: я долженъ же объяснить ему, какія это причины, а то онъ не пойметъ и подумаетъ, что я не исполнилъ ихъ порученія по своей небрежности и лѣни, между тѣмъ какъ я тутъ ни при чемъ (je n'y suis pour rien). — Не разсказывайте, пожалуйста, при (en présence) чужихъ людяхъ подобнаго рода вздоръ, а то многіе могутъ подумать, что вы и читать не умѣете. Но онъ увѣрялъ меня, что разсказъ объ этомъ происшествіи (événement, aventure) былъ напечатанъ (être inséré) въ одной изъ нашихъ газетъ; онъ говорилъ мнѣ даже въ какой именно. Онъ посмѣялся (se moquer) надъ вами, а вы приняли все за чистую монету (pour de la vérité) и разсказываете всѣмъ такую чепуху (absurdité); я увѣренъ, что если бы вы подумали хорошенько, то (вы) увидали бы безъ большого труда, насколько это неправдоподобно. Можетъ быть вамъ это и кажется невѣроятнымъ, но я тутъ (у) не вижу ничего особеннаго; все вѣдь у насъ возможно. Да, почти все, но только не это; по моему мнѣнію, нужно быть сумасшедшимъ, чтобы повѣрить такого рода извѣстію.

70.

Что это, вы только что встали (vous venez de vous lever)? — отлично? знаете ли вы, который уже часъ? Полюбуйтесь (Voyons!), не правда ли, что еще очень рано: только три четверти третьяго? Сначала вы меня спросите (Commencez par me demander), въ которомъ часу

я легъ, а потомъ уже удивляйтесь моей лѣни; знаете ли вы, что я легъ не вчера ночью, а сегодня утромъ въ одиннадцать часовъ; всю ночь я пробылъ у М., который захворалъ вчера вечеромъ. Что же съ нимъ случилось, во вторникъ онъ еще былъ совершенно здоровъ? Да, утромъ онъ еще чувствовалъ себя отлично, а ночью чуть не (faillir) умеръ; вчера, около (sur les) одиннадцати часовъ вечера, съ нимъ случился ударъ. Это уже второй разъ въ настоящемъ году; я его не понимаю (concevoir): зная, насколько ему вреденъ тотъ образъ жизни, который онъ ведетъ, проученный (appris) горькимъ опытомъ, онъ все-таки не думаетъ бросить (se défaire de...) свои ужасныя привычки. — Спросите его, что ему угодно, почему онъ не уходитъ, вѣдь (donc) ему уже было сказано, что М. нѣтъ дома, а безъ него никто не дастъ ему и пяти копѣекъ. Онъ говоритъ, что онъ предпочитаетъ подождать, чѣмъ приходить второй разъ. Кстати, кончили ли вы уже всѣ расчеты съ прочими работниками? Не совсѣмъ: двоимъ я еще не отдавалъ денегъ, потому что, за израсходованіемъ (ayant déboursé) въ субботу 268 руб., у меня не хватило наличныхъ (денегъ) для расчета. Почему же вы молчите и не говорите (мнѣ) объ этомъ (en): развѣ я могу знать (угадать), что вамъ нужны деньги? Пожалуйста, не стѣсняйтесь и говорите мнѣ всегда обо всемъ безъ всякихъ церемоній. Я не хотѣлъ васъ безпокоить, зная, что всѣ эти дни вы были весьма заняты, при томъ же дѣло было не къ спѣху (ne pressait pas).

71.

Выбирайте какіе-нибудь другіе часы, но въ три или четыре (часа) я не могу быть дома, да и вообще это обѣденное время неудобно. Но у васъ всегда нѣтъ времени, а между тѣмъ вы ничего не дѣлаете; что вы дѣлаете и чѣмъ вы заняты, я думаю, вы и сами того не знаете. Вы судите сами по себѣ: проводя всю свою (вашу) жизнь въ бездѣйствіи (fénéance), вы думаете точно такъ и про другихъ; вамъ кажется непонятнымъ, вы не можете себѣ представить (se figurer), какъ это люди не имѣютъ времени. Извините меня, я самъ знаю такихъ людей, у которыхъ положительно нѣтъ свободнаго времени, но вмѣстѣ съ тѣмъ, знаю и то, что они дѣлаютъ; про ваши же занятія я слышалъ только отъ васъ, а этого для меня недостаточно (suffire); сознайтесь сами, иногда вы вѣдь любите изъ мухи

дѣлать слона. — Если до шести часовъ я не приду, то не ждите меня больше и уходите: это будетъ означать (cela voudra dire), что я останусь у нихъ ночевать. Но завтра, въ девять часовъ утра, вамъ нужно уже (будетъ) быть въ городѣ: такъ не лучше ли вернуться сегодня вечеромъ; иначе вы можете проспать, и тогда опоздаете къ М. Не безпокойтесь, я встану въ шесть часовъ утра и въ половинѣ восьмого (я) уже буду въ городѣ; полтора часа, которые мнѣ останутся, совершенно достаточны на то, чтобы одѣться (pour m'habiller) и пріѣхать къ нему. Если вы встанете въ шесть часовъ утра, тогда вы поспѣете (venir à temps); но я увѣренъ, что этого не случится; смотрите, чтобы не упустить дѣла ради (à cause de...) пустого удовольствія, которое не уйдетъ (fuire) отъ васъ; вы можете поѣхать къ нимъ и завтра. Я могу отложить свою поѣздку (excursion, voyage) и до болѣе удобнаго (favorable) времени, но это какъ-то неловко (impoli), тѣмъ болѣе, что я обѣщался быть у нихъ непремѣнно (sans faute) сегодня, и они будутъ меня ждать.

72.

Вамъ, какъ человѣку опытному въ (en) подобнаго рода дѣлахъ (affaire, matière), должно быть извѣстно, нуженъ ли залогъ (un cautionnement) при такомъ подрядѣ (une soumission) или нѣтъ? По (Selon) англійскимъ законамъ, это дѣлается (se pratiquer) такимъ образомъ: если подрядъ отдается одному лицу, то залогъ необходимъ (indispensable, obligatoire, de rigueur), хотя бы это лицо и представило доказательства своей состоятельности (solvabilité); если же подрядъ беретъ компанія или товарищество, тогда нѣтъ надобности (nécessité, urgence) въ залогѣ, но зато отвѣтственность круговая (mutuelle, commune, réciproque). И это вы знаете навѣрное? Конечно; впрочемъ, если вы мнѣ не довѣряете, тогда обратитесь къ любому изъ здѣшнихъ юристовъ, — и онъ вамъ подтвердитъ мои слова. Но подобнаго рода условіе не особенно разумно, я даже не понимаю (saisir) его значенія (la signification, la portée). — Что же они не подаютъ (servir) обѣдать; развѣ вы не говорили, чтобы обѣдъ былъ готовъ къ (pour) четыремъ часамъ? — уже 10 минутъ пятаго, а они еще и не думали накрывать столъ (mettre le couvert). Я не понимаю, почему они медлятъ (tarder); но я имъ сказалъ два часа тому назадъ, что мы будемъ обѣдать сегодня ровно въ четыре часа. Извините, если я васъ потревожу

(déranger), но спуститесь, пожалуйста, и поторопите повара, а то онъ подастъ по обыкновенію въ пять часовъ — и я останусь сегодня безъ обѣда. Но если у васъ нѣтъ времени, то поѣзжайте, вы вѣдь вернетесь черезъ часъ; развѣ это такъ далеко? Это неудобно, тѣмъ болѣе, что въ шесть часовъ мнѣ нужно быть у адвоката А.; къ чему же (à quoi bon) возвращаться изъ такой дали? — я хотѣлъ пообѣдать и заодно (à la fois) отправиться сначала къ N., а затѣмъ къ А.

73.

Если вы надѣетесь только (ne que) на него и не думаете сами заняться этимъ дѣломъ, то я сомнѣваюсь, чтобъ вы успѣли; по моему мнѣнію, онъ не въ состояніи заниматься чѣмъ-либо подобнымъ. Тѣмъ не менѣе, въ прошломъ году онъ устроилъ подобнаго рода предпріятіе (entreprise) въ 4 мѣсяца. Это былъ простой случай (un cas, un hasard); тогда онъ сидѣлъ преспокойно (tout tranquillement) дома, а за него хлопоталъ (se donner de la peine) его другъ X., котораго въ настоящее время нѣтъ въ городѣ. Посмотримъ, что случится (advenir); черезъ мѣсяцъ или полтора уже можно будетъ судить, какой исходъ (une issue) получитъ наше предложеніе, хотя я и не вижу причинъ, которыя могли бы послужить къ его отклоненію (le rejet). — Вы дѣлаете очень худо, что даете ему столько денегъ: это пріучаетъ его только къ расточительности (la prodigalité); привыкнувъ смотрѣть (considérer) на деньги, какъ на вещь, весьма легко добываемую (facile à gagner), впослѣдствіи (par la suite) онъ можетъ испытать немало горя. Но я не даю ему особенно много; нельзя же ему давать 20 р. въ мѣсяцъ. Отчего же нѣтъ? — да и къ чему ему (à quoi lui sert) деньги: развѣ у него нѣтъ готовой квартиры, стола, платья, однимъ словомъ всего; вѣдь эти деньги вы даете не на житейскія потребности, а просто на удовольствія; развѣ вы полагаете, что для шестнадцатилѣтняго мальчика мало 20-ти рублей въ мѣсяцъ? — а какъ же живутъ (дѣлаютъ) другіе его товарищи, у которыхъ нѣтъ и 20-ти копѣекъ для этой цѣли? Другіе были воспитаны при другихъ условіяхъ жизни, они привыкли къ нуждѣ съ самаго ранняго возраста (dès l'âge le plus tendre), это дѣло совсѣмъ другое. Извините меня и не сердитесь, но это такой вздоръ, на который и отвѣчать не стоитъ (ne mérite pas de réponse).

74.

Когда я его встрѣтилъ вчера, то онъ еще ничего не зналъ объ этомъ (en); если же онъ и получилъ какое-нибудь (quelconque) извѣстіе, то развѣ вчера вечеромъ. М. былъ у него около (sur) восьми часовъ вечера, и онъ ему передавалъ, что въ половинѣ седьмого (онъ) получилъ телеграмму. Въ такомъ случаѣ онъ долженъ ѣхать; что же вы будете дѣлать безъ него, у васъ самихъ нѣтъ же времени заниматься этимъ дѣломъ? Нужно будетъ попросить кого-нибудь изъ моихъ знакомыхъ окончить то, что онъ началъ. Но это не такъ легко; я знаю многихъ, которые возьмутся (se charger) за это дѣло, но не даромъ (gratuitement); по правдѣ сказать, кому же охота (qui aura envie) терять время безъ всякой (tout) для себя пользы. А развѣ вы думали, что М. занимался даромъ? — онъ мнѣ стоилъ болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ. — До сегодняшняго дня я ничего не зналъ о его смерти; напротивъ, не получая никакого извѣстія, мы думали, что онъ поправляется. Гдѣ же теперь его жена и дѣти? Пока все его семейство еще въ городѣ, но они не останутся здѣсь долго: какъ только окончатъ кое-какія дѣла, сейчасъ же отправятся въ деревню, гдѣ они и думаютъ поселиться (s'établir, se fixer). Но вѣдь это имѣніе не его (n'est pas à lui): оно принадлежитъ его старшему брату; поэтому (я) не думаю, чтобы она поселилась (se fixer) тамъ навсегда. По крайней мѣрѣ, на нѣкоторое время, а тамъ Богъ знаетъ, что будетъ (il arrive): можетъ быть, она выйдетъ замужъ вторично (se remarier). Едва ли, тѣмъ болѣе, что послѣ него не осталось (онъ не оставилъ) ровно ничего; а безъ приданаго (la dot) никто ее не возьметъ.

75.

Онъ мнѣ предлагаетъ два мѣста: одно — въ (en) провинцію на 3,800 р. въ (par) годъ, другое здѣсь — на 2,900; на что рѣшиться — я и самъ не знаю; уѣзжать мнѣ не хотѣлось бы; съ другой стороны (d'autre part), трудно помириться съ мыслью, что я лишусь тысячи руб. почти добровольно (de bon gré). Мнѣ кажется, что въ этомъ выборѣ вы должны руководствоваться (se guider) главнымъ образомъ не денежною (pécuniaire) выгодою, а шансами дальнѣйшей (future)

карьеры; если мѣсто, которое онъ предлагаетъ вамъ здѣсь, будетъ способствовать (contribuer) къ быстрому повышенію (l'avancement), тогда нечего и думать — оставайтесь здѣсь; но если же эти шансы одинаковы, то конечно глупо было бы терять тысячу рублей ради удовольствія жить въ столицѣ. Въ томъ-то и бѣда (voilà le mal), что я не могу знать заранѣе, гдѣ будетъ выгоднѣе: одни говорятъ, что слѣдуетъ предпочесть мѣсто въ провинціи, такъ какъ оно болѣе самостоятельно: прослуживъ три года въ этой должности (la fonction, la charge), я могу разсчитывать быть переведеннымъ въ столицу на еще лучшее мѣсто; другіе же говорятъ, что, отправившись (une fois parti) въ провинцію, я рискую остаться тамъ десятокъ лѣтъ на той же самой должности; что необходимо стараться во что бы то ни стало (à tout prix) остаться здѣсь, на виду у ближайшаго начальства (les chefs); вотъ и рѣшайте теперь, на чьей сторонѣ правда? Конечно, это дѣло не пустячное, а потому вамъ слѣдуетъ хорошенько обдумать его раньше, чѣмъ вы рѣшитесь на что-нибудь. Кстати, что же вамъ совѣтуетъ N., который предлагаетъ вамъ эти мѣста, каково его мнѣніе?

76.

Не говорите, пожалуйста, такъ скоро, вы забываете, что я говорю по-французски еще очень мало. Не безпокойтесь, я знаю отлично, какъ вы говорите; я увѣренъ, что вы меня вполнѣ понимаете. Конечно, я уже привыкъ къ вашему разговору (votre manière de parler), но иногда, не будучи въ состояніи слѣдить (suivre) за нитью разсказа, (я) путаюсь (s'embrouiller) и многое остается для меня непонятнымъ. Но это бываетъ весьма рѣдко, въ видѣ исключеній; до сихъ поръ еще не случалось, чтобы вы меня не поняли; если иногда вы и не понимаете отдѣльныхъ словъ, то все-таки (вы) всегда схватываете (saisir) смыслъ цѣлой фразы. Но этого для меня недостаточно: я долженъ понимать совершенно ясно каждое слово. — Оттого вы и скучаете, что ничего не дѣлаете; займитесь чѣмъ бы то ни было, хотя ради (pour) собственнаго удовольствія, и вы увидите, что всѣ ваши болѣзни пройдутъ сразу. Но я занимаюсь и теперь; развѣ для того, чтобы имѣть какое-нибудь занятіе, необходимо поступать на службу и такимъ образомъ связывать (s'obliger) себя обязанностями? вы же знаете, что я занимаюсь музыкою; кромѣ того, много читаю, развѣ все это не занятія? Для другого это было

бы достаточно (suffire), но не для васъ; вамъ необходимо имѣть такое занятіе, которое не зависѣло бы отъ васъ самихъ: не будучи принуждены заниматься ежедневно (quotidiennement, chaque jour), вы проводите большую часть времени въ бездѣйствіи, потому что ваши занятія музыкою и чтеніемъ я ставлю (considérer) ни во что. Но если вы мнѣ не вѣрите, то спросите мою сестру: она вамъ скажетъ, бездѣйствую ли я или нѣтъ; если иногда и случалось, что въ иной день я не игралъ, то это было всегда въ видѣ исключенія.

77.

Это для меня такая неожиданность, про которую мнѣ никогда и не снилось (rêver); если бы не вы мнѣ это разсказывали, а кто-нибудь другой, — я положительно сказалъ бы, что это вздоръ. Это доказываетъ только, что до сихъ поръ вы еще мало знали его; впрочемъ, иначе и быть не можетъ; развѣ, встрѣчаясь разъ или два въ годъ, возможно узнать (connaître) характеръ человѣка: для этого иногда (parfois) необходимы не годъ или два, а десятокъ лѣтъ. Конечно, я съ нимъ весьма мало знакомъ, но (я) знаю людей, которые съ нимъ знакомы по двадцати лѣтъ, были его товарищами по школѣ, и всѣ они твердили въ одинъ голосъ (unanimement), что это замѣчательно честный человѣкъ, неспособный ни на малѣйшій неблаговидный (malhonnête) поступокъ; помилуйте, его выставляли (citer) всегда примѣромъ для прочихъ, какимъ-то исключеніемъ; всѣ ему вѣрили, уважали, любили, преклонялись (adorer) даже, — и все это, какъ оказывается, была простая комедія! — До сихъ поръ я не могу понять, отчего вы избѣгаете посѣщать ихъ; я не знаю почему, но вы какъ-то не долюбливаете (aimer) никого изъ нихъ, между тѣмъ они крайне (bien) любезны и внимательны къ вамъ; насколько (autant) вы къ нимъ равнодушны, настолько (autant) они, напротивъ, расположены къ вамъ. Хотя они и любезны, но, бывая у нихъ, я чувствую себя какъ-то неловко (gêné); все у нихъ натянуто (affecté), неестественно, нѣтъ того радушія, которое столь необходимо, чтобы (pour que) гости чувствовали себя совершенно свободно (à leur aise). Что касается меня, то, бывая у нихъ, я никогда не чувствовалъ никакого стѣсненія (point de gêne), напротивъ: свобода въ ихъ домѣ доходитъ (atteindre) до крайней безцеремонности (le sans-façon). Можетъ быть это происходитъ оттого, что вы знаете ихъ уже давно; но я не думаю, чтобы

таково же было мнѣніе вновь (nouvellement) введеннаго человѣка въ ихъ домъ; вы уже свыклись съ ихъ гостепріимствомъ, а потому многое, странное (bizarre) для посторонняго человѣка, для васъ уже не ощутительно (sensible).

78.

Гдѣ онъ служилъ прежде и были ли имъ довольны — этого я не могу вамъ сказать; но изъ всего видно, что это очень порядочный человѣкъ; главное его достоинство (le mérite) то, что онъ не пьетъ (s'enivrer), а это рѣдкость въ настоящее время (pour le moment). Вы какъ-то особенно счастливы на прислугу; вообразите, (что) у меня никто не живетъ (rester) болѣе двухъ или трехъ мѣсяцевъ; всякій разъ мнѣ попадается (trouver, tomber sur) такая дрянь (une canaille), что положительно нѣтъ никакой возможности держать въ домѣ. Можетъ быть, вы черезчуръ взыскательны (exigeant), потому что нельзя же допустить, чтобы всѣ были съ пороками и ни къ чему не годны (propres à rien), это что-то невозможное; изъ десяти можно всегда найти двухъ или трехъ порядочныхъ. У васъ всѣ они будутъ сносны (supportable, tolérable), потому что имъ нечего дѣлать; отчего и не жить, когда у нихъ одно лишь занятіе — спать чуть ли не цѣлый день; но гдѣ есть дѣти и большое семейство, какъ у насъ, тогда это положительно невыносимо. — Еслибъ я могъ предвидѣть, что все это кончится такимъ образомъ, неужели, вы думаете, я истратилъ бы столько денегъ напрасно; мнѣ и въ голову не приходило, что они могутъ отклонить (rejeter) мое предложеніе. Откуда же у васъ появилась такая увѣренность, что они непремѣнно согласятся на ваше предложеніе; развѣ вы имѣли возможность знать заранѣе (d'avance) условія, предложенныя другими лицами? Этого я не имѣлъ, но, судя по (selon) прошлогоднимъ цѣнамъ, (я) былъ увѣренъ, что цѣна назначенная (fixé) мною, будетъ самою низшею, притомъ же К. увѣрялъ меня, что мое предложеніе самое выгодное. Впредь это будетъ вамъ хорошимъ урокомъ — не полагаться (compter) никогда на другихъ, а дѣлать все самому.

79.

Отчего вы не идете спать? — мало того (pas content de...), что вы сами ничего не дѣлаете, (вы) еще мѣшаете и другимъ заниматься. Чѣмъ же я вамъ мѣшаю, пишите преспокойно, не обращая вниманія (sans faire attention) на меня; если уже кто кому мѣшаетъ, то не вы ли? Вы тому причиною, что я не могу писать; вы меня перебиваете (interrompre) поминутно; дайте (permettre) мнѣ кончить это письмо — и тогда спрашивайте, сколько вамъ угодно. Что вы придираетесь (chercher chicane), если я вамъ и сдѣлалъ два вопроса, то тогда вы еще не писали. Отстаньте (laisser tranquille) пожалуйста, а то я, ей-Богу (ma foi), выведу васъ изъ комнаты. Зачѣмъ выводить, я и самъ уйду, попросите меня только хорошенько (gentiment). — Неужели это такъ далеко, что вы не можете пойти пѣшкомъ; къ чему тратить совершенно напрасно три или четыре рубля? Если бы я чувствовалъ себя вполнѣ хорошо, тогда конечно, (я) не бралъ бы кареты; но сегодня мнѣ опять хуже, и я боюсь простудиться, идя пѣшкомъ. Повѣрьте мнѣ, вы простудитесь гораздо скорѣе, если вы поѣдете; идите лучше всего пѣшкомъ, но не одѣвайтесь (se mettre) очень тепло, надѣньте пальто, а не шубу. Вотъ еще (Voilà du nouveau, c'est ça!), чтобы прійти и быть принужденнымъ завтра опять лечь въ постель (se recoucher); благодарю васъ за совѣтъ: въ шубѣ я уже никакъ не могу простудиться, а въ пальто — навѣрное (à coup sûr). Съ вами вѣчно одна и та же исторія; неужели вы думаете, я вамъ дамъ худой совѣтъ? — вѣдь до сихъ поръ вы еще ни разу не раскаивались, послѣдовавъ (ayant suivi) моему совѣту. Вы вѣдь оттого и заболѣли, что одѣвались всегда черезчуръ тяжело; развѣ мыслимо (raisonnable) ходить въ такой шубѣ? — я, человѣкъ совершенно здоровый, и то не вынесъ бы.

80.

Вамъ всего мало (Tout vous est peu, rien ne vous suffit); никогда вы ничѣмъ не довольны; годъ тому назадъ, когда у васъ не было еще этого мѣста, вы только (ne... que...) и мечтали о томъ, какъ бы окончательно устроиться (s'installer); наконецъ, послѣ многихъ хлопотъ, вы получили (obtenir) мѣсто даже лучшее; и что же (eh bien)? — вамъ опять мало, вы вѣчно завидуете всякому. Да развѣ я не правъ? — обидно же видѣть, какъ другіе ничего не дѣлаютъ и получаютъ (toucher, recevoir) чуть ли не въ десять разъ больше меня. Мало ли что съ другими бываетъ; есть такіе, которые владѣютъ милліонами; но чтожъ изъ этого (qu'est-ce que cela fait)? — неужели

потому, что другіе богаты, а у васъ нѣтъ такого состоянія, вы сойдете съ ума? Мнѣ кажется, что человѣкъ можетъ быть вполнѣ счастливъ и не имѣя тысячъ для удовлетворенія своихъ прихотей и капризовъ. — Если вы хотите узнать всѣ подробности этой несчастной исторіи, то не перебивайте меня; развѣ я могу разсказывать, когда поминутно вы мнѣ дѣлаете разнаго рода вопросы, большая часть которыхъ не касается (toucher) того, что насъ интересуетъ. Согласитесь (convenir), что нельзя составить (faire) себѣ полнаго понятія о происшедшемъ (le survenu), не зная многихъ мелочей; ни одинъ изъ моихъ вопросовъ не могъ отвлечь (détourner) вашего вниманія отъ главнаго предмета. Я не отрицаю, что многое можетъ интересовать васъ; но дайте (permettre) мнѣ кончить, — и тогда говорите и спрашивайте сколько вамъ угодно; я вѣдь не уйду сейчасъ же; у насъ еще есть достаточно времени наговориться вдоволь (à loisir). Продолжайте, пожалуйста; даю вамъ честное слово, что больше (я) не буду уже вамъ мѣшать; кончайте начатый разсказъ — это чрезвычайно любопытно. Я уже и забылъ, на чемъ (я) остановился (rester); погодите, дайте-ка мнѣ вспомнить. Если не ошибаюсь, то я остановился на томъ мѣстѣ своего разсказа, когда мы прибыли, наконецъ, въ городъ Р., послѣ двухнедѣльнаго странствованія (vagabondage) въ пустынѣ; развѣ я уже разсказывалъ вамъ, какъ насъ приняли и какъ горько мы разочаровались въ нашихъ ожиданіяхъ?

81.

Я прочиталъ всю эту повѣсть, но (я) съ вами не согласенъ (je ne suis pas de votre avis): она далеко не такъ хороша, какъ вы говорили, въ ней (у) я не нашелъ ни одного типа дѣйствительно естественнаго; все это очерки (une exquisse, un croquis), и ничего нѣтъ вполнѣ законченнаго. Ваше мнѣніе меня крайне удивляетъ; оно для меня совсѣмъ (tout) ново, до сихъ поръ мнѣ приходилось только и слышать однѣ лишь похвалы; всѣ, безъ исключенія, находили его послѣднюю повѣсть выходящею изъ ряда обыкновенныхъ (hors ligne); многіе говорили даже, что это лучшее произведеніе нашего времени. Я не говорю, что оно худо, эта повѣсть выше (supérieur à) многихъ нашихъ романовъ, въ ней есть дѣйствительно прелестныя мѣста (passage), но ей многаго еще недостаетъ, чтобы назвать (qualifier de) это произведеніе образцовымъ. Развѣ вы находите, что между его прежними произведеніями есть вещи лучше написанныя? Конечно, по моему мнѣнію, его первыя повѣсти выше всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ (paraître) впослѣдствіи; въ нихъ его талантъ ярче (évident), могущественнѣе; всѣ его тогдашнія (d'alors) произведенія полны естественности и правды. — Однимъ словомъ, вы вполнѣ довольны вашимъ путешествіемъ? Да, оно доставило мнѣ столько удовольствія и обошлось такъ дешево, что я уже начинаю думать, какъ бы устроиться, чтобы и на будущій годъ отправиться за границу. Это весьма не трудно; слѣдуетъ лишь взять паспортъ, захватить (empocher) рублей 800 — и въ дорогу. Вамъ это не трудно устроить; вы вѣдь холостой, а у меня семья, дѣти; да къ тому же и дѣла, которыя не такъ-то легко оставлять безъ присмотра (la surveillance). Мнѣ кажется, что ваша семья не можетъ служить препятствіемъ: она вѣдь и будущимъ лѣтомъ будетъ жить, по всей вѣроятности, въ деревнѣ, какъ и всегда; дѣла же не на столь важны, чтобы могли требовать вашего постояннаго пребыванія въ Петербургѣ. Конечно, не важны, а все-таки безъ меня поразстроились.

82.

Я не понимаю, отчего вамъ не ѣхать прямо въ Лондонъ, зачѣмъ останавливаться въ Берлинѣ; если бы вы тамъ никогда не были, тогда другое дѣло, но Берлинъ вѣдь знакомъ вамъ не хуже (такъ же хорошо, какъ и) Петербурга. Мнѣ нѣтъ никакой надобности торопиться; до 18-го числа у меня остается еще восемь дней; если я пріѣду въ Лондонъ 15-го вечеромъ, развѣ это не достаточно (suffire)? Но если вы намѣрены пробыть три дня въ Берлинѣ да день въ Брюсселѣ, такъ какимъ же образомъ 15-го числа вы будете уже въ Лондонѣ? Не безпокойтесь, пожалуйста, это уже мое дѣло; я вамъ говорю только, что въ четвергъ, 15-го мая, (я) уже буду на мѣстѣ; какъ я устроюсь и поѣду, — все это предоставьте моему собственному усмотрѣнію (à ma guise); я вѣдь уже не дитя, которое нуждается въ наставленіяхъ (l'instruction). — Я помогалъ ему столько разъ, что въ настоящее время и не думаю заботиться о томъ, какъ онъ выйдетъ изъ этой бѣды. Два года тому назадъ, еслибъ я не далъ ему 3,000 руб., онъ погибъ бы окончательно; — и что же? — все это было напрасно: дѣлъ своихъ онъ не поправилъ (améliorer), а всѣ деньги прокутилъ (gaspiller) въ три мѣсяца. Однакожъ, нельзя же оставить его въ

такомъ положеніи, помочь необходимо, если не ради его самого, то для его семейства: вѣдь жена и дѣти не виноваты; нельзя же допустить, чтобы они окончательно погибли. Но у меня и средствъ не хватитъ помогать постоянно; хорошо разъ, два, три наконецъ, но не каждый же годъ; повѣрьте мнѣ, что будучи увѣренъ въ томъ, что его не оставятъ на произволъ судьбы (au gré de son sort), онъ ни о чемъ и не заботится, зная, что, такъ или иначе, (онъ) не умретъ отъ нужды (la misère).

83.

Что вы тамъ ни говорите (vous avez beau dire), но вашъ хваленый докторъ не внушаетъ (inspirer) мнѣ ни малѣйшаго довѣрія; кто такъ много говоритъ, какъ онъ, тотъ, по всей вѣроятности, мало дѣлаетъ. Что же онъ такое говорилъ, что могло произвести на васъ столь дурное впечатлѣніе (impressioner)? Мнѣ кажется, что вы знаете его лучше меня; помилуйте, послушавъ его (à l'entendre parler), поневолѣ приходишь къ тому заключенію, что кромѣ него у насъ нѣтъ ни одного порядочнаго доктора; онъ критикуетъ всѣхъ: одинъ глупъ, другой невнимателенъ, третій невѣжда (ignorant); выходитъ (il s'en suit), что онъ одинъ верхъ (le comble) совершенства. Отчасти это правда; ему нельзя отказать въ знаніи своего дѣла (l'art), по крайней мѣрѣ его хвалятъ очень многіе, оттого у него и такая огромная практика (la clientèle); знаете ли вы, что иногда у него нѣтъ и пяти минутъ свободнаго времени (le loisir). Если у него большая практика— это еще не доказываетъ, что онъ дѣйствительно хорошій докторъ, знающій свое дѣло; практику имѣютъ и самые плохіе доктора: для этого нужны, во-первыхъ, большой кругъ знакомства, затѣмъ хорошая обстановка (l'entourage) и, наконецъ, отчасти извѣстная доля счастія. Но я могу привести (citer) вамъ нѣсколько десятковъ случаевъ, въ которыхъ онъ дѣйствительно выказалъ себя (faire preuve d'être) отличнымъ докторомъ; да вотъ (tenez), напримѣръ, Петръ: вѣдь онъ единственно ему обязанъ своимъ спасеніемъ (la guérison). Вы такъ думаете, но я съ вами не согласенъ: Петръ обязанъ своимъ спасеніемъ исключительно своей желѣзной натурѣ, которая вынесла такую опасную болѣзнь; не будь у него такого сильнаго сложенія (complexion), его не спасло бы и само чудо, а вашъ знаменитый медикъ— и подавно (d'autant moins).

84.

Конечно, мнѣ было бы пріятнѣе имѣть дѣло съ вами, нежели съ чужими людьми; но если нельзя уже иначе устроить, то что же дѣлать? — я согласенъ и на это условіе. Если бы я жилъ постоянно здѣсь, тогда, по всей вѣроятности, вамъ не пришлось бы имѣть никакихъ дѣлъ съ посторонними; но въ томъ-то и бѣда (voilà le mal), что я не буду постоянно въ Петербургѣ, потому что все лѣто (я) буду въ разъѣздахъ (en voyage), а осенью мнѣ придется (il faut), вѣроятно, отправиться за границу. Но кто же будетъ главнымъ управляющимъ (gérant en chef): вы или господинъ М.? Номинально я, но въ дѣйствительности (au fait) онъ; тѣмъ не менѣе будьте совершенно спокойны: М. такого рода человѣкъ, что вы можете быть совершенно спокойны: — онъ не причинитъ вамъ ни малѣйшей непріятности; къ тому же (d'ailleurs), уѣзжая, я постараюсь познакомить васъ съ нимъ, и потому увѣренъ, что черезъ недѣлю вы сойдетесь (s'entendre) и сдѣлаетесь (devenir) лучшими друзьями въ мірѣ. — Если бы онъ нашелъ неудобнымъ быть у него, то скажите ему, что М. представитъ его ему; я уже писалъ къ М., что вашъ братъ ѣдетъ на-дняхъ въ Москву; въ письмѣ я просилъ (его) не отказать ему въ своей помощи; поэтому, пріѣхавъ (une fois arrivé), онъ можетъ немедленно же обратиться къ М., и тотъ ему скажетъ, съ чего слѣдуетъ начать. А развѣ теперь вы не дадите ему рекомендательнаго письма къ М.? Если вы желаете, отчего же нѣтъ, но это лишнее: М. предупрежденъ заранѣе (d'avance) и (онъ) его уже ждетъ; вашъ братъ можетъ ѣхать даже сегодня. И вы полагаете, что этого будетъ достаточно? — развѣ вашъ другъ М. въ хорошихъ отношеніяхъ съ Х.? Въ такихъ же, какъ я съ вами, если не въ лучшихъ; притомъ Х. ему обязанъ весьма многимъ; однимъ словомъ (bref) — я вполнѣ увѣренъ, что онъ сдѣлаетъ все, что только будетъ отъ него зависѣть; во всякомъ случаѣ, какъ вы, такъ и вашъ братъ (вы), можете быть совершенно спокойны, съ этой стороны вы не встрѣтите ни малѣйшаго препятствія.

85.

Что же онъ говоритъ, возможно ли разсчитывать на него или нѣтъ? Знаете ли, что, несмотря на то, что я говорилъ съ нимъ болѣе трехъ часовъ, (я) все-таки не могъ прійти ни къ какому результату

относительно того, какъ онъ намѣренъ поступить (agir); правда, онъ не отказываетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя вывести заключенія (conclure), чтобы (онъ) и соглашался; до сихъ поръ онъ не сказалъ мнѣ ничего опредѣленнаго; одно, что можно усмотрѣть (déduire) изъ всего этого, это то, что онъ не желаетъ связывать себя никакимъ обязательствомъ (l'engagement) и поступитъ сообразно (conformément aux) обстоятельствамъ. Другими словами, что на него нельзя разсчитывать, ну такъ и Богъ съ нимъ; постараемся обойтись и безъ его помощи; сегодня же вечеромъ (я) поѣду къ Н. и попрошу его взять все это дѣло на себя. Это было бы лучше всего; но я сомнѣваюсь, чтобы Н. могъ заняться вашимъ дѣломъ; не забывайте, что у него столько работы, что при всемъ желаніи (malgré tout son bon vouloir) онъ не въ силахъ принять новаго дѣла, и притомъ не очень легкаго. — Такъ ему и слѣдуетъ (il l'a bien mérité), пусть другой разъ не разсчитываетъ на чужой карманъ; я очень радъ, что наконецъ онъ попался (donner dedans). Однимъ словомъ, всѣ его розовыя надежды разомъ рушились (crouler), не только онъ ни копѣйки не получилъ изъ ея приданаго, но ея родные не даютъ ему (à la main) даже и процентовъ; всѣ деньги у его жены, которая не можетъ истратить и рубля безъ ихъ вѣдома (l'insu). Что же онъ дѣлаетъ, неужели мирится съ необходимостью подчиниться ея роднымъ? — мнѣ что-то этому не вѣрится. Что же онъ можетъ сдѣлать? — какъ это ни (bien que) было непріятно для него, но все-таки, въ концѣ концовъ (au bout du compte), ему пришлось подчиниться волѣ ея родныхъ, иначе онъ рискуетъ потерять и то, что у него есть въ настоящее время. Воображаю, что должна перетерпѣвать его бѣдная жена: съ одной стороны (part) родители, съ другой — такая прелесть (trésor), какъ онъ!

86.

Вамъ слѣдуетъ обратиться не къ М., а непосредственно (immédiatement) къ директору. М. ничего не сдѣлаетъ, если бы онъ что-нибудь и хотѣлъ сдѣлать, такъ къ чему только время напрасно терять; впрочемъ, если, по вашему мнѣнію, этотъ путь (la voie) удобнѣе, въ такомъ случаѣ поступайте по вашему собственному усмотрѣнію (guise). Если я имѣлъ намѣреніе обратиться къ М., то ни въ какомъ случаѣ (nullement) не въ надеждѣ, что онъ можетъ посредствомъ своего вліянія сдѣлать что-либо для моего дѣла, а просто (tout bonnement) для того, чтобы имѣть возможность познакомиться съ Р., отъ котораго многое будетъ зависѣть. Не вѣрьте вы этому вздору: какъ М., такъ и Р. тутъ ни при чемъ (n'y sont pour rien); все дѣло будетъ зависѣть отъ совѣта, а они въ немъ не участвуютъ; я даже не думаю, чтобы они имѣли знакомыхъ среди членовъ комитета; но, допуская и это, неужели вы думаете, что одинъ или два голоса изъ 35-ти могутъ имѣть какое-нибудь значеніе? Въ такомъ случаѣ, мнѣ нечего и хлопотать (se donner de la peine), когда, по вашему мнѣнію, все будетъ напрасно. Конечно, будьте увѣрены, что если ваше предложеніе выгодно для правительства, то (оно) будетъ принято и безъ всякой протекціи. — Наконецъ, вотъ и О.! — а мы уже собирались начать (aller commencer) партію безъ васъ; что вы такъ поздно, вы навѣрное уже были гдѣ-нибудь? Конечно, сегодня пятница и мой абонементъ; неужели вы думали въ самомъ дѣлѣ, что я пожертвую Мазини изъ-за пустой партіи виста? Развѣ опера вамъ еще не надоѣла; я думаю, что весь репертуаръ вы знаете наизусть? Не судите, пожалуйста, о другихъ по себѣ; развѣ прекрасное, художественное можетъ когда-либо надоѣсть? — я сомнѣваюсь, чтобы вы могли найти много такихъ людей, которые сказали бы вамъ, что пѣніе и музыка могутъ наскучить. А я вамъ найду очень многихъ, которые скажутъ вамъ, что современемъ (à la longue), при однообразіи, и музыка надоѣдаетъ, и не думайте, что это мнѣніе профановъ или не понимающихъ музыки. Не думаю, чтобы нашелся хотя одинъ человѣкъ, искренно любящій музыку, который бы былъ этого мнѣнія; впрочемъ, можетъ быть, подъ словомъ любителя искусствъ вы подразумѣваете (entendre) людей подобныхъ вамъ, тогда (вы) совершенно правы.

87.

Она противорѣчитъ сама себѣ: утромъ (она) говорила въ присутствіи моего брата, что съ понедѣльника она его не видѣла, а часъ тому назадъ (она) увѣряла мою сестру, что они видѣлись (de l'avoir vu) въ среду. Послѣ я вамъ это объясню, и тогда вы поймете, отчего все это происходитъ; узнавши (apprendre) то, что было годъ тому назадъ, вы поймете и то, что случилось въ субботу. Они стараются скрыть всю эту исторію; но, несмотря на ихъ усилія (l'effort), уже почти весь городъ знаетъ (être au courant) о происшедшемъ (survenu,

arrivé) скандалѣ; они забыли, что это не столица, гдѣ многое можно скрыть и гдѣ весьма часто живущіе въ одномъ и томъ же домѣ не знаютъ другъ друга. Я и придумать (se figurer) не могу, что они теперь сдѣлаютъ; по моему мнѣнію, послѣ этой исторіи имъ нѣтъ никакой возможности жить (habiter) въ городѣ; они должны переѣхать на постоянное жительство (se fixer) въ деревню или въ другой городъ: иначе они сдѣлаются всеобщимъ посмѣшищемъ (risée) и имъ не дадутъ покоя.—Мнѣ ужасно совѣстно, что вы безпокоились напрасно; отчего, видѣвши меня у Р. въ субботу, вы мнѣ не сказали, что (вы) собираетесь (avoir l'intention) прійти ко мнѣ; вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ было непріятно, когда мнѣ сказали, что вы были у меня и не застали меня дома. Предупреждать я васъ не хотѣлъ, во-первыхъ, чтобы не стѣснять васъ, а во-вторыхъ и потому, что въ среду (я) еще и самъ не зналъ, когда у меня будетъ больше времени. Не извиняйтесь, пожалуйста, потому что это такіе пустяки, про которые и говорить не стоитъ; что за бѣда такая (quel mal y a-t-il?) — я могу прійти и въ другой разъ. Зная, какъ вы заняты, я понимаю, что вамъ не легко собраться (se rendre, aller) куда-нибудь, притомъ же вскорѣ и лѣто настанетъ — вы уѣдете, такъ опять придется отложить все до будущей зимы. Что вы! (allons donc!) я вѣдь уѣду не раньше половины іюня (la mi-juin), а теперь у насъ едва лишь мартъ; неужели вы думаете, что въ продолженіе трехъ съ половиною мѣсяцевъ я не найду нѣсколькихъ часовъ, которые (я) могъ бы посвятить (consacrer) для моего собственнаго удовольствія? — во всякомъ случаѣ, я еще буду у васъ и даже весьма скоро.

88.

Я уже писалъ къ нему два раза, но до сихъ поръ (я) еще не получалъ отвѣта; (я) и придумать (s'imaginer) не могу, — чѣмъ объяснить его молчаніе; развѣ онъ боленъ или его уже нѣтъ въ Парижѣ? Ничего подобнаго не случилось; объ этомъ (en) вамъ нечего и безпокоиться; я вамъ ручаюсь (parier), что онъ получилъ оба письма, и не отвѣчаетъ потому лишь, что не находитъ времени посидѣть (rester, passer) два или три часа дома. Но до сихъ поръ съ нимъ никогда не случалось ничего подобнаго; напротивъ, онъ былъ весьма аккуратенъ (exact, ponctuel); хотя вы и увѣряете меня, что онъ въ Парижѣ и не пишетъ потому только, что у него нѣтъ времени, но я боюсь, чтобы тутъ (y) не было чего-нибудь другого; если до среды онъ мнѣ не отвѣтитъ, то я буду телеграфировать. И увидите, что всѣ мои догадки (suppositions) были вполнѣ основательны (bien fondées): попавъ разъ въ Парижъ (une fois à Paris), онъ забылъ обо всемъ; — это такъ ясно, какъ дважды два четыре. — Итакъ (ainsi, or), до завтра; если будетъ возможно, то вы постараетесь быть у меня утромъ, и только въ крайнемъ случаѣ придете вечеромъ, и то не иначе, какъ предупредивъ меня объ этомъ заранѣе, въ противномъ случаѣ вы не застанете меня дома. Если только будетъ возможно, то я буду у васъ между одиннадцатью и двѣнадцатью часами; но если утромъ мнѣ не удастся (parvenir) его видѣть, тогда я и не буду у васъ; все равно безъ него мы ничего не рѣшимъ. Вставайте только пораньше, и вы навѣрно застанете его дома; я знаю, что до половины одиннадцатаго онъ не уходитъ изъ дому; конечно, если, по обыкновенію, вы подниметесь лишь (ne que) въ десять часовъ, тогда нечего и хлопотать (se déranger). Объ этомъ (en) вамъ нечего безпокоиться: въ десять часовъ я уже буду у него; и если только это правда, что до половины одиннадцатаго онъ дома, тогда я повидаюсь съ нимъ, исключая (excepté), конечно, того случая, когда онъ меня не приметъ. Однимъ словомъ, я надѣюсь на васъ, будучи увѣренъ, что вы сдѣлаете все, что только зависитъ отъ васъ для того, чтобы наши труды не пропали даромъ.

89.

Но онъ не настолько (tellement, au point) боленъ, чтобы не могъ принять меня; я вѣдь знаю, что онъ не лежитъ въ постели (être alité). Вы ошибаетесь, со вчерашняго дня онъ уже не встаетъ; насколько онъ серьезно боленъ, вы можете судить по тому, что со вчерашняго дня онъ не велѣлъ никого принимать. Однакожъ мой братъ былъ у него сегодня утромъ; какъ же это могло случиться, если вы говорите, что онъ никого не принимаетъ? Вашъ братъ пришелъ въ одно время (en même temps que...) съ докторомъ Э.; онъ и вошелъ съ нимъ въ его кабинетъ, а затѣмъ и въ спальню. Все это прекрасно (Fort bien), все-таки подите къ нему и скажите, что я пришелъ и прошу его принять меня немедленно (sans retard). Я пойду, если вы настаиваете на этомъ (si vous y insistez), но (вы) увидите, что это ни къ чему не поведетъ; онъ не приметъ васъ, а меня выбра-

нитъ. — Я не сержусь, что вы не исполнили моей просьбы, я вѣдь понимаю, что это было невозможно, но вамъ слѣдовало прійти ко мнѣ и объяснить (мнѣ) все дѣло, а не обманывать меня пустыми (futile) обѣщаніями. Неужели вы не понимаете, что со среды я самъ былъ введенъ въ заблужденіе (être induit en erreur) обѣщаніями М.; онъ столько наговорилъ мнѣ, что я былъ въ полной увѣренности, что до субботы мы уже окончимъ все. А развѣ я не предупреждалъ васъ, чтобы вы относились къ его словамъ не съ особеннымъ довѣріемъ; развѣ вы его знаете первый годъ; неужели вы не знали, что въ большинствѣ случаевъ (pour la plupart) онъ лжетъ? Я зналъ, что онъ не прочь прихвастнуть (blaguer), но мнѣ и въ голову не приходило (avoir l'idée), чтобы онъ могъ обманывать насъ въ столь серьезномъ дѣлѣ; это было тѣмъ болѣе неправдоподобнымъ, что онъ настолько же вашъ хорошій знакомый, какъ и мой. Что вы тамъ ни говорите (avoir beau) въ свое оправданіе (se justifier), но все-таки я скажу, что вы виноваты сами: вамъ слѣдовало буквально (à la lettre) исполнить мои предписанія.

90.

Если это не стѣснитъ васъ, то я попрошу позволить мнѣ дѣлать уплаты помѣсячно; для меня, получающаго (qui touche) жалованье каждое первое число, это будетъ удобнѣе, а для васъ почти безразлично. Конечно, если вы будете платить регулярно; для меня весьма важно знать точные (précis) сроки получекъ (la rentrée); я могу даже сдѣлать для васъ и то одолженіе, чтобы вы мнѣ платили не ежемѣсячно, а каждые два мѣсяца; однимъ словомъ, обдумайте (refléchir) все хорошенько и скажите мнѣ на этой недѣлѣ ваше рѣшеніе; я согласенъ на все, лишь бы только ваше обѣщаніе исполнялось въ точности (ponctuellement). Вы сдѣлали уже для меня столько, что съ моей стороны было бы крайне безсовѣстно (malhonnête) злоупотреблять вашею любезностью и за одолженіе отплатить (вамъ) неблагодарностью (l'ingratitude); что касается точности, то (вы) можете быть увѣрены, что не только я не просрочу (laisser passer le terme), но, напротивъ, днемъ ранѣе буду приносить эти деньги. Въ такомъ случѣ мы можемъ покончить сейчасъ же; я вамъ дамъ чекъ на Международный Банкъ (Banque Internationale), а вы напишите вексель (une lettre d'échange, une traite) на предъявителя (au

porteur). — Онъ не богатъ, но и не нуждается; у него 3,000 руб. въ годъ, но зато вѣрныхъ (de toute assurance); а такъ какъ онъ человѣкъ весьма аккуратный и разсчетливый, то этихъ денегъ (ему) совершенно достаточно; другіе, имѣющіе вдвое больше его, живутъ гораздо хуже. Знаете ли, что для меня это новость: я былъ увѣренъ, что у него, по крайней мѣрѣ, 6 или 7 тысячъ годового дохода; какъ вы хотите, но мнѣ кажется, что у него должно быть больше трехъ тысячъ; помилуйте, на три тысячи невозможно жить такъ, какъ онъ (живетъ). Но я васъ увѣряю, что у него нѣтъ больше; еслибъ у него были какіе-нибудь посторонніе (casuel) доходы, я это зналъ бы отлично, хотя бы (bien que) онъ и желалъ скрыть это (что-либо подобное). Но повѣрите ли, что я расходую до (environ) четырехъ тысячъ, а онъ вѣдь живетъ лучше меня; у него и гости (du monde) чаще, да и вообще всѣ расходы больше; насъ двое, а у него цѣлое семейство; я плачу за квартиру 960 р., а онъ полторы тысячи, если не больше. Въ томъ-то и дѣло (voilà la chose), что не только не больше, но даже на половину меньше.

91.

Вы спорите, горячитесь (s'emporter) и не слушаете того, что я вамъ говорю, а между тѣмъ это не пустяки; я вамъ повторяю еще разъ, что въ этомъ (en) онъ ничуть не виноватъ; все произошло оттого, что вы не предупредили его во-время: вамъ слѣдовало написать къ нему 8-го числа, а вы телеграфировали едва лишь 12-го; само собою понятно (cela va sans dire), что въ (en) одинъ день онъ ничего уже не могъ сдѣлать. По моему мнѣнію, это не извиненіе; неужели онъ не могъ подать заявленія (la requête, la déclaration) и безъ моего извѣщенія? Конечно ему не было никакой надобности начинать дѣло безъ вашего вѣдома (l'insu); тѣмъ болѣе, что, уѣзжая, вы сами сказали ему, что вы его увѣдомите о времени подачи просьбы; что бы вы ни говорили (avoir beau), какъ вы все это ни объясняйте, но во всемъ виноваты вы сами. Повѣрьте мнѣ, что я не опоздалъ бы и не пропустилъ бы срока, еслибъ (я) могъ допустить, что мой управляющій будетъ такъ глупъ. Что вамъ ни говори (on a beau), вы все-таки свое (vous n'en démordez pas); я вамъ повторяю еще разъ, что не онъ глупъ, а вы виноваты. — Я вамъ не говорю, что я заставилъ (faire) бы его жить отдѣльно, но у меня хватило бы

достаточно характера и твердости (la fermeté) не дозволить ему играть всѣми, какъ куклами; наконецъ, еслибъ я увидѣлъ, что мнѣ съ нимъ не совладать (venir à bout), тогда я отдалъ бы ему всѣ его деньги и попросилъ бы безъ всякихъ церемоній нанять себѣ отдѣльную квартиру и жить какъ ему заблагоразсудится (comme bon lui semblera). Я не спорю (contester), что вы это сдѣлали бы; но не у всѣхъ же такой характеръ; другой не скажетъ ничего подобнаго и постороннему человѣку, не говоря уже объ отцѣ своей жены. Такъ, по вашему мнѣнію, слѣдуетъ сидѣть (se tenir tranquille) и молчать, терпѣть всѣ его прихоти слушать безропотно его брань, однимъ словомъ — быть его крѣпостнымъ (le serf, l'esclave) или слугою? Зачѣмъ вы переходите сейчасъ же къ крайностямъ? — мнѣ кажется, что можно не выгонять его изъ дому, не быть его рабомъ и все-таки (tout de même) заставить его уважать ваше мнѣніе (tenir compte de); я не спорю — передѣлать его характеръ почти невозможно, но тѣмъ не менѣе съ умѣніемъ (en sachant s'y prendre) можно до нѣкоторой степени обуздать (refréner) его самодурство (fantasque), и этого уже довольно.

92.

Послушайте, неужели васъ такъ интересуетъ, что дѣлаютъ другіе; неужели вы не въ состояніи жить безъ того, чтобы не сплетничать (radoter)? Какія же это сплетни (commérages)? — я передаю (redire) вамъ только то, что онъ дѣлаетъ, какъ онъ проводитъ время и съ кѣмъ (онъ) знакомъ (кто у него бываетъ). Мнѣ какое дѣло до того, какъ онъ живетъ, кто у него бываетъ и что онъ говоритъ; не глупо ли было бы съ моей стороны, еслибъ ни съ того ни съ другого (de but en blanc), я сталъ (se mettre à) разспрашивать его лакея или горничную о (sur) всѣхъ подробностяхъ его жизни; мнѣ кажется, что никому нѣтъ дѣла (regarder, importer) до того, что я пью и ѣмъ, съ кѣмъ (я) встрѣчаюсь и кого (я) избѣгаю; тоже самое и меня ничуть не интересуетъ, что происходитъ у него. Вы меня не понимаете; если я передалъ вамъ многое о немъ, то ничуть не въ видѣ какихъ-то сплетенъ, а для того только, чтобы доказать вамъ, что хотя онъ и говоритъ одно, но дѣлаетъ другое. А вы сами не подвергаетесь ли (être sujet à) той же самой слабости? —Неужели вы приняли за правило говорить всегда то, что вы думаете, и, не стѣсняясь, объясняете каждому всѣ мелочи вашей домашней жизни?

Конечно, я ничего не скрываю; всѣ знаютъ не только мой образъ жизни, но и все то, что происходитъ у меня въ домѣ; я того убѣжденія, что одно лишь предосудительное (le préjudiciable) — скрывается. Хотите, такъ я вамъ докажу, что вы ошибаетесь, чтобы не сказать, что и теперь вы говорите неправду. Помните ли, какъ вы разсердились на N. за то, что онъ передалъ полковнику К., что вы высказали о немъ въ разговорѣ съ госпожею Р.? Это было совсѣмъ (bien) другое; тогда я имѣлъ поводъ сердиться на него; сгоряча я высказался (s'exprimer) немного рѣзко, а онъ передалъ ему не весь разговоръ, а лишь только то, что больше всего могло его обидѣть. Извините, но я не вижу между этими двумя случаями никакой разницы; если вы утверждаете, что (вы) говорите всегда одну лишь правду, то васъ должно весьма мало интересовать, какъ онъ отнесется (prendre) къ этому (y). Нѣтъ, вы ошибаетесь, говоря лично, я могу высказать ему ту же самую правду, но въ формѣ болѣе приличной (décente, polie); говоря же съ другими, я передавалъ одни факты, не заботясь (se soucier) о формѣ, въ которой они были переданы.

93.

Мнѣ нужны хорошіе часы; не будете ли вы столь добры показать мнѣ нѣсколько штукъ (pièce), но только изъ лучшихъ сортовъ. Въ какомъ же родѣ вамъ угодно? Не давайте мнѣ только этихъ часовъ: я не думаю, чтобы они были вѣрны. Да, въ этомъ вы не ошибаетесь. Мнѣ хотѣлось бы пріобрѣсти часы съ заводомъ безъ ключа (remontoir); мнѣ кажется, что это одни изъ лучшихъ и болѣе всего практичныхъ; кстати, вы отвѣчаете за точность и качество продаваемыхъ вами часовъ? Конечно, исключая полома (la casse); угодно ли вамъ съ секундникомъ или безъ него? А развѣ это составитъ большую разницу въ цѣнѣ? Да, но небольшую, во всякомъ случаѣ не болѣе 20-ти руб. Однако, это не мало; впрочемъ, покажите мнѣ тѣ и другіе, а тамъ я посмотрю, которые понравятся мнѣ больше. Вотъ отличные часы; за ихъ вѣрность я вамъ ручаюсь (garantir); это во всѣхъ отношеніяхъ превосходный экземпляръ. Какая же цѣна, напримѣръ, этимъ часамъ? Прежде я продавалъ (ихъ) по (à) 225 р. за штуку, но въ настоящее время я не могу уступить дешевле 235 р. Это почему? мнѣ кажется, что, напротивъ, часы годъ отъ году дешевѣютъ, а у васъ выходитъ наоборотъ (c'est

le contraire). Вы забываете настоящую (actuel) цѣну нашего рубля за границею, да притомъ и то, что пошлину (le droit d'entrée) мы платимъ не, какъ прежде, бумажными деньгами, а золотомъ; теперь намъ самимъ всякіе часы обходятся (revenir à) на 10% дороже. Да, это правда; но все-таки не можетъ же быть, чтобъ разница была такъ значительна; я допускаю разницу на 5% или 6%, но 10 — это черезчуръ много (c'en est trop)! Позвольте, разсчитайте сами, и вы увидите, что я сказалъ вамъ правду; во-первыхъ, покупая часы у фабрикантовъ, мы имъ платимъ и въ настоящее время не дешевле прежняго; теперь возьмите разницу на курсѣ (le cours, l'échange) да прибавьте къ нему (у) увеличеніе пошлины, и вы увидите, что разница на 10% можетъ быть только тогда, когда покупается оптомъ (en gros); а попробуйте купить одни часы, и вы убѣдитесь, что эта разница достигнетъ по крайней мѣрѣ, 25%. Все-таки вы мнѣ уступите эти часы за 200 р. — это весьма хорошая цѣна (un prix raisonnable). Помилуйте, я не только не могу уступить 35-ти р., но даже и 5-ти. Почему же у васъ дороже, чѣмъ у Б.? — я только что былъ (je viens d'être) у него, и онъ спрашивалъ съ меня за такіе же точно часы 215 р. Повѣрьте мнѣ, что, вѣроятно, есть какая-нибудь разница, я вамъ ручаюсь, чѣмъ (вамъ) угодно, что ни одинъ часовой мастеръ въ Петербургѣ не продастъ вамъ такихъ часовъ дешевле (à moins de) 255 р.

94.

Когда же вы ѣдете и куда именно? Повѣрите ли, что до сихъ поръ я и самъ еще не знаю; все будетъ зависѣть отъ обстоятельствъ; если до 24-го мая (я) получу долгъ съ М. (если М. заплатитъ мнѣ свой долгъ), тогда (я) поѣду за границу мѣсяца на два съ половиною, а потомъ отправлюсь (se rendre) къ сестрѣ въ деревню; если же мои надежды не осуществятся (se réaliser), тогда поневолѣ придется выбирать одно изъ двухъ: или уѣхать на все лѣто къ дядѣ, или остаться въ городѣ; обѣ перспективы не особенно привлекательны; но что же дѣлать? — придется направиться въ Пермскую губернію. Что же я ничего не зналъ о томъ, что В. вамъ долженъ? Развѣ я вамъ не говорилъ, что прошлую осень онъ занялъ у меня 2,000 р. на двѣ недѣли, и вотъ уже больше года, какъ (я) не могу получить этихъ денегъ. Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ поздравить васъ: вы

сдѣлали замѣчательную неосторожность (une bevue, imprudence), давъ ему такую сумму; развѣ вы не знали, что онъ не въ состояніи отдать не только двухъ тысячъ, но даже 20-ти рублей? Напротивъ, я былъ всегда убѣжденъ, что это весьма состоятельный (aisé) человѣкъ, которому можно дать не только двѣ тысячи, но даже десять. Его родители люди весьма богатые, но они не даютъ ему ни копѣйки съ тѣхъ поръ, какъ онъ прокутилъ (dissiper) все свое состояніе. Развѣ вы не слышали, что пять лѣтъ тому назадъ его отецъ отдалъ ему два имѣнія, отъ которыхъ въ настоящее время не осталось и слѣда (la trace, le vestige)? Не можетъ быть! — не преувеличиваете ли вы? — нельзя же допустить, чтобы у него не было ничего? съ какихъ же средствъ (ressources, moyens) онъ живетъ; онъ расходуетъ вѣдь до четырехъ тысячъ въ годъ! Этому нечего удивляться: развѣ мало такихъ простяковъ (le jobard, niais, nigaud), какъ вы, которыхъ обмануть такому пройдохѣ (chevalier d'industrie, escroc), какъ онъ, ничего не стоитъ (которыхъ такой пройдоха, какъ онъ, можетъ обмануть безъ всякаго труда)? Но если это правда, въ такомъ случаѣ мои деньги пропали (c'en est fait de), мнѣ не видать ихъ больше. Что ваши деньги пропали, въ томъ вы не сомнѣвайтесь; за это я вамъ ручаюсь, чѣмъ вамъ угодно. Но если до перваго числа онъ мнѣ не отдастъ хотя половины, тогда я обращусь къ его отцу; нельзя же, чтобы онъ не заплатилъ за него! Это съ какой стати (pourquoi ça), развѣ онъ малолѣтній; неужели вы думаете, что его отецъ будетъ платить за него долги? — да у него и состоянія не хватитъ, чтобы удовлетворить всѣхъ кредиторовъ; притомъ не забывайте, что у него есть еще двѣ сестры и несовершеннолѣтній братъ.

95.

Что вы ни говорите, а я все-таки никогда не повѣрю, чтобы это случилось помимо его вѣдома (à son insu). На чемъ вы основываете ваше убѣжденіе; какія данныя (вы) имѣете, чтобы вывести подобнаго рода заключеніе? Пока я не могу еще высказать вамъ всего, но повремените (patienter) немного — и я вамъ докажу истину своихъ словъ. Можетъ быть, вы и правы, но въ продолженіе пяти лѣтъ, какъ я его знаю, я не имѣлъ ни одного случая, который бы далъ поводъ усомниться въ его честности. Не подумайте, пожалуйста, что я хочу этимъ (par là) сказать, что онъ безупречный чело-

вѣкъ (sans reproche), образецъ (un modèle) всѣхъ добродѣтелей или что-нибудь въ этомъ родѣ; напротивъ, онъ настолько же грѣшенъ, какъ и мы всѣ, но его недостатки такъ незначительны, что о нихъ и толковать (parler) не стоитъ. Тѣмъ не менѣе, вы сами признаете, что онъ не безъ недостатковъ, что онъ эгоистъ. Да, но не больше всякаго изъ насъ; повѣрьте мнѣ, что будь вы сами на его мѣстѣ, вы поступили бы точно такъ же, да и смѣшно было бы требовать, чтобы онъ не заботился о своей будущности; не забывайте, что у него есть семейство, что не вѣкъ (toujours) же онъ будетъ молодымъ; когда-нибудь наконецъ придетъ и старость; кто же ему тогда поможетъ, если, не воспользовавшись обстоятельствами, онъ очутится, въ концѣ концовъ, чуть ли не нищимъ? Хорошо вамъ разсуждать (vous avez beau raisonner), имѣя чуть ли не 20 тысячъ годового дохода; но я хотѣлъ бы посмотрѣть, что бы вы запѣли, еслибъ въ одинъ прекрасный день (вы) очутились бѣднякомъ? Вы меня не понимаете; я не осуждаю (condamner) его за то, что (онъ) не трудится для другихъ даромъ, но (я) говорю, что цѣлью жизни не должна быть одна лишь забота сколотить (faire) состояніе; мнѣ кажется, что если по прошествіи какихъ-нибудь 15-ти лѣтъ у него будетъ десятью тысячами болѣе или менѣе, то это не составитъ большой разницы. То-есть, другими словами, вы говорите, что 10 тысячъ такой пустякъ, про который и говорить не стоитъ; но если это (таково) ваше убѣжденіе, то, имѣя слишкомъ 300,000, отчего же вы не отдадите кому-нибудь изъ нуждающихся десяти (une dizaine) тысячъ? Если для него эта сумма бездѣлица, то какое же значеніе (importance, signification) она можетъ имѣть для васъ?

96.

Прекратите, ради Бога, этотъ безсмысленный споръ; говорите лучше о чемъ-либо другомъ. Да вамъ какое дѣло до насъ? -- вѣдь мы васъ не задѣваемъ (toucher), такъ оставьте насъ въ покоѣ (tranquille) и занимайтесь своимъ дѣломъ. Уйдите въ столовую или въ спальню и спорьте тамъ хотя до самаго утра, тогда я вамъ не скажу ни слова, но здѣсь вы мнѣ мѣшаете (empêcher). Извините, что мы вамъ помѣшали въ такомъ серьезномъ занятіи, какъ чтеніе объявленій. Дѣло не въ томъ (il s'agit), что вы мнѣ мѣшаете читать, но у меня положительно голова разболѣлась отъ (à cause de)

вашего крику; это тѣмъ болѣе досадно, что вѣдь это повторяется положительно каждый вечеръ. Успокойтесь (se calmer) пожалуйста, мы сію же минуту уйдемъ; дайте (permettre) намъ допить чай. Вы можете велѣть подать (se faire servir) вамъ чай и въ спальню, а то подъ предлогомъ чая вы можете спорить до часу ночи. Нашъ споръ уже давно прекратился; еслибъ вы не вмѣшались (intervenir), то о немъ не было бы уже и помину (il n'en serait plus question). Еслибъ я не вмѣшался, то вы пожалуй подрались бы (venir aux mains); это тѣмъ болѣе правдоподобно, что вы уже оба вышли изъ предѣловъ приличія. Послѣ этого мнѣ остается лишь замолчать; что же я могу отвѣтить на такую нелѣпость? Перестань, оставь его въ покоѣ, бери стаканъ и пойдемъ въ спальню. — Вы хотите доказать мнѣ, что медицина наука точная; вы даже сравнивали ее съ (aux) математикою, но это положительный вздоръ: подобное сравненіе уже само собой (en soi-même) нелѣпо. Извините, этого я не говорилъ, а сказалъ вамъ только, что весьма многое въ медицинѣ доказано съ математическою точностью; мнѣ кажется, что между моими словами и вашими существуетъ громадная разница. Еслибъ вы говорили о физіологіи, то пожалуй я (je pourrais) и согласился бы съ вами; эта наука, несмотря на то, что она еще недавно стала разрабатываться (étudier), имѣетъ уже весьма много совершенно точныхъ данныхъ, но въ томъ-то и дѣло (voilà la chose), что рѣчь шла не о физіологіи, а о дѣйствіяхъ разныхъ лекарствъ на человѣческій организмъ. Вы утверждали, что дѣйствіе большинства лекарствъ извѣстны въ медицинѣ съ математическою точностію; съ этимъ-то именно я и не соглашусь никогда, и вы не въ состояніи доказать мнѣ справедливости вашего мнѣнія. Положимъ, что доказать я могъ бы, но будетъ уже этого спора (c'est assez de cette discussion pour) на сегодня.

97.

Не понимаю, какимъ образомъ такой умный человѣкъ, какъ Д., можетъ вести своихъ дѣтей такъ непослѣдовательно (d'une manière si peu logique), скажу даже больше: — такъ неразумно! Я уже самъ говорилъ ему это не разъ; иногда онъ соглашался со мною: но что же вы подѣлаете?—это его слабость: онъ ихъ любитъ до безумія (à la folie). Какая тутъ (est-ce de...) любовь; по-моему, это чистѣйшій эгоизмъ; развѣ онъ не сознаетъ, что, поступая такимъ образомъ, онъ

положительно (vraiment) губитъ (faire périr) своего ребенка; боясь разлуки, онъ держитъ его до сихъ поръ при себѣ, балуетъ (cajoler) до безобразія и забываетъ о будущемъ. Говорите, что хотите, но я вамъ скажу, что всѣ родители, которые идутъ (suivre) по его слѣдамъ, любятъ болѣе самихъ себя, нежели своихъ дѣтей; любовь и привязанность къ дѣтямъ, разумно понятыя, далеко не заключаются (sont loin de consister) въ томъ, чтобы держать ихъ у себя ради собственнаго наслажденія (la joie), ради удовольствія видѣть ихъ постоянно при себѣ, и особенно тогда, когда это наноситъ очевидный ущербъ (préjudice, mal) ихъ будущему. Не забывайте, что это ихъ любимое дитя; я даже не могу себѣ и представить, что съ ними будетъ (devenir), когда имъ придется, наконецъ, разстаться съ нимъ (en), потому что не будетъ же онъ весь вѣкъ (constamment) съ ними. Знаете, что я не осмѣлился бы сказать ни слова, если бы это было ихъ единственное дитя, еслибъ у нихъ не было такихъ страшныхъ примѣровъ на ихъ старшихъ дѣтяхъ, неужели прошлое не принесло имъ никакой пользы, неужели оно пройдетъ даромъ, забудется и не спасетъ (préserver, sauver) хотя это послѣднее дитя отъ горькой (triste) судьбы предыдущихъ (précédents)? Повѣрьте мнѣ, что и я сознаю все это, соглашаюсь во многомъ (en bien des choses) съ вами, а все-таки у меня не хватаетъ (manquer) мужества осуждать ихъ; одно лишь могу сказать; всякій изъ насъ грѣшенъ и подверженъ (sujet à) разнаго рода недостаткамъ; они, какъ и всѣ люди, не безъ (ne sont pas sans...) слабостей; жаль только одного, а именно, что эта слабость стоила (coûter, occasionner) родителямъ столько горькихъ слезъ, а дѣтямъ такой печальной и незавидной (peu enviable) доли. Да, тѣмъ болѣе это грустно, что Д. рѣдкіе люди по своей добротѣ и честности; они вполнѣ заслуживали лучшей участи, и я ихъ не осуждаю, — мнѣ ихъ невыразимо (infiniment) жаль; если же я и высказалъ все это, то ничуть (nullement, aucunement) не съ цѣлью упрека, а лишь какъ примѣръ, до чего можетъ довести ложно понятая любовь къ дѣтямъ.

98.

Однакожъ я замѣчаю, что и вы принадлежите къ числу тѣхъ, которые осуждаютъ (condamner) ее, а не его; это тѣмъ болѣе меня удивляетъ, что я могъ замѣтить, насколько вы относились всегда

болѣе безпристрастно (impartialement) къ подобнаго рода вопросамъ. Я не выгораживаю (défendre) его, потому что это было бы нелѣпостью, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, (я) не оправдываю и ея. Въ такомъ случаѣ мы далеко не сходимся (s'entendre) съ вами: я уже говорилъ и повторяю еще разъ, что винить ея невозможно. Конечно, вы были бы вполнѣ правы, если бы она вышла замужъ не ребенкомъ, а въ тѣ годы (въ томъ возрастѣ), когда характеръ уже болѣе или менѣе выработанъ (formé), когда постороннее (étrangère) вліяніе, а особенно любимаго человѣка— мужа — менѣе значительно. Но многія выходятъ замужъ въ томъ же возрастѣ; однакожъ намъ весьма рѣдко приходится встрѣчаться съ чѣмъ-либо подобнымъ; ея молодость и неопытность, по моему мнѣнію, не могутъ служить ей оправданіемъ (justification). Еслибъ вы знали ее лучше, еслибъ вы могли убѣдиться, насколько она слабаго характера, тогда (вы) никогда не сказали бы ни слова въ ея обвиненіе. Выйди она замужъ (si elle eut épousé) за человѣка вполнѣ честнаго, умнаго, а не такого безнравственнаго какъ X., — изъ нея выработалась бы (devenir) отличная жена, безупречная мать. Это мое глубокое убѣжденіе, основанное не на пристрастіи (la partialité), а на самомъ основательномъ (approfondie) знаніи характера, понятій, убѣжденій и образа мыслей (la manière de penser) самого X. Современемъ, когда вы узнаете его ближе, когда вы убѣдитесь, что это за (quel est cet...). человѣкъ, — вы вполнѣ согласитесь со мною, и я убѣжденъ, что тогда (вы) скажете то же самое. Не думаю, потому что я не раздѣляю того мнѣнія, которое полагаетъ (admettre), что вліяніе мужчины на женщину сильнѣе; я видѣлъ въ своей жизни столько примѣровъ, доказывающихъ (prouvant) обратное (le contraire), что если у меня самого и было первоначально (tout d'abord) такое мнѣніе, то, увидѣвъ впослѣдствіи многое, мнѣ поневолѣ пришлось отказаться (renoncer) отъ него (y) Все-таки изъ этого еще не слѣдуетъ (il s'en suit), чтобы въ данномъ случаѣ можно было примѣнить вашу теорію; наконецъ, мнѣ кажется, что вы знаете X. достаточно, чтобы быть убѣжденнымъ, что ужъ ни въ какомъ случаѣ она не могла вліять на него. Если она не вліяла на него (n'avait pas d'empire sur lui), то я думаю, что и онъ не имѣлъ особеннаго вліянія на нее; оба они, во-первыхъ, безхарактерные, а во-вторыхъ, и, по-моему, это главное, не вынесшіе (n'ayant pas extrait de...) изъ родительскаго дома истинныхъ понятій (notions) о нравственности; не забывайте, что X. воспитывался Богъ знаетъ какъ и гдѣ, а его жена, какъ многія купеческія дочери, росла и воспи-

тывалась среди такой обстановки (tel milieu), гдѣ образованіе стоитъ на (est reléguée) послѣднемъ планѣ. Съ этимъ трудно не согласиться; конечно, это одна изъ главнѣйшихъ причинъ, но опять-таки (toutefois) это именно и оправдываетъ болѣе ее, нежели его. Онъ, какъ болѣе образованный, какъ человѣкъ достаточно (suffisamment) развитой, виноватъ во сто разъ болѣе ея.

99.

Такъ, по вашему мнѣнію, тотъ, кто идетъ въ театръ въ балконъ или въ послѣдніе ряды креселъ, а не въ первый, кто ѣздитъ (prendre) въ омнибусѣ, а не въ коляскѣ, хотя бы нанятой и въ долгъ, — тотъ пачкаетъ (tacher) свой мундиръ, роняетъ (avilir) военное достоинство? Нечего сказать (Il n'y a rien à dire), хороша логика и понятія о добропорядочности (la bienséance) и собственномъ достоинствѣ! Развѣ это я выдумалъ: это было до насъ, будетъ, вѣроятно, и послѣ насъ (nous survivra); что-жъ дѣлать, можетъ быть, все это и пустыя предубѣжденія (le préjugé), но, живя въ извѣстной средѣ, я считаю себя не въ правѣ идти въ разрѣзъ (réagir contre) съ ея понятіями и обычаями. Еслибъ даже они были самыми глупыми, самыми безсмысленными (insensées)? Конечно, что-жъ дѣлать, если судьба поставила меня въ необходимость жить въ этой средѣ? Извините меня, но я васъ положительно не понимаю, или вы не такъ выразились; какимъ образомъ возможно помирить такія двѣ крайности? — одно изъ двухъ: или вы раздѣляете всѣ эти понятія (ces idées-là), и тогда ведете себя согласно этимъ правиламъ, или вы сознаете (reconnaître) ихъ глупость и стараетесь такъ или иначе отдѣлаться (se défaire) отъ нихъ (en), потому что сознавать глупость своего поступка и, несмотря на это сознаніе (la conviction), упорствовать въ немъ (y persister), составляетъ, по-моему, верхъ ограниченности и тупоумія (l'imbécilité). Однакожъ, жизнь показываетъ намъ чуть ли не на каждомъ шагу противоположное; мало ли что мы сознаемъ отжившимъ свой вѣкъ, глупымъ, безсмысленнымъ, а все-таки у насъ не хватаетъ достаточно силы воли и энергіи, чтобы поступать противъ принятыхъ (faisant loi) въ извѣстномъ обществѣ условій и требованій. Но мы удалились отъ нашего первоначальнаго (primitif) разговора; вы касаетесь уже понятій цѣлаго общества, а я говорилъ только о глупыхъ и ничѣмъ неоправдываемыхъ (injustifiables) обычаяхъ и убѣжденіяхъ извѣстной и даже весьма незначительной его части. — Я уже слышалъ о вашемъ вчерашнемъ спорѣ съ М.; мнѣ передавали (redire) даже, что еслибъ не (sans) вмѣшательство (l'intervention) К., то этотъ разговоръ могъ бы имѣть весьма печальныя и нежелательныя (peu désirables) послѣдствія. Положимъ, что до такой крайности не дошло бы никогда, но все-таки мнѣ было весьма непріятно, что это случилось (se passer, arriver) именно у К., котораго я такъ уважаю и цѣню (apprécier). Я вполнѣ сознаюсь, что я увлекся, что мнѣ слѣдовало быть болѣе сдержаннымъ (retenu); но, услышавъ чушь въ родѣ той (pareille à celle...), которую я уже передавалъ вамъ, я не былъ въ состояніи удержаться и высказалъ М. все, что (я) думаю о подобныхъ ему личностяхъ. По-моему, не стоило горячиться (se monter la tête, s'entraîner), тѣмъ болѣе, что вѣдь это его не исправитъ. Конечно, вы вполнѣ правы; но услышавъ его отзывы (ses dires) о З., я не могъ промолчать и доказалъ ему до очевидности, что З. въ сравненіи съ нимъ и ему подобными — совершенство. З. — человѣкъ бѣдный, его отецъ былъ купцомъ; если же его сынъ и выдвинулся (surpasser) изъ толпы, то этимъ (en) онъ обязанъ исключительно своему труду и своимъ личнымъ заслугамъ; развѣ какой-нибудь порядочный человѣкъ будетъ кому-либо ставить въ вину (imputer à...) его происхожденіе (l'origine) и бѣдность? Если уже кому и осуждать другихъ, то уже никакъ не М., который всю свою жизнь провелъ на счетъ (aux dépens) другихъ, не считалъ предосудительнымъ (blamable, préjudiciable) прокутить до послѣдняго гроша женино состояніе, пустилъ ее чуть ли не по міру, дѣлалъ долги съ искреннимъ убѣжденіемъ не отдавать ихъ никогда и всю свою жизнь мѣнялъ свои мнѣнія и убѣжденія, смотря (selon) по обстоятельствамъ и карманнымъ соображеніямъ (combinaisons, considérations).

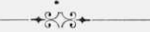
100.

Наконецъ-то вчера и мнѣ удалось познакомиться ближе (faire plus ample connaissance) съ пресловутою (fameuse) генеральшею; я думаю, вамъ и въ голову не приходило никогда, чтобъ я былъ удостоенъ чести быть принятымъ ея превосходительствомъ? Какъ же это случилось, развѣ она васъ приглашала? Конечно, третьяго дня я получилъ фирменное приглашеніе пожаловать (venir) къ нимъ на ве-

черъ; сначала мнѣ не хотѣлось идти туда, но послѣ любопытство взяло верхъ (prendre le dessus) и, надѣвъ обязательный (réglementaire) фракъ, я отправился на Сергіевскую; и хорошо сдѣлалъ: вы не можете себѣ представить, сколько эти нѣсколько часовъ пребыванія (проведенныхъ) въ обществѣ этихъ мнимо-аристократовъ (pseudo-aristocrates) доставили мнѣ развлеченія и смѣха! Объ ея обществѣ я имѣю уже кое-какое понятіе (idée); мнѣ хотѣлось бы узнать ваше мнѣніе о самой хозяйкѣ дома. Оно осталось такимъ же, какимъ и было до сихъ поръ, съ той только разницею, что я еще больше убѣдился въ справедливости вашего мнѣнія о ней. Съ однимъ лишь я не могу только согласиться съ вами, а именно: вы говорили, что она не только не получила никакого образованія, но и отъ самой природы не одарена (douer) тѣмъ, что у насъ принято называть здравымъ смысломъ; — я нахожу, что, напротивъ, она не глупа; одно то (rien que ça), что она сумѣла вполнѣ подчинить своему вліянію мужа, доказываетъ уже противоположное. Будь она глупа, то К., несмотря на всю мягкость (faiblesse) своего характера, не попалъ бы подъ такой башмакъ, тѣмъ болѣе, что онъ весьма неглупый человѣкъ. Я и не говорилъ никогда, что она глупа, — я передавалъ вамъ, что она не получила никакого особеннаго образованія; но можно быть необразованнымъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неглупымъ: это двѣ вещи совсѣмъ (toutes) разныя. Еслибъ она была глупа, то, во-первыхъ, будучи почти старухою, (она) не вышла бы замужъ (épouser) за человѣка пятнадцатью годами моложе ея; она никогда не сумѣла бы довести (mener à) его до того, чтобы онъ сдѣлалъ ей предложеніе, будучи глубоко убѣжденнымъ, что этотъ бракъ необходимъ для будущаго счастія его дѣтей отъ первой жены; во-вторыхъ, она не была бы въ состояніи играть имъ, какъ куклою и вести все это такъ искусно, что онъ не ощущаетъ и до сихъ поръ, насколько (онъ) находится подъ ея вліяніемъ. Наконецъ, мало ли нужно имѣть такта, расчета и ума, чтобы, будучи чуть ли не уродомъ (difforme), не принеся съ собою и того утѣшенія, которое называется приданымъ и которое иногда замѣняетъ (remplacer) все остальное, выйти замужъ за человѣка умнаго, прекраснаго во всѣхъ отношеніяхъ, пользующагося (jouir) болѣе или менѣе извѣстностью, и обдѣлать (machiner) все это такъ ловко, съ такимъ умѣніемъ и знаніемъ (connaissance) его характера, что не только она остается вполнѣ удовлетворенною достиженіемъ своей завѣтной (désiré) цѣли, но и онъ мирится со своимъ, созданнымъ такимъ образомъ семейнымъ бытомъ

(bonheur domestique). Развѣ женщина глупая способна на что-либо подобное, развѣ для достиженія подобнаго результата не нуженъ умъ? Нѣтъ, она необразованная, но одарена недюжиннымъ (hors ligne) природнымъ умомъ, и я вполнѣ согласенъ съ Х., который въ трехъ словахъ охарактеризовалъ ее лучше и вѣрнѣе, нежели мы всѣ; онъ былъ тысячу разъ правъ, сказавъ какъ-то однажды про нее: «Это іезуитъ (jésuite) въ юбкѣ». Но, увлекшись генеральшею и ея характеристикою, вы не сказали мнѣ ни слова про ея гостей, между тѣмъ между ними есть замѣчательные субъекты. Признаюсь, что я не обратилъ на нихъ (у) особеннаго вниманія, но все-таки (я) помню нѣкоторыя личности (personnage). Напрасно (avoir tort), въ слѣдующій разъ, когда будете у нихъ, присмотритесь поближе, и вы найдете прекурьезные типы. Понятно, что въ массѣ они терялись и не мудрено, что не привлекли (attirer) вашего вниманія; но при болѣе обыденной обстановкѣ (entourage), въ болѣе интимномъ кружкѣ (cercle) вы будете поражены (stupéfait, ahuri) глупою ролью однихъ, жалкимъ заискиваніемъ (flatterie) другихъ и тупоуміемъ (la niaiserie) третьихъ. Да, вы мнѣ уже говорили какъ-то еще въ прошломъ году, что одна изъ главнѣйшихъ заботъ генеральши состоитъ въ томъ, чтобы окружить себя такими лицами, которыя, во-первыхъ, всегда и во всемъ соглашались бы съ нею, во-вторыхъ, которыя признавали бы (reconnaître) ея авторитетъ, умъ, свѣтскость (la mondanité), доброту и тому подобное, и, наконецъ, такими, которыя считали бы за особаго рода честь играть роль гороховыхъ шутовъ (bouffon) въ ея домѣ. Современемъ, когда (вы) познакомитесь поближе съ этимъ обществомъ, вы убѣдитесь, что я не преувеличивалъ (outrer); вы увидите, что стоятъ (valoir) всѣ эти кажущіеся (soi-disant) друзья и цѣнители (appréciateur) добродѣтелей и заслугъ хозяйки дома. Не думайте, чтобы я былъ предубѣжденъ (que cela soit de la prévention, que cela soit par prévention) противъ кого-нибудь изъ нихъ, ничуть не бывало (pas le moins du monde); для меня это личности вполнѣ (parfaitement) безразличныя, всѣ мои отношенія съ ними ограничивались въ большинствѣ случаевъ лишь этими двумя словами: «здравствуйте» и «прощайте»; но, несмотря на это почти шапочное знакомство (connaissance à coups de chapeau), я ихъ изучилъ какъ нельзя лучше (le mieux du monde). Истиннаго друга, человѣка вполнѣ преданнаго вы не отыщете между ними: за весьма ограниченнымъ исключеніемъ, все это паразиты, не стоящіе (valoir) мѣднаго гроша (le sou rongé). Одинъ цѣлуетъ ручки генеральшѣ,

увѣряя ее въ своей преданности и дружбѣ, въ своемъ расположеніи къ ея семейству и уваженіи къ ней самой, имѣя въ виду дочь со стотысячнымъ приданымъ и два дома, дающіе (rapporter) сорокъ тысячъ годового дохода; другой, не задумываясь, принимаетъ на себя роль шута, изъ кожи лѣзетъ (se mettre en quatre), лишь бы только сыскать (gagner) ея расположеніе и при ея помощи и протекціи получить тепленькое (bonne) мѣстечко; третій, наконецъ, съ болѣе скромными желаніями и мечтами унижается (s'humilier, s'avilir), лакейничаетъ (jouer le valet), увѣряя кстати и некстати (à tout propos) о своемъ ничтожествѣ (le néant) въ сравненіи съ ея превосходительствомъ, лишь бы только удостоиться чести быть терпимымъ (toléré) въ столь аристократическомъ обществѣ да пользоваться отъ времени до времени даровымъ (gratuit) обѣдомъ, театромъ, каретою и тому подобными наградами за свое умѣніе льстить въ глаза (en la présence) и ябедничать за глаза (calomnier en l'absence).



PAGES CHOISIES

DES

AUTEURS CONTEMPORAINS.

PAUL DE KOCK.

1. Un banc du boulevard.

Vous savez qu'on a placé des bancs de bois sur les boulevards, ce qui est très-bien vu, car tout en vous promenant, vous pouvez être pris d'une douleur subite, ou d'une faiblesse; votre pied peut tourner; enfin, vous pouvez vous sentir fatigué et éprouver le besoin de vous asseoir. Or, comme il n'y a pas partout des loueuses de chaises, comme on a supprimé les bornes, qui, du reste, n'étaient pas commodes pour s'asseoir, on a donc très-bien fait de nous donner des bancs dans les endroits qui servent de promenades et où l'on peut se reposer sans danger.

J'ai cependant entendu des personnes se plaindre de ce qu'on n'en trouvait pas dans les rues; c'est bien le cas de dire qu'il y a des gens qui ne sont jamais contents! Voyez-vous des bancs placés dans la rue Vivienne ou la rue de Rivoli, barrant le trottoir, empêchant la circulation?... comme si nous n'avions pas déjà bien assez des crinolines de ces dames! Les bancs que l'on trouve sur les boulevards sont en bois et doubles; les deux planches sont séparées au milieu par deux montants en fer qui supportent une petite planche qui sert de dossier aux personnes assises soit d'un côté, soit de l'autre. J'ai encore entendu dire: «Un seul dossier pour les deux côtés, ce n'est pas commode; on se cogne souvent les épaules contre le dos de la personne qui est derrière vous!.. et un dossier en bois, c'est bien dur!» Moi, je me suis permis de répondre à ces *délicats:* «Ne vous faudrait-il pas sur le boulevard, exposés aux injures du temps, des bancs rembourrés, capitonnés et recouverts en velours ou en soie? Ils seraient gentils au bout de quinze jours! Ces

bancs de bois sont là pour que vous puissiez reposer vos jambes, et non pas pour vous servir de canapés ou de divans!.. Vous trouvez que ce n'est pas assez d'un dossier commun aux deux côtés, mais si vous n'en aviez pas du tout, ce serait bien moins commode; vos épaules rencontrent quelquefois celles du voisin, et cela vous déplaît; mais quand vous rencontrez celles d'une jolie voisine, je gage bien que vous ne vous en plaignez pas... Dans ce monde, tout a son bon et son mauvais côté.

Je prends la défense des bancs de bois bien inutilement peut-être; j'entends une foule de personnes qui me diront: «Ne vous donnez pas tant de peine!.. Que nous importe vos bancs des boulevards? est-ce qu'on s'assoit là-dessus quand on se respecte!.. pour être coudoyé par un je ne sais qui! sali par une je ne sais quoi!.. C'est bon pour les bonnes et les invalides!» Ma foi! je vous avouerai que ces considérations-là ne m'ont jamais empêché de m'asseoir sur un banc public toutes les fois que j'en ai éprouvé le besoin ou l'envie. Quant aux: Je ne sais qui! et aux: Je ne sais quoi! on n'en rencontre pas que sur les bancs des boulevards; on est coudoyé par eux dans les salons, dans les spectacles, dans les plus élégantes promenades... Vous me direz que ceux-là sont bien mis et ne vous salissent pas. Chacun son goût: j'aime mieux me frôler contre la blouse d'un ouvrier que contre l'habit parfumé d'un monsieur qui me vole mon portemonnaie; les *pick-pocket* sont toujours mis dans le dernier goût! En voilà bien long sur ces bancs de bois! c'est que, vous qui craindriez de vous compromettre en vous y asseyant, vous ne vous doutez pas de l'amusement que l'on y prend quelquefois. D'abord, la société y est très-variée et se renouvelle fréquemment. Vous entendez souvent causer à votre droite, à votre gauche, puis encore derrière vous, et vous entendez parfois de bien drôles de choses. Or, pour vous en faire juge, je ne vois rien de mieux que de vous transporter près d'un de ces bancs... Choisissons-en un dans les voies nouvelles, sur le boulevard de Strasbourg, par exemple; il est moins fréquenté que son annexe, le boulevard de Sébastopol; les bancs sont moins occupés, mais aussi on doit y rencontrer plus d'amoureux, surtout à neuf heures du soir, et les amoureux c'est presque toujours gentils... à moins qu'ils ne se querellent; mais alors même leurs disputes sont souvent amusantes. Voilà qui est decidé, nous gagnons le boulevard de Strasbourg, et nous allons observer ce qui se passe sur un banc placé un peu au-dessus de

l'Eldorado, ce café-chantant qui a tout l'aspect d'un théâtre et qui veut rester un café; il est neuf heures du soir, mais, à Paris, grâce au gaz, il ne fait jamais nuit.

Il y a, dans ce moment, six personnes sur le banc, quatre d'un côté, deux de l'autre. Les quatre personnes sont très-espacées et ne se parlent pas; les deux autres sont très-rapprochées et se parlent dans l'oreille, quelquefois même on pourrait croire qu'elles se parlent dans le nez, tant les visages se rapprochent; mais alors est-ce bien pour se parler que ces deux visages sont près de se toucher, et ne se permettrait-on pas de s'embrasser tout en ayant l'air de chuchoter?.. d'autant plus que les voisins assis derrière n'ont rien de bien imposant! Écoutons-les un peu. C'est d'abord un vieux monsieur, assez bien couvert, qui tient un parapluie à canne entre ses jambes, rajuste à chaque instant les bouts de son faux col qui s'obstinait à vouloir disparaître dans sa cravate, et lorgne fort souvent une dame assise à côté de lui, dont la toilette fanée et de mauvais goût ne donne pas une haute idée de sa position sociale. Mais quand on est grand amateur du beau sexe et qu'on a passé la cinquantaine, on n'y regarde pas de si près.

Le vieux monsieur fredonne entre ses dents une chanson fort en vogue depuis qu'elle a été chantée par la virtuose *Thérésa*, la diva des cafés-concerts. Puis, il se rapproche un peu de sa voisine, en avançant la tête pour tâcher de voir sa figure, ce qui ne lui est pas facile, parce que la dame a une espèce de voilette sur son chapeau et remue sans cesse la tête pour regarder à droite et à gauche; notre chercheur de bonnes fortunes rattrape les deux bouts de son col, qu'il remet en évidence, puis il cogne le bitume avec son parapluie, et enfin sort de sa poche un petit sac de papier dans lequel il y a de la pâte de guimauve; il en fourre un morceau dans sa bouche. Jusqu'à présent rien de tout cela n'ayant paru intéresser la dame au voile de gaze, notre monsieur se met à fredonner, mais un peu plus haut cette fois.

Et il se permet même des roulades, des fioritures sur le dernier vers. Alors sa voisine se tourne de son côté et lui dit d'un ton moqueur et avec une voix tant soit peu masculine: — Est-ce que monsieur est à l'Opéra? — Non, madame, non!... Oh! je ne suis même pas musicien!... seulement, j'avais de la voix, une assez jolie voix... — En quelle année? Le monsieur se redresse; il ne trouve pas cette question convenable, elle

lui semble fort déplacée, et il remet dans sa poche son petit sac de pâte de guimauve, qu'il se disposait à présenter à cette dame, en murmurant: — Mais il n'y a pas si longtemps... — Vous m'étonnez! — En quoi vous étonné-je, madame? — En me disant que vous n'êtes pas musicien. Je suis sûre que vous ne dites pas la vérité; vous devez être au moins trombone... ça se devine à votre manière de chanter..... — Mais non, madame, je ne suis pas trombone du tout... — Alors vous êtes piston? — Pas plus piston que trombone... Pourquoi donc voulez-vous absolument que je joue d'un instrument à vent? — Parce que vous avez une voix de mirliton. Le vieux monsieur en a assez; il se lève et quitte le banc, poursuivi par les éclats de rire de cette dame qui s'est moquée de lui; mais tout n'est pas rose quand on court les bonnes fortunes; on en rencontre parfois de mauvaises! Après la dame au voile de gaze, qui vient aussi de se lever et de partir, était assise une femme du peuple, fort pauvrement habillée, la tête couverte d'un fichu de couleur, mais jeune encore et qui serait jolie si la fatigue, le travail, les privations, la misère, n'avaient pas déjà flétri ses traits. Cette femme regarde incessamment à sa droite; elle paraît inquiète; elle doit attendre quelqu'un, mais, à coup sûr, ce n'est pas un amoureux; les rendez-vous galants ne donnent pas un air si triste, si malheureux. Enfin, une petite fille de six à sept ans accourt, et la figure de la jeune mère s'éclaircit un peu; elle attire l'enfant tout contre elle, en lui disant: — Ah! te voilà... je commençais à être inquiète, je craignais qu'il ne te fût arrivé quelque chose... — O maman, il n'y a pas de danger, je prends bien garde aux voitures comme tu me l'as tant recommandé... — Eh bien, as-tu trouvé ton père? — Oui, maman; mais pas chez le premier marchand de vin que tu m'avais indiqué... il n'y était pas. Quand j'ai demandé au comptoir: «M. Jean-Louis est-il ici?» on m'a répondu: «Non; il n'y a pas de danger qu'il revienne; il doit de l'argent! On lui a dit qu'il fallait qu'il paye l'ancien avant d'avoir du nouveau; alors il ne revient plus! Encore un chien d'ivrogne qui nous met dedans!» — O mon Dieu! — Alors je m'en allais; je ne savais plus où chercher pour trouver papa, quand un commissionnaire sortit aussi de chez le marchand de vin, et me dit: «Vous cherchez Jean-Louis, ma petite? — Oui, monsieur; c'est mon papa, et maman l'attend depuis ce matin, et nous n'avons pas encore dîné. — Eh bien, tenez, il va maintenant à cet estaminet que vous

voyez là-bas au coin, où il y a six billards; vous l'y trouverez». — O mon Dieu! le billard à présent! Ce n'était donc pas assez du vin!.. il faudra y joindre le jeu!.. Enfin, tu as été à cet estaminet? — Oui, maman. J'étais embarrassée, car je me suis trouvée dans une grande, grande salle, où il y avait tout plein de billards, et ils étaient tous occupés par des messieurs en blouses comme papa; je ne savais à qui m'adresser. J'ai demandé à un garçon: «M. Jean-Louis, s'il vous plait?» Il s'est mis à rire, en me répondant: «Est-ce que vous croyez que je sais les noms de tous ces loupeurs-là?.. Cherchez... promenez-vous, ça n'est pas défendu». Alors, je me suis promenée autour des billards; mais, comme tous ces messieurs fumaient en jouant, il y avait tant de fumée dans la salle que c'est à peine si on pouvait y distinguer le monde. Enfin j'ai reconnu papa qui était en train de jouer; j'étais bien contente de l'avoir trouvé; j'ai couru à lui et je l'ai tiré par sa blouse pour qu'il voie que j'étais là... mais apparemment que j'ai eu tort de le toucher, car il s'est mis à jurer bien fort, en disant: «Quel est l'animal qui vient me cogner pour me faire manquer mon carambolage? — C'est moi, papa, lui dis-je en tremblant. Alors... oh! alors... il m'a donné un gros soufflet»... — Pauvre Julienne!.. il t'a frappée... toi, son enfant!.... le méchant!.. — Oh! ça ne m'a pas fait bien mal, va, et puis il m'a dit: «Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? — Je viens, papa, parce que maman m'a envoyée pour te chercher, nous n'avons pas dîné, nous t'attendions toujours, et si tu ne veux pas revenir, donne-moi au moins un peu d'argent... maman n'en a plus du tout»... Mais il a juré encore... il avait l'air fort en colère; il s'est écrié: «On ne me laissera donc jamais tranquille!.. Tu m'a fait manquer un superbe carambolage qui m'aurait fait gagner la partie!.. Va-t'en, fiche-moi le camp... et dis à ta mère que je ne veux pas qu'on se mette sur le pied de m'envoyer chercher». Je lui tendais la main pour avoir de l'argent, mais il m'a repoussée, en s'écriant: «Est-ce que j'ai de l'argent à vous donner! allons! allons! file bien vite»... Et comme j'avais peur d'être encore battue, je m'en suis allée et me voilà. La pauvre mère presse sa fille contre son cœur, en murmurant: — Il n'a pas d'argent pour nous; il nous laisse sans pain! et il passe sa journée à jouer au billard, à fumer, à boire!.. Ah! quel malheur!.. Et pourquoi donc de tels hommes se marient-ils, puisqu'ils ne veulent pas travailler pour nourrir leurs enfants!.. Quelques instants s'écoulent; la petite fille se tenait toujours debout

entre les jambes de sa mère, qui semblait absorbée dans sa douleur. Enfin, l'enfant balbutie : — Maman... j'ai bien faim... est-ce que nous ne mangeons pas aujourd'hui? Alors la pauvre mère éprouve comme un mouvement nerveux et presse avec plus de force sa fille contre son cœur en élevant ses regards vers le ciel; puis, au bout d'un moment, de grosses larmes s'échappent de ses yeux et inondent son visage. Quand la petite Julienne voit pleurer sa mère, elle s'écrie. — Maman... je n'ai plus faim!.. ne pleure pas... je t'assure que je n'ai plus faim!.. Pauvre enfant! qui pourrait rendre ces accents partis de l'âme!.. ce pieux mensonge, auquel sa mère ne peut répondre que par des baisers! Celle-ci a reporté ses regards vers la terre, puis, tout à coup, en voyant sa main à laquelle est un anneau d'or, son alliance de mariage, elle s'écrie: — Ah! j'ai encore cette ressource... Viens, ma fille, il y a des bijoutiers par ici... tu vas avoir du pain... C'est bien le moins que cette alliance qui a fait mon malheur t'empêche au moins de mourir de faim! Et la pauvre femme s'éloigne précipitamment en tenant son enfant par la main. Toutes les scènes ne sont pas gaies sur les bancs de bois... mais il faut prendre les choses comme elles se présentent. Il reste encore sur le côté du banc une espèce d'ouvrier; mais il dort ou du moins il en a l'air. Quant aux amoureux assis de l'autre côté, ils continuent à se parler de très-près, sans s'occuper de ce qui se passe autour d'eux. Deux personnes viennent s'asseoir à la place où était la pauvre mère. C'est un couple déjà sur le retour; mise bourgeoise, tournure province, porteurs, l'homme et la femme, d'un assez gracieux embonpoint. C'est le monsieur qui s'assoit le premier, en s'écriant: — Ah! sapristi! je ne suis pas fâché de me reposer... les jambes me rentrent!.. et toi, Octavie? Octavie répond d'un air d'assez mauvaise humeur, et en étalant sa robe avec précaution avant de s'asseoir: — Les jambes vous rentrent!.. vous êtes toujours éreinté maintenant! Il ne faut pas grand'chose pour vous fatiguer!.. Ah! monsieur Glupin, vous n'allez plus!.. vous n'allez plus du tout! — Comment! je ne vais plus? je vous trouve encore plaisante, madame! Depuis ce matin nous marchons, nous trottons dans Paris, et vous trouvez surprenant que je sois fatigué!.. — Ne faudrait-il pas rester enfermés dans la chambre de l'hôtel où nous sommes descendus? Nous sommes venus à Paris pour faire un voyage d'agrément.. et jusqu'à présent quel est donc l'agrément que vous m'avez

procuré? — Mais, Octavie, vous êtes insatiable... vous n'êtes jamais contente! D'abord, nous avons déjeuné et dîné chez le traiteur... — Oui! avec ça que c'était bon! déjeuner à vingt et un sous, dîner à trente-deux sous... des moules à chaque repas! moi, qui ai toujours peur d'enfler! comme ça m'a régalée... — Moi, j'ai trouvé que c'était bon... sauf le beefsteak, qui sentait trop le hareng!.. Quand je m'en suis plaint au garçon, il m'a dit: «Monsieur, c'est qu'il est au beurre d'anchois». — Puisque vous étiez si fatigué, pourquoi ne sommes-nous pas entrés dans un café? Dieu merci! il n'en manque pas à Paris... on ne voit que cela... il y a un boulevard... je ne sais pas son nom, mais un très-joli boulevard, où je n'ai vu que des cafés depuis le commencement jusqu'à la fin; et, ce qui m'a bien surprise, c'est que tous étaient pleins de monde; les tables placées en dehors, sur le boulevard, étaient toutes occupées. Il paraîtrait, d'après cela, qu'ici les hommes font toutes leurs affaires en prenant quelque chose... c'est bien agréable, et je ne m'étonne plus que tout le monde veuille venir s'établir à Paris.

— Et moi, madame, j'en ai assez de vos cafés; merci, je sais ce qu'il en coûte! Nous y sommes entrés ce matin... nous avions envie de nous rafraîchir; naturellement, j'ai demandé de la bière. Le garçon me dit: «Monsieur veut deux bogs?» Moi, je crois qu'il m'offre une nouvelle liqueur, et je lui réponds: «Non, je veux de la bière... servez-nous de la bière!... Il reprend: «Eh bien, est-ce deux bogs qu'il vous faut?» Ah! alors je m'écrie: «Je ne connais pas vos bogs! servez-nous une bouteille de bière, de la bonne et qui mousse!» Cet impertinent garçon se met à rire et me répond enfin: «Monsieur, on ne sert plus de la bière en bouteille à Paris!.. vous arrivez de la province, à coup sûr! — Certainement; nous arrivons de Nogent-le-Rotrou, jolie petite ville dans le Perche, et dont les habitants ne sont pas absolument des imbéciles! Eh bien, si vous ne servez plus la bière dans des bouteilles, dans quoi donc la servez-vous? dans des pots, dans des soupières? — Non, monsieur; nous servons des cannettes, des moss, des chopes, des bogs!» Comme je ne connaissais rien à tout cela, je lui dis: «Donnez-nous de la bière dans ce que vous voudrez, pourvu qu'elle soit bonne. — Monsieur la veut-il de Strasbourg ou de Bavière?» Je lui dis: «Ça nous est égal si elle est bonne». Très-bien; voilà mon garçon qui part et revient bientôt avec deux verres qui avaient la forme de verres de champagne et n'étaient guère plus grands;

la bière était dedans; d'abord, je ne trouve pas propre qu'on vous serve de la bière toute versée, et il y avait beaucoup de mousse, ce qui fait qu'il ne restait plus beaucoup de bière. Je dis au garçon: «Comment appelez-vous ça? — Monsieur, ce sont des bogs». Vous vous empressez de porter le verre à votre bouche... Vous rappelez-vous, Octavie, le cri que vous avez poussé? — Je le crois bien! c'était horriblement amer... un vrai chicotin! j'ai cru que le garçon s'était trompé et nous avait servi du quinquina! — Je me mis à goûter aussi, pour savoir si vous aviez raison, et le fait est que j'ai trouvé cela d'une amertume insupportable. Je rappelle le garçon et je lui dis: «Vous vous serez trompé, cette bière ne vaut plus rien; c'est amer à ne pas boire!» Ce drôle-là se met encore à rire, en s'écriant: «Eh! monsieur, c'est de la bière de Strasbourg, plus elle est amère, et plus les amateurs la trouvent bonne. — Je souhaite bien du plaisir aux amateurs, mais cela ne nous plaît pas à nous. Est-ce que vous n'en avez pas d'autres? — Si, monsieur, de la bière de Munich: elle est bien plus douce. — Alors, apportez-nous de la bière de Munich; mais pas tant de mousse dans les verres, vous comprenez!» Le garçon part, et nous rapporte deux autres mesures;... il y avait moins de mousse, j'en conviens; le garçon me le fait remarquer en me disant: «Voyez-vous! presque pas de faux col!.. — Comment! de faux col?» m'écriai-je, car je ne comprenais pas; mais le garçon m'apprit que l'on nommait ainsi la mousse qui était sur la bière. Le mot me parut assez ingénieux, et je me promis, la première fois que je prendrais de la bière à Nogent-le-Rotrou, de dire: «Garçon! donnez-moi un verre de bière sans faux col!» — Mon ami, sa bière de Munich était assez bonne, convenez-en. — Oui; elle n'était pas mauvaise, quoique encore un peu amère. Mais le plus amer de tout, c'est ce qu'il fallut payer pour cela. Je dis au garçon: «Combien vous dois-je? — Un franc soixante, monsieur». Moi, je dresse les oreilles! Un franc soixante se traduit par trente-deux sous. Je reponds au garçon: «Vous vous embrouillez dans vos centimes, vous faites erreur! je ne peux pas devoir trente-deux sous pour deux verres de bière, c'est impossible!» Le gredin se met encore à rire, et me dit: «Non, je ne me trompe pas! Vous avez quatre bogs, à quarante centimes... total, un franc soixante centimes. — Pourquoi me comptez-vous quatre bogs? nous n'en avons bu que deux! — Monsieur, il ne fallait pas vous laisser servir de la bière de Strasbourg et y goûter! Il faut payer tout ce qu'on a goûté, naturellement. — Et vous prenez huit sous pour un verre de bière! — Oui, monsieur, quarante centimes par bog... — Mais c'est épouvantable! autrefois, pour huit sous, on vous servait une bouteille de bière, et qui valait mieux que celle-là... mais vos quatre bogs font à peine le contenu d'une bouteille; ça la met donc à trente deux sous la bouteille»... Enfin, j'eus beau crier, il me fallut payer; mais on ne me reprendra plus à boire de la bière à Paris! — Il faut pourtant bien se rafraîchir quand on a soif! — Madame, il y a d'autres moyens. J'ai entendu des marchands qui criaient de la limonade à deux liards le verre. — Ah! fi! monsieur. Pourquoi pas du coco tout de suite? — Le coco est une boisson très-saine et nullement méprisable. — Si c'est comme cela que vous me régalez, je vous remercie. Voyons, monsieur Glupin, est-ce que vous êtes encore fatigué? — Mais, certainement; qu'est-ce qui nous presse, d'ailleurs? on est bien ici, on voit passer le monde... — Et ça ne coûte rien, n'est-ce pas? Mais moi, monsieur, je veux que vous me fassiez voir quelque chose ce soir; je ne suis pas venue à Paris pour m'y asseoir sur un banc! — Mon Dieu! Octavie, je vous ai déjà fait voir quelque chose ce matin; vous n'êtes jamais contente! — Ah! oui, avec cela que c'était gai! Monsieur me mène voir un homme pétrifié! Comme c'était amusant... une figure qui ressemblait à de la terre! quel joli spectacle!.. — Madame c'est très-curieux; j'étais bien aise de savoir comment nous serons quand nous deviendrons pétrifiés? — J'espère bien que je ne le serai jamais! — Cela m'a encore coûté vingt sous pour nous deux! — Il aurait bien mieux valu m'acheter des gâteaux, mais vous devenez si rat!.. — Et vous si gourmande!.. Les deux époux ont cessé de parler; un moment de silence règne; il est interrompu par le bruit d'un baiser qui se donne de l'autre côté du banc. Madame Glupin fait un bond comme si elle venait d'être électrisée, mais son mari se retourne avec colère, en s'écriant: — Par exemple, c'est trop fort! se donner des baisers sur la voie publique!.. Est-ce que l'autorité souffre cela?.. Alors le monsieur qui venait d'embrasser sa connaissance se retourne aussi, se lève même à demi et dit d'un ton menaçant à M. Glupin: — De quoi vous mêlez-vous? je vous trouve encore plaisant de venir me menacer de l'autorité... Vous êtes un vieux serin, une vieille bête! tâchez de vous taire ou je vous cogne! Le provincial baisse le nez et se recule en marronnant: — Monsieur... dans le Perche, on n'a pas l'habitude de

s'embrasser devant le monde... voilà pourquoi... — Retournez-y dans le Perche; vous êtes bien fait pour être perché sur une branche, vous! Madame Glupin dit tout bas à son mari: — C'est bien fait! cela vous apprendra à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas; quand on vient pour la première fois dans une ville, ce n'est pas pour faire la leçon aux habitants. Vous dites qu'on ne s'embrasse pas devant le monde à Nogent-le-Rotrou, vous mentez! Toutes les fois que mon cousin me rencontre dans la rue, il commence par m'embrasser... M. Glupin se lève avec colère, en disant: — Venez, madame, allons nous reposer ailleurs; mais, demain, nous repartirons pour ma ville natale; j'en ai bien assez de Paris... et de ce qu'y coûte la bière! La grosse Octavie suit son mari, en murmurant: — Quel joli voyage d'agrément!.. n'avoir vu qu'un homme pétrifié!.. Peu de temps après le couple amoureux a aussi quitté le banc, sur lequel alors il ne reste plus que l'individu qui a toujours l'air de dormir.

(*Un mari dont on se moque*).

HENRI GREVILLE.

2. La femme moderne.

Depuis la création du monde, la situation d'Ève s'est singulièrement améliorée; l'homme des cavernes la traitait en bête de somme, et il a fallu des siècles, peut-être, pour éveiller en lui le sens de la tendresse, que la maternité avait dès l'abord enseigné à sa compagne. Puis sont venues des périodes infiniment nombreuses où la femme a été, suivant les mœurs, reine ou servante, adorée ou battue, — et il en est encore de même aujourd'hui, suivant les points du globe; mais jamais, même à notre époque, la femme ne connut de si haute situation que sous l'empire romain. Vestale ou matrone, elle jouit alors de la plénitude de ses droits, avec des prérogatives exceptionnelles.

Mais — et le «mais» est effrayant — le servage existait dans toute sa beauté, tandis que notre civilisation a fait les femmes égales — sur le papier. Si tout soldat a dans sa giberne le bâton de maréchal, toute femme a dans son berceau le sceptre de l'impératrice; c'est à elle de le conquérir. Seulement, le nombre des impératrices n'est pas considérable, et, bien qu'on ait vu des exceptions, elles se recrutent de préférence dans l'Almanach de Gotha. Ce n'est donc pas vers ce rang que les femmes de notre temps chercheront à élever leurs regards; un plus modeste, et tout aussi honorable, leur est accessible: celui d'épouses. Nos lois européennes sont sévères pour la femme; elles la maintiennent encore assez étroitement liée, les mœurs aidant. En Angleterre; la jeune fille jouit d'une liberté à peu près illimitée, il est vrai; mais, une fois mariée, sa moindre coquetterie sera jugée avec une extrême rigueur. En Italie, on ne voit guère les jeunes filles; et les femmes mariées, pendant les cinq ou six premières années de leur mariage, au moins, ne peuvent jamais sortir sans être escortées par un homme, parent ou ami; pas même avec une autre femme, celle-ci fût-elle leur mère; seules encore bien moins; je ne l'aurais pas cru, si un tout récent procès ne me l'avait fait voir de près. Ce sont les mœurs d'un autre âge. La jalousie espagnole est bien connue; en Allemagne, la femme est une poule couveuse; mais, malgré la sentimentalité des interminables fiançailles, elle joue en réalité un rôle bien mince dans la vie du mari. En Russie, mettant à part la double aristocratie du nom et de la fortune, la femme est une servante non payée. Nous ne parlerons guère de l'Amérique; j'ai de chères amies américaines, et je ne veux pas leur faire de chagrin. Il est vrai que là, la femme triomphe, mais c'est parfois tellement aux dépens de son caractère, que mieux vaut ne pas nous y arrêter. C'est donc en France, en Belgique, en Suisse, que les femmes ont plus de garanties de bonheur. Bien que le Code soit chiche de gratifications à leur égard, un mouvement bien distinct en leur faveur tend à élargir leurs droits, comme en fait foi une loi toute récente. Mais les mœurs leur sont infiniment favorables. Le temps n'est plus où les jeunes filles portaient une robe de mousseline blanche avec une ceinture bleue, disaient: «Oui, maman», et ne valsaient qu'après le mariage. On a eu tant pitié de ces pauvres petites, on les a tant aimées, tant choyées qu'on a fini par les gâter, dans le sens absolu du mot, et dans une quantité de familles, que je ne puis ni ne veux énumérer, les filles sont devenues de véritables tyrans domestiques. Elles traînent dans le monde leurs pauvres parents fatigués, qui ne demanderaient pas mieux que de les laisser s'amuser jusqu'à onze heures, à condition qu'on sera couché à minuit. Mais c'est à minuit qu'on commence à danser pour tout de

bon, et les pauvres mères restent, lasses, ennuyées, malades souvent; j'en connais qui en sont mortes... Et pourquoi tant de cruels sacrifices? — Il faut bien marier sa fille. Rien de plus juste, et par-dessus le marché, avec les filles qu'on a eu le talent d'élever, bien peu oseraient nier que le jour de la noce ne soit en général le jour de la délivrance réciproque. Pourquoi? C'est que depuis... — ne précisons pas le nombre des années: qui trop précise s'expose à se faire accuser d'erreur — cette gâterie des jeunes filles a pris de telles proportions que les mères n'ont plus le choix qu'entre l'abdication, toujours pénible, de leurs goûts et même de leur pouvoir domestique, — ou la révolte franche, qui fait de leurs filles d'apparentes victimes, d'ailleurs peu résignées. Le mariage s'impose comme la fin d'un purgatoire qui, avec le temps, deviendrait un enfer. Mais les épouseurs ne se présentent pas, ou pas assez. Ici, un autre pourquoi. En effet, pourquoi les jeunes gens ne veulent-ils pas se marier? Les hommes, en général, sont faits pour le mariage et adorent le mariage. Ils aiment à trouver le feu allumé en hiver, les fenêtres ouvertes à point en été, avec de volets clos juste assez pour y voir, chose que jamais une bonne ni un domestique ne saura faire à propos; ils aiment un bon dîner, une jolie femme en face d'eux, un joli sourire et des mains blanches pour leur servir le morceau préféré... Ils ont horreur de la table d'hôte et du lit d'auberge. Eh bien, alors? C'est qu'ils ont peur, et ici j'écrirai hardiment le mot que je n'ai pas voulu prononcer parce qu'il est un peu désobligeant; ils savent que ces jeunes filles sont mal élevées et... insupportables. Ils ne veulent pas encombrer leur vie d'une femme répondeuse, autoritaire, chercheuse de plaisirs mondains et... dépensière. Ils sont comme les parents: ils veulent bien rester jusqu'à onze heures... et Madame veut danser le cotillon. Ils veulent bien donner deux robes, ils n'en veulent pas donner douze. Ils ne veulent pas manger chez eux l'affreux fricot d'une bonne mal tenue, qui leur ferait regretter l'ordinaire de la pension bourgeoise; ils se disent que subir tout cela, en dépensant tant d'argent, c'est payer trop cher le plaisir artistique du joli sourire et des mains blanches. S'il y avait de l'amour... Ah! oui, s'il y avait de l'amour! Ce serait autre chose! Mais ces demoiselles ne songent guère à l'amour, elles cherchent un mari; cela n'a rien à voir ensemble, ou bien peu de chose... Et le mari; qui n'est pas si bête, voudrait être aimé. Et souvent il épouse une fille

sans dot, mais rangé, soigneuse, qui aime son intérieur et qui a tout de même des mains blanches, — et qui l'aime, et pour qui il est tout l'univers. Un joli conte bulgare raconte ceci: Jadis, les objets possédaient en propre le mouvement, — et ce qui était bien plus beau, l'obéissance. Il suffisait de dire au seau: «Apporte de l'eau», au balai: «Balaye», pour que l'eau fût sous la main et la maison nettoyée. Or, un jour, une femme, revenant du bois, se faisait accompagner de son fagot, un maître fagot; bien nourri de belles branches. Suivant l'ordre établi, le fagot cheminait à côté d'elle. La femme, s'avisant soudain, d'un coup le jeta à terre en lui disant: «Porte-moi». C'en était trop: maître fagot, se relevant, administra à sa maîtresse une correction des mieux réussies, après quoi toutes choses redevinrent inertes, et chacun fut contraint de les porter pour accomplir sa besogne. C'est ce qui est arrivé chez nous, hélas! Les maris ont été trop mis à contribution, on a trop exigé d'eux, et, sans s'être donné le mot, chacun hésite et louvoie, patiente, et s'impatiente, et finalement devient vieux garçon, ce dont il se mord les doigts à l'heure des rhumatismes. Mais alors ces demoiselles n'en veulent plus, et lui n'épouserait pas une morfondue de son âge: à quoi bon unir deux misères? Ce qui cependant ne serait encore point si sot. Quoi qu'il en soit, la situation est mauvaise. Et le remède? Le remède serait plus de fermeté de la part des parents; moins d'argent dépensé en toilettes, en voitures, en choses inutiles et coûteuses; plus d'heures consacrées au ménage et même à la cuisine; plus d'ordre dans les comptes, les notes payées comptant, ce qui serait une fameuse économie; moins de goût pour le monde et un peu plus de tendresse dans le cœur, car nos jeunes filles sont en train de devenir sèches comme un cent de fagots bulgares; c'est bien porté. Sans cela, je vois avec douleur venir le temps où les hommes ne se marieront plus, et alors, Seigneur! que fera-t-on de ces filles-là, quand elles seront devenues des vieilles filles? Et puis, le monde finirait, ce qui serait dommage.

GUY DE MAUPASSANT.

3. **Un journal parisien.**

La *Vie Française* était avant tout un journal d'argent, le patron étant un homme d'argent à qui la presse et la députation avaient servi

de leviers. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'il sentait retors, audacieux et souples. Duroy, nommé chef des Échos, lui semblait un garçon précieux.

Cette fonction avait été remplie jusque-là par le sécrétaire de la redaction, M. Boisrenard, un vieux journaliste correct, punctuel et méticuleux comme un employé. Depuis trente ans il avait été sécrétaire de la rédaction de onze journaux différents, sans modifier en rien sa manière de faire ou de voir. Il passait d'une rédaction dans une autre comme on change de restaurant, s'apercevant à peine que la cuisine n'avait pas tout à fait le même goût. Les opinions politiques et religieuses lui demeuraient étrangères. Il était dévoué au journal quel qu'il fût, entendu dans la besogne, et précieux par son expérience. Il travaillait comme un aveugle qui ne voit rien, comme un sourd qui n'entend rien, et comme un muet qui ne parle jamais de rien. Il avait cependant une grande loyauté professionelle, et il ne se fût point prêté à une chose qu'il n'aurait pas jugée honnête, loyale et correcte, au point de vue spécial de son métier.

M. Walter, qui l'appréciait cependant, avait souvent désiré un autre homme pour lui confier les Échos, qui sont, disait-il, la moelle du journal. C'est par eux qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser, sans avoir l'air de rien, la chose importante, plutôt insinuée que dite. Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croie au fait annoncé. Il faut que, dans les échos, chacun trouve, chaque jour, une ligne au moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. Il faut penser à tout et à tous, à tous les mondes, à toutes les professions, à Paris et à la Province, à l'Armée et aux Peintres, au Clergé et à l'Université, aux Magistrats et aux Courtisanes.

L'homme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit être toujours en éveil, et toujours en garde, méfiant, prévoyant rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces et doué d'un flair infaillible pour découvrir la nouvelle fausse du premier coup d'œil, pour

juger ce qui portera sur le public; et il doit savoir le présenter de telle façon que l'effet en soit multiplié.

M. Boisrenard, qui avait pour lui une longue pratique, manquait de maîtrise et de chic; il manquait surtout de la rouerie native qu'il fallait pour pressentir chaque jour les idées secrètes du patron.

Duroy devait faire l'affaire en perfection, et il complétait admirablement la rédaction de cette feuille «qui naviguait sur les fonds de l'État et sur les bas-fonds de la politique», selon l'expression de Norbert de Varenne.

Les inspirateurs et véritables rédacteurs de la *Vie Française* étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait à la Chambre «la bande à Walter» et on les enviait parce qu'ils devaient gagner de l'argent avec lui et par lui.

Forestier, redacteur politique, n'était que l'homme de paille de ces hommes d'affaires, l'exécuteur des intentions suggérées par eux. Ils lui soufflaient ses articles de fond qu'il allait toujours écrire chez lui pour être tranquille, disait-il.

Mais, afin de donner au journal une allure littéraire et parisienne, on y avait attaché deux écrivains célèbres en des genres différents, Jacques Rival, chroniqueur d'actualité, et Norbert de Varenne, poète et chroniqueur fantaisiste, ou plutôt conteur, suivant la nouvelle école.

Puis on s'était procuré, à bas prix, des critiques d'art, de peinture, de musique, de théâtre, un rédacteur criminaliste et un rédacteur hippique, parmi la grande tribu mercenaire des écrivains à tout faire. Deux femmes du monde, «Domino rose» et «Patte Blanche», envoyaient des variétés mondaines, traitaient les questions de mode, de vie élégante, d'étiquette, de savoir-vivre, et commettaient des indiscrétions sur les grandes dames.

Et la *Vie Française* «naviguait sur les fonds et bas-fonds», manœuvrée par toutes ces mains différentes. (*Bel-Ami*).

4. La relique.

Mon cher Abbé,

Voici mon mariage avec ta cousine rompu, et de la façon la plus bête, pour une mauvaise plaisanterie que j'ai faite presque involontaire-

ment à ma fiancée. J'ai recours à toi, mon vieux camarade, dans l'embarras où je me trouve; car tu peux me tirer d'affaire. Je t'en serai reconnaissant jusqu'à la mort. Tu connais Gilberte, ou plutôt tu crois la connaître; mais connaît-on jamais les femmes? Toutes leurs opinions, leurs croyances, leurs idées sont à surprises. Tout cela est plein de détours, de retours, d'imprévu, de raisonnements insaisissables, de logique à rebours, d'entêtements qui semblent définitifs et qui cèdent parce qu'un petit oiseau est venu se poser sur le bord d'une fenêtre. Je n'ai pas à t'apprendre que ta cousine est religieuse à l'extrême, élevée par les Dames blanches ou noires de Nancy. Cela, tu le sais mieux que moi. Ce que tu ignores sans doute, c'est qu'elle est exaltée en tout comme en dévotion. Sa tête s'envole à la façon d'une feuille cabriolant dans le vent; et elle est femme, ou plutôt jeune fille, plus qu'aucune autre, tout de suite attendrie ou fâchée, partant au galop pour l'affection comme pour la haine et revenant de la même façon; et jolie... comme tu sais; et charmeuse plus qu'on ne peut dire... et comme tu ne sauras jamais. Donc, nous étions fiancés; je l'adorais comme je l'adore encore. Elle semblait m'aimer. Un soir je reçus une dépêche qui m'appelait à Cologne pour une consultation suivie peut-être d'une opération grave et difficile. Comme je devais partir le lendemain, je courus faire mes adieux à Gilberte et dire pourquoi je ne dînerai point chez mes futurs beaux-parents le mercredi, mais seulement le vendredi, jour de mon retour. Oh! prends garde aux vendredis, je t'assure qu'ils sont funestes! Quand je parlai de mon départ, je vis une larme dans ses yeux, mais quand j'annonçai ma prochaine revenue, elle battit aussitôt des mains et s'écria: «Quel bonheur! vous me rapporterez quelque chose; presque rien, un simple souvenir; mais un souvenir choisi pour moi. Il faut découvrir ce qui me fera le plus de plaisir, entendez-vous? Je verrai si vous avez de l'imagination». Elle réfléchit quelques secondes, puis ajouta: «Je vous défends d'y mettre plus de vingt francs. Je veux être touchée par l'intention, par l'invention monsieur, non par le prix». Puis, après un nouveau silence elle dit à mi-voix, les yeux baissés: «Si cela ne vous coûte rien, comme argent, et si c'est bien ingenieux, bien délicat, je vous... je vous embrasserai». J'étais à Cologne le lendemain. Il s'agissait d'un accident affreux qui mettait au désespoir une famille entière. Une amputation était urgente. On me logea, on m'enferma presque; je ne vis que des gens en larmes

qui m'assourdissaient; j'opérai un moribond qui faillit trépasser entre mes mains; je restai deux nuits près de lui; puis, quand j'aperçus une chance de salut, je me fis conduire à la gare. Or je m'étais trompé, j'avais une heure à perdre. J'errais par les rues en songeant encore à mon pauvre malade, quand un individu m'aborda. Je ne sais pas l'allemand; il ignorait le français; enfin je compris qu'il me proposait des reliques. Le souvenir de Gilberte me traversa le cœur; je connaissais sa dévotion fanatique. Voilà mon cadeau trouvé. Je suivis l'homme dans un magasin d'objets de sainteté, et je pris un «bétit morceau d'un os des once mille fierges». La prétendue relique était enfermée dans une charmante boîte en vieil argent qui décida mon choix. Je mis l'objet dans ma poche et je montai dans mon wagon. En rentrant chez moi, je voulus examiner de nouveau mon achat. Je le pris... La boîte s'était ouverte, la relique était perdue! J'eus beau fouiller ma poche, la retourner; le petit os, gros comme la moitié d'une épingle, avait disparu. Je n'ai, tu le sais, mon cher abbé, qu'une foi moyenne; tu as la grandeur d'âme, l'amitié, de tolérer ma froideur, et de me laisser libre, attendant l'avenir, dis-tu; mais je suis absolument incrédule aux reliques des brocanteurs en piété; et tu partages mes doutes absolus à cet égard. Donc, la perte de cette parcelle de carcasse de mouton ne me désola point; et je me procurai, sans peine, un fragment analogue que je collai soigneusement dans l'intérieur de mon bijou.

Et j'allai chez ma fiancée. Dès qu'elle me vit entrer, elle s'élança devant moi, anxieuse et souriante: «Qu'est-ce que vous m'avez rapporté?» Je fis semblant d'avoir oublié; elle ne me crut pas. Je me laissai prier, supplier même; et, quand je la sentis éperdue de curiosité, je lui offris le saint médaillon. Elle demeura saisie de joie. «Une relique! Oh! une relique!» Et elle baisait passionnément la boîte. J'eus honte de ma supercherie. Mais une inquiétude l'effleura, qui devint aussitôt une crainte horrible; et, me fixant au fond des yeux: «Êtes-vous bien sûr qu'elle soit authentique? — Absolument certain. — Comment cela»? J'étais pris. Avouer que j'avais acheté cet ossement à un marchand courant les rues, c'était me perdre. Que dire? Une idée folle me traversa l'esprit; je répondis à voix basse, d'un ton mystérieux: «Je l'ai volée, pour vous». Elle me contempla avec ses grands yeux émerveillés et ravis. «Oh! vous l'avez volée. Où ça? — Dans la cathé-

drale dans la châsse même des onze mille vierges». Son cœur battait; elle défaillait de bonheur; elle murmura: «Oh! vous avez fait cela... pour moi. Racontez.... dites-moi tout!» C'était fini, je ne pouvais plus reculer. J'inventai une histoire fantastique avec des détails précis et surprenants. J'avais donné cent francs au gardien de l'édifice pour le visiter seul; la châsse était en réparation; mais je tombais juste à l'heure du déjeuner des ouvriers et du clergé; en enlevant un panneau que je recollai ensuite soigneusement, j'avais pu saisir un petit os (oh! si petit) au milieu d'une quantité d'autres (je dis une quantité en songeant à ce que doivent produire les débris de onze mille squelettes de vierges). Puis je m'étais rendu chez un orfèvre et j'avais acheté un bijou digne de la relique. Je n'étais pas fâché de lui faire savoir que le médaillon m'avait coûté cinq cents francs. Mais elle ne songeait guère à cela; elle m'écoutait frémissante, en extase. Elle murmura: «Comme je vous aime!» et se laissa tomber dans mes bras. Remarque ceci: J'avais commis, pour elle, un sacrilège. J'avais volé; j'avais violé une église, violé une châsse; violé et volé reliques sacrées. Elle m'adorait pour cela; me trouvait tendre, parfait, divin. Telle est la femme, mon cher abbé, toute la femme. Pendant deux mois, je fus le plus admirable des fiancés. Elle avait organisé dans sa chambre une sorte de chapelle magnifique pour y placer cette parcelle de côtelette qui m'avait fait accomplir, croyait-elle, ce divin crime d'amour; et elle s'exaltait là devant, soir et matin. Je l'avais priée du secret, par crainte, disais-je, de me voir arrêté, condamné, livré à l'Allemagne. Elle m'avait tenu parole. Or, voilà qu'au commencement de l'été, un désir fou lui vint de voir le lieu de mon exploit. Elle pria tant et si bien son père (sans lui avouer sa raison secrète) qu'il l'emmena à Cologne en me cachant cette excursion, selon le désir de sa fille. Je n'ai pas besoin de te dire que je n'ai pas vu la cathédrale à l'intérieur. J'ignore où est le tombeau (s'il y a tombeau)? des onze mille vierges. Il paraît que ce sépulcre est inabordable, hélas! Je reçus, huit jours après, dix lignes me rendant ma parole; plus une lettre explicative du père, confident tardif.

A l'aspect de la châsse, elle avait compris soudain ma supercherie, mon mensonge, et, en même temps, ma réelle innocence. Ayant demandé au gardien des reliques si aucun vol n'avait été commis, l'homme s'était

mis à rire en démontrant l'impossibilité d'un semblable attentat. Mais du moment que je n'avais pas fracturé un lieu sacré et plongé ma main profane au milieu des restes vénérables, je n'étais plus digne de ma blonde et délicate fiancée. On me défendit l'entrée de la maison. J'eus beau prier, supplier, rien ne put attendrir la belle dévote. Je fus malade de chagrin. Or, la semaine dernière, sa cousine, qui est aussi la tienne, M-me d'Arville, me fit prier de la venir trouver. Voici les conditions de mon pardon. Il faut que j'apporte une relique, une vraie, authentique, certifiée par Notre Saint-Père le Pape, d'une vierge et martyre quelconque. Je deviens fou d'embarras et d'inquiétude. J'irai à Rome, s'il le faut. Mais je ne puis me présenter au Pape à l'improviste et lui raconter ma sotte aventure. Et puis je doute qu'on confie aux particuliers des reliques véritables. Ne pourrais-tu me recommander à quelque monsignor, ou seulement à quelque prélat français, propriétaire de fragments d'une sainte? Toi-même, n'aurais-tu pas en tes collections le précieux objet réclamé? Sauve-moi, mon cher abbé, et je te promets de me convertir dix ans plutôt! M-me d'Arville, qui prend la chose au sérieux m'a dit: «Cette pauvre Gilberte ne se mariera jamais». Mon bon camarade, laisseras-tu ta cousine mourir victime d'une stupide fumisterie? Je t'en supplie, fais qu'elle ne soit pas la onze mille et unième. Pardonne, je suis indigne; mais je t'embrasse et je t'aime de tout cœur.

Ton vieil ami,

HENRI FONTAL.

5. Jalousie.

Dès qu'il fût dehors, Pierre se dirigea vers la rue de Paris, la principale rue du Havre, éclairée, animée, bruyante. L'air un peu frais des bords de mer lui caressait la figure, et il marchait lentement, la canne sous le bras, les mains derrière le dos. Il se sentait mal à l'aise, alourdi, mécontent comme lorsqu'on a reçu quelque fâcheuse nouvelle. Aucune pensée précise ne l'affligeait et il n'aurait su dire tout d'abord d'où lui venait cette pesanteur de l'âme et cet engourdissement du corps. Il avait mal quelque part, sans savoir où; il portait en lui un petit point douloureux, une de ses presque insensibles meurtrissures dont on ne trouve pas la place, mais qui gênent, fatiguent, attristent, irritent, une souffrance inconnue et légère, quelque chose comme une graine

de chagrin. Lorsqu'il arriva place du Théâtre, il se sentit attiré par les lumières du café Tortoni, et il s'en vint lentement vers la façade illuminée; mais au moment d'entrer, il songea qu'il allait trouver là des amis, des connaissances, des gens avec qui il faudrait causer; et une répugnance brusque l'envahit pour cette banale camaraderie des demi-tasses et des petits verres. Alors, retournant sur ses pas, il revint prendre la rue principale qui le conduisait vers le port. Il se demandait: «Où irais-je bien?» cherchant un endroit qui lui plût, qui fût agréable à son état d'esprit. Il n'en trouvait pas, car il s'irritait d'être seul, et il n'aurait voulu rencontrer personne. En arrivant sur le grand quai, il hésita encore une fois, puis tourna vers la jetée; il avait choisi la solitude. Comme il frôlait un banc sur le brise-lames, il s'assit, déjà las de marcher et dégoûté de sa promenade avant même de l'avoir faite. Il se demanda: «Qu'ai-je donc ce soir?» Et il se mit à chercher dans son souvenir quelle contrariété avait pu l'atteindre, comme on interroge un malade pour trouver la cause de sa fièvre. Il avait l'esprit excitable et reflechi en même temps, il s'emballait, puis raisonnait, approuvait ou blâmait ses élans; mais chez lui la nature première demeurait en dernier lieu la plus forte, et l'homme sensitif dominait toujours l'homme intelligent. Donc il cherchait d'où lui venait cet énervement, ce besoin de mouvement sans avoir envie de rien, ce désir de rencontrer quelqu'un pour n'être pas du même avis, et aussi ce dégoût pour les gens qu'il pourrait voir et pour les choses qu'ils pourraient lui dire. Et il se posa cette question: «Serait-ce l'héritage de Jean?» Oui, c'était possible après tout. Quand le notaire avait annoncé cette nouvelle, il avait senti son cœur battre un peu plus fort. Certes, on n'est pas toujours maître de soi, et on subit des émotions spontanées et persistantes, contre lesquelles on lutte en vain. Il se mit à réfléchir profondément à ce problème physiologique de l'impression produite par un fait sur l'être instinctif et créant en lui un courant d'idées et de sensations douloureuses ou joyeuses, contraires à celles que désire, qu'appelle, que juge bonnes et saines l'être pensant, devenu supérieur à lui-même par la culture de son intelligence. Il cherchait à concevoir l'état d'âme du fils qui hérite d'une grosse fortune, qui va goûter, grâce à elle, beaucoup de joies désirées depuis longtemps et interdites par l'avarice d'un père, aimé pourtant, et regretté!

Il se leva et se remit à marcher vers le bout de la jetée. Il se sentait mieux, content d'avoir compris, de s'être surpris lui-même d'avoir dévoilé l'autre qui est en nous. Donc j'ai été jaloux de Jean pensait-il. C'est vraiment assez bas, cela! J'en suis sûr maintenant, car la première idée qui m'est venue est celle, de son mariage avec M-me Rosemilly. Je n'aime pourtant pas cette petite dinde raisonnable, bien faite pour degoûter du bon sens et de la sagesse. C'est donc de la jalousie gratuite, l'essence même de la jalousie, celle qui est parce qu'elle est! Faut soigner cela!....

(Pierre et Jean).

6. La nuit.

CAUCHEMAR.

J'aime la nuit avec passion. Je l'aime comme on aime son pays ou sa maîtresse, d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. Les alouettes chantent dans le soleil, dans l'air bleu, dans l'air chaud, dans l'air léger des matinées claires. Le hibou fuit dans la nuit, tache noire qui passe à travers l'espace noir, et, réjoui, grisé par la noire immensité, il pousse son cri vibrant et sinistre. Le jour me fatigue et m'ennuie. Il est brutal et bruyant. Je me lève avec peine, je m'habille avec lassitude, je sors avec regret, et chaque pas, chaque mouvement, chaque geste, chaque parole, chaque pensée me fatigue comme si je soulevais un écrasant fardeau. Mais quand le soleil baisse, une joie confuse, une joie de tout mon corps m'envahit. Je m'éveille, je m'anime. A mesure que l'ombre grandit, je me sens tout autre, plus jeune, plus fort, plus alerte, plus heureux. Je la regarde s'épaissir, la grande ombre douce tombée du ciel: elle noie la ville, comme une onde insaisissable et impénétrable, elle cache, efface détruit les couleurs, les formes, étreint les maisons, les êtres, les monuments de son imperceptible toucher. Alors j'ai envie de crier de plaisir comme les chouettes, de courir sur les toits comme les chats; et un impétueux, un invincible désir d'aimer s'allume dans mes veines. Je vais, je marche, tantôt dans les faubourgs assombris, tantôt dans les bois voisins de Paris, où j'entends rôder mes sœurs les bêtes et mes

frères les braconniers. Ce qu'on aime avec violence finit toujours par vous tuer. Mais comment expliquer ce qui m'arrive? Comment même faire comprendre que je puisse le raconter? Je ne sais pas, je ne sais plus, je sais seulement que cela est.—Voilà. Donc hier—était-ce hier?—oui, sans doute, à moins que ce ne soit auparavant, un autre jour, un autre mois, une autre année,—je ne sais pas. Ce doit être hier pourtant, puisque le jour ne s'est plus levé, puisque le soleil n'a pas reparu. Mais depuis quand la nuit dure-t-elle? Depuis quand?... Qui le dira? qui le saura jamais? Donc hier, je sortis comme je fais tous les soirs, après mon dîner. Il faisait très beau, très doux, très chaud. En descendant vers les boulevards, je regardais au-dessus de ma tête le fleuve noir et plein d'étoiles découpé dans le ciel par les toits de la rue qui tournait et faisait onduler comme une vraie rivière ce ruisseau roulant des astres. Tout était clair dans l'air léger, depuis les planètes jusqu'aux becs de gaz. Tant de feux brillaient là-haut et dans la ville que les ténèbres en semblaient lumineuses. Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. Sur le boulevard, les cafés flamboyaient; on riait, on passait, on buvait. J'entrai au théâtre, quelques instants; dans quel théâtre? je ne sais plus. Il y faisait si clair que cela m'attrista et je ressortis le cœur un peu assombri par ce choc de lumière brutale sur les ors du balcon, par le scintillement factice du lustre énorme de cristal, par la barrière du feu de la rampe, par la mélancolie de cette clarté fausse et crue. Je gagnai les Champs-Élysées où les cafés-concerts semblaient des foyers d'incendie dans les feuillages. Les marronniers frottés de lumière jaune avaient l'air peints, un air d'arbres phosphorescents. Et les globes électriques, pareils à des lunes éclatantes et pâles, à des œufs de lune tombés du ciel, à des perles monstrueuses, vivantes, faisaient pâlir sous leur clarté nacrée, mystérieuse et royale les filets de gaz, de vilain gaz sale, et les guirlandes de verres de couleur. Je m'arrêtai sous l'Arc de Triomphe pour regarder l'avenue, la longue et admirable avenue étoilée! allant vers Paris entre deux lignes de feux, et les astres! Les astres là-haut, les astres inconnus jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinent ces figures bizarres, qui font tant rêver, qui font tant songer. J'entrai dans le Bois de Boulogne et j'y restai longtemps, longtemps. Un frisson singulier m'avait saisi, une émotion imprévue et puissante, une exaltation de ma pensée qui touchait à la folie. Je marchai

longtemps, longtemps. Puis je revins. Quelle heure était-il quand je repassai sous l'Arc de Triomphe? Je ne sais pas. La ville s'endormait, et des nuages, de gros nuages noirs s'étendaient lentement sur le ciel. Pour la première fois je sentis qu'il allait arriver quelque chose d'étrange, de nouveau. Il me sembla qu'il faisait froid, que l'air s'épaississait, que la nuit, que ma nuit bien-aimée, devenait lourde sur mon cœur. L'avenue était déserte, maintenant. Seuls, deux sergents de ville se promenaient auprès de la stations des fiacres, et, sur la chaussée à peine éclairée par les becs de gaz qui paraissaient mourants, une file de voitures de légumes allait aux Halle. Elles allaient lentement, chargées de carottes, de navets et de choux. Les conducteurs dormaient, invisibles, les chevaux marchaient d'un pas égal, suivant la voiture précédente, sans bruit, sur le pavé de bois. Devant chaque lumière du trottoir, les carottes s'éclairaient en rouge, les navets s'éclairaient en blanc, les choux s'éclairaient en vert; et elles passaient l'une derrière l'autre, ces voitures rouges, d'un rouge de feu, blanches d'un blanc d'argent, vertes d'un vert d'émeraude. Je les suivis, puis je tournai par la rue Royale et revins sur les boulevards. Plus personne, plus de cafés éclairés, quelque attardés seulement qui se hâtaient. Je n'avais jamais vu Paris aussi mort, aussi désert. Je tirai ma montre, il était deux heures. Une force me poussait, un besoin de marcher. J'allai donc jusqu'à la Bastille. Là, je m'aperçus que je n'avais jamais vu une nuit si sombre, car je ne distinguais pas même la colonne de Juillet, dont le Génie d'or était perdu dans l'impénétrable obscurité. Une voûte de nuages, épaisse comme l'immensité, avait noyé les étoiles, et semblait s'abaisser sur la terre pour l'anéantir. Je revins. Il n'y avait plus personne autour de moi. Place du Château-d'Eau, pourtant, un ivrogne faillit me heurter, puis il disparut. J'entendis quelque temps son pas inégal et sonore. J'allais. A la hauteur du faubourg Montmartre un fiacre passa, descendant vers la Seine. Je l'appelai. La cocher ne répondit pas. Une femme rôdait près de la rue Drouot: «Monsieur, écoutez donc». Je hâtai le pas pour éviter sa main tendue. Puis plus rien. Devant le Vaudeville, un chiffonnier fouillait le ruisseau. Se petite lanterne flottait au ras du sol. Je lui demandai: «Quelle heure est-il, mon brave?» Il grogna: «Est-ce que je sais! J'ai pas de montre». Alors je m'aperçus tout à coup que les becs de gaz étaient éteints. Je sais qu'on les supprime de bonne heure, avant le jour, en cette saison,

par économie; mais le jour était encore loin, si loin de paraître! «Allons aux Halles, pensai-je, là au moins je trouverai la vie». Je me mis en route, mais je n'y voyais même pas pour me conduire. J'avançais lentement, comme on fait dans un bois, reconnaissant les rues en les comptant. Devant le Crédit Lyonnais, un chien grogna. Je tournai par la rue de Grammont, je me perdis; j'errai, puis je reconnus la Bourse aux grilles de fer qui l'entourent. Paris entier dormait, d'un sommeil profond, effrayant! Au loin pourtant un fiacre roulait, un seul fiacre, celui peut-être qui avait passé devant moi tout à l'heure. Je cherchais à le joindre, allant vers le bruit de ses roues, à travers les rues solitaires et noires, noires, noires comme la mort. Je me perdis encore. Où étais-je? Quelle folie d'éteindre si tôt le gaz! Pas un passant, pas un attardé, pas un rôdeur, pas un miaulement de chat amoureux. Rien. Où donc étaient les sergents de ville? Je me dis: «Je vais crier, ils viendront». Je criai. Personne ne répondit. J'appelai plus fort. Ma voix s'envola, sans écho, faible, étouffée, écrasée par la nuit, par cette nuit impénétrable. Je hurlai: «Au secours! au secours! au secours!» Mon appel désespéré resta sans réponse. Quelle heure était-il donc? Je tirai ma montre, mais je n'avais point d'allumettes. J'écoutai le tic-tac léger de la petite mécanique avec une joie inconnue et bizarre. Elle semblait vivre. J'étais moins seul. Quel mystère! Je me remis en marche comme un aveugle, en tâtant les murs de ma canne, et je levais à tout moment les yeux vers le ciel, espérant que le jour allait enfin paraître; mais l'espace était noir, tout noir, plus profondément noir que la ville. Quelle heure pouvait-il être? Je marchais, me semblait-il, depuis un temps infini; car mes jambes fléchissaient sous moi, ma poitrine haletait, et je souffrais de la faim horriblement. Je me décidai à sonner à la première porte cochère. Je tirai le bouton de cuivre, et le timbre tinta dans la maison sonore; il tinta étrangement comme si ce bruit vibrant eût été seul dans cette maison. J'attendis, on ne répondit pas, on n'ouvrit point la porte. Je sonnai de nouveau; j'attendis encore,—rien! J'eus peur! Je courus à la demeure suivante, et vingt fois de suite je fis résonner la sonnerie dans le couloir obscur où devait dormir le concierge. Mais il ne s'éveilla pas, — et j'allai plus loin, tirant de toutes mes forces les anneaux ou les boutons, heurtant de mes pieds, de ma canne et de mes mains les portes obstinément closes. Et tout à coup,

je m'aperçus que j'arrivais aux Halles. Les Halles étaient désertes, sans un bruit, sans une mouvement, sans une voiture, sans un homme, sans une botte de légumes ou de fleurs.—Elles étaient vides, immobiles, abandonnées, mortes! Une épouvante me saisit,—horrible. Que se passait-il? Oh! mon Dieu! que se passait-il? Je repartis. Mais l'heure? l'heure? qui me dirait l'heure? Aucune horloge ne sonnait dans les clochers ou dans les monuments. Je pensai: «Je vais ouvrir le verre de ma montre et tâter l'aiguille avec mes doigts». Je tirai ma montre.... elle ne battait plus.... elle était arrêtée. Plus rien, plus rien, plus un frisson dans la ville, pas une lueur, pas un frôlement de son dans l'air. Rien! plus rien! plus même le roulement lointain du fiacre,—plus rien!

J'étais aux quais, et une fraîcheur glaciale montait de la rivière. La Seine coulait-elle encore? Je voulus savoir, je trouvai l'escalier, je descendis... Je n'entendais pas le courant bouillonner sous les arches du pont... Des marches encore... puis du sable... de la vase... puis de l'eau... j'y trempai mon bras... elle coulait... froide... froide... froide... presque gelée... presque tarie... presque morte. Et je sentais bien que je n'aurais plus jamais la force de remonter... et que j'allais mourir là... moi aussi, de faim—de fatigue—et de froid.

HECTOR MALOT.

7. Angoisses d'un père.

Les bureaux étaient vides depuis longtemps déjà, que M. Combarrieu restait toujours dans son cabinet, immobile, affaissé dans son fauteuil, reprenant sans cesse ce qui lui avait été dit par M. Armihaud, aussi bien que par son directeur. Cette trahison était-elle possible? La nuit étant venue et le gaz n'ayant pas été allumé dans le cabinet, il demeurait enveloppé d'ombres. Dans l'usine, quelques ateliers avaient éteint leurs feux, mais d'autres où le travail de nuit était organisé flamboyaient dans l'obscurité des cours, et leur ronflement monotone, plus fort dans le silence relatif du soir, faisait une sorte d'accompagnement à ses pensées pour les rendre plus sombres encore et plus sinistres. Que d'heures de sa vie s'étaient ainsi passées dans ce cabinet, où le berçait cette musique douce à ses oreilles, autrefois près de son père,

plus tard, en sa première jeunesse, tout seul! Les temps étaient difficiles: car, bien souvent, on travaillait sous le poids de lourdes échéances, sans trop savoir si on en sortirait, mais combien moins douloureux que le présent! Fiévreux oui, non désespérés. Quoi qu'il arrivât, on s'appuierait toujours sur un passé glorieux: si l'on succombait, resterait l'avenir. Comment prévoir alors qu'un jour viendrait où passé et avenir sombreraient d'un même coup de foudre, le plus effroyable, le plus lamentable qu'une imagination affolée de pessimisme pût rêver? Après s'être dix fois convaincu par son examen personnel qu'on ne pouvait pas arriver à d'autres conclusions que celles de son directeur, et que malgré sa résistance obstinée il fallait quand même les subir, il se décida à quitter son cabinet. Quand il fut dans la rue, ses pas le mirent machinalement sur la route qu'il suivait tous les soirs, et sans savoir comment il était venu, il se trouva avenue Hoche devant la porte de son hôtel. Alors il pensa qu'il n'avait pas dîné; en cette saison, dans l'hôtel abandonné, il ne restait pour tout domestique que le concierge et sa femme, c'est-à-dire personne pour le servir. Mais comme il n'était pas en disposition de s'asseoir dans une salle de restaurant, il commanda qu'on allât lui chercher une tranche de viande froide, un petit pain, et qu'on lui montât le tout avec une bouteille de vin dans son cabinet de travail. Mais, son couvert dressé sur une table, au lieu de s'asseoir, il continua de marcher à travers son cabinet, en tirant coup sur coup de grosses bouffées de fumée de son cigare, comme si c'était là pour lui une puissante distraction, une jouissance dans laquelle il s'anéantissait. Le premier usé, il en alluma un second, puis un troisième, et à la fin il alla se mettre au lit, sans avoir touché à son dîner, mais après avoir bu trois grands verres d'eau. Après une nuit sans sommeil, agitée par la fièvre, troublée par des hallucinations et des effarements, il se leva au petit jour et, revenant dans son cabinet, il écrivit un court billet qu'il fit porter au cercle de la Concorde: sur l'adresse le nom de Dantin; à l'intérieur, deux lignes. «Je prie M. Dantin de me faire savoir où et quand je pourrai le rencontrer». A l'avance, il savait que cette rencontre pourrait avoir lieu au cercle, en y allant à l'heure à laquelle on y trouvait Dantin; mais précisément il ne voulait pas, il n'osait pas y retourner. Ce fut seulement à deux heures qu'on lui porta la réponse aux Batignolles, où il avait passé la journée: «J'aurai l'honneur de me

présenter aujourd'hui, à trois heures, chez M. Combarrieu». Dantin fut exact; à trois heures, il sonna à la porte de l'hôtel, et aussitôt il fut introduit auprès de M. Combarrieu, qui, depuis vingt minutes, l'attendait dans son cabinet en se promenant de long en large, les yeux attachés sur le cadran de la pendule. — Je vous remercie, dit M. Combarrieu, d'avoir bien voulu vous déranger pour moi. J'ai pensé que vous aimeriez mieux me recevoir ici, répondit Dantin, de façon à indiquer, mais sans appuyer, qu'il était assez fin pour comprendre pourquoi on ne venait pas le trouver à son cercle.

— J'ai un service à vous demander. Dantin s'inclina sans répondre ce qui lui permettait de ne s'engager qu'après avoir appris ce qu'on voulait de lui. — Vous vous êtes occupé des affaires de mon fils, dans son intérêt; je veux vous prier de vous en occuper encore, mais dans le mien. Je ne comprends pas. — Je vais m'expliquer. Après avoir fait asseoir Dantin, M. Combarrieu continua: — Ce que vous m'avez dit m'a fait entrevoir ce qu'était la situation de mon fils au temps où il vous employait: j'ai besoin de savoir maintenant ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ignore. — Eh bien! il faut l'apprendre. C'est là ce que j'attends de vous. Des recherches de ce genre ne doivent pas vous être impossibles.— Impossibles, non assurément, mais difficiles; quand je me suis occupé des affaires de M. Victorien, j'étais sans position; mon temps m'appartenait; aujourd'hui je n'ai plus ma liberté. — N'avez-vous pas quelques heures à vous dans votre journée?—Sans doute.—D'autre part, ne pouvez-vous pas vous faire aider? Je suis disposé à reconnaître largement le service que je réclame; vous ne serez, en aucune circonstance, arrêté ou gêné par l'argent. Cette fois, Dantin répondit plus vite:—Mais je ne vois pas très bien en quoi consistent les recherches que vous désirez.— Connaître au juste la situation actuelle de mon fils, ses dettes, ses ressources. J'insiste sur ce point tout particulièrement: d'où lui est venu l'argent qu'il a dépensé en ces derniers temps soit pour son plaisir, soit pour apaiser ses créanciers? Je sais, ou plutôt je crois savoir qu'il a eu de grands besoins; comment est-il parvenu à les satisfaire? Avec quels gens s'est-il trouvé en relations? quelles sommes lui ont-ils versées? de son côté, quels engagements a-t-il contractés?—Cela n'est pas commode. — Si cela l'était, il va de soi que je n'aurais pas recours à vous: c'est la difficulté vaincue qui fait le prix du service rendu, et

aussi l'habileté déployée, de même que la discrétion; car il est bien entendu que mon fils ne doit pas soupçonner vos recherches, ni surtout le nom de celui qui les fait faire. Dantin resta un moment pensif.—Je ne vois que Mélicieux, dit-il, qui puisse m'aider.—N'êtes-vous pas mal avec lui?—Mélicieux est un philosophe pratique, qui n'est mal qu'avec ceux dont il n'a rien à attendre de bon. Il a été mon adversaire quand il m'a cru dangereux; mais il me prendra la main avec effusion s'il voit qu'elle n'est pas vide.—Je n'ai pas à connaître ceux que vous employerez, pas plus que les moyens auxquels vous aurez recours.

— Comme vous voudrez, monsieur; nous nous en tiendrons donc aux résultats.—Voilà qui vous aidera à les obtenir rapides et autant que possible complets sur le point principal que je vous ai indiqué: les sources auxquelles mon fils a puisé pour faire face à ses dépenses. Et ouvrant un tiroir de son bureau, il en tira un cahier d'où il détacha un chèque après l'avoir rempli.—Si cette provision est insuffisante, vous me direz de combien. Quand vous aurez quelque chose à me communiquer, prévenez-moi par un mot, qui me donnera l'heure où je devrai vous attendre ici. Hâtez-vous. Si Dantin était réelement l'homme intelligent qu'il croyait, et si Mélicieux justifiait sa réputation, peu de temps devait suffire à cette enquête. Ses doutes seraient donc fixés, ces craintes écartées ou confirmées, sans que celui qui lui apporterait la lumière soupçonnât l'horreur du mystère qu'il avait éclairci. Lui-même était resté debout la plus grande partie de la nuit, sans oser laisser sa pensée descendre jusqu'au fond et formuler une accusation précise. C'était son fils celui que les faits et les inductions groupées autour accusaient, et son cœur de père, l'honneur de son nom, la fierté de sa vie, tout en lui se révoltait contre les conclusions qui, de tous côtés, l'enserraient à l'étouffer. Mais il ne suffisait pas de dire et de répéter, de crier: «C'est mon fils que j'accuse!» pour que cette accusation ne fût pas justifiée. Que prouvait l'honneur, la fierté du père, la considération qu'on accordait à son nom? c'était du fils qu'il s'agissait; ce n'était pas la vie du père qu'il fallait évoquer avec les journées prises par le travail, c'était celle du fils avec ses heures, si vides d'un côté et si pleines de l'autre. Si le cœur paternel protestait contre cette pensée d'une trahison, l'esprit de l'homme d'affaires pouvait-il, raisonnablement, repousser les présomptions qui l'imposaient? Les dénégations auxquelles il avait, tout d'abord,

voulu se raccrocher n'étaient plus possibles; après son entretien avec son directeur qui ne parlait pas à la légère, lui-même avait reconnu la trahison, et si le coupable n'était pas celui qui avait étudié ses nouveaux travaux, sans que rien expliquât cette étude, plus qu'étrange chez lui, c'était quelqu'un de la maison. Comment hésiter entre ceux dont il avait si souvent éprouvé la fidélité, la probité, le dévoûment, et celui sur le compte de qui on venait de lui faire de si terribles révelations? Qui vole au jeu, n'est-il pas capable de bassesses plus honteuses encore? Dans ce que lui avait dit le policier, un mot l'avait frappé qu'il trouvait maintenant effroyablement vrai: c'est que ceux qui ont gaspillé leur fortune en arrivent facilement à se dire qu'ils seraient trop bêtes de ne pas chercher à se rattraper n'importe comment, et que leur tour est venu. Ce n'était pas seulement «n'importe comment», que s'était dit ce misérable, c'était aussi «contre n'importe qui»; et sûrement le sentiment filial ne lui avait pas crié: «C'est ton père que tu trahis». Depuis dix ans, en quelle occasion s'était-il affirmé et manifesté, ce sentiment filial? A bien chercher, il n'en trouvait pas une seule; le père avait un fils: le fils n'avait pas de père. Coûte que coûte, il fallait donc que l'auteur de cette trahison fût découvert, et que le doute ne pût pas rester suspendu au-dessus des innocents: pour cela la seule chose à faire était, semblait-il, celle à laquelle il s'était arrêté après sa cruelle nuit d'insomnie: recourir à Dantin, et pendant que celui-ci ferait son enquête à Paris, en faire une à Quevilly. Assurément sa répugnance à se servir de pareils moyens avait été profonde, et longtemps il avait hésité, balançant le pour et le contre; mais de quels autres pouvait-il disposer? Procéder soi-même à cette enquête, aller droit chez Victorien, l'interroger, le presser, de force lui arracher un aveu? Il ne fallait pas y songer. Victorien n'était-il pas le mensonge même? Qu'attendre de lui si ce n'est la tromperie la plus audacieuse? Quoi de plus effronté que cette histoire des cent mille francs perdus dans un cercle où il n'avait pas mis les pieds, et contre quelqu'un avec qui il n'avait pas joué? N'était-elle pas la preuve que tout lui était bon pour sortir d'embarras, même l'absurde?

Avec Dantin point de mensonges, puisqu'il n'y aurait pas d'interrogatoire; mais une enquête secrète et qui, jusqu'à un certain point aurait le caractère de celles de la justice. N'était-ce pas elle qui d'un moment à l'autre pouvait maintenant abattre sa main sur lui? (*Mère*).

8. Les ambitions d'un tyranneau de village.

C'était un homme intelligent que Simon Bellocq; cependant, malgré cette intelligence qui était vive, malgré sa volonté qui était tenace, il n'avait jamais pu apprendre à écrire. Il était arrivé, à force de persévérance et d'application, à signer son nom et même convenablement, en grands caractères qui ne manquaient pas de tournure; il était arrivé aussi à tracer ses chiffres de manière à noter les mesures qu'il prenait ou que les architectes lui donnaient, et à faire quelques opérations d'arithmétique; mais écrire une lettre, écrire un simple mot, si court qu'il fût, il ne l'avait jamais pu.

Son caractère insoumis n'avait pas su se plier à la discipline de l'école, et comme avec cela il s'était montré dispos au travail manuel, prêt à tout et toujours, la pauvreté de ses parents avait été faible: «Puisqu'il veut travailler de ses mains, ce garçon, il faut le laisser faire; son gain sera le bienvenu à la maison».

Pendant ses années de jeunesse, il n'avait pas souffert de son ignorance; ceux avec qui il était en relations n'en savaient guère plus que lui; on ne traitait pas les affaires par correspondence; il n'y avait pas d'ordres écrits à recevoir ou à donner; on n'avait ni carnet ni agenda. Même quand il avait commencé le métier d'entrepreneur de bâtisses il avait pu se passer de l'écriture. Quand il avait des mesures un peu compliquées à prendre et qui pouvaient se brouiller dans sa tête, si solide qu'elle fût, il inscrivait sur un bout de planche ramassé de ci de là les chiffres qui pouvaient lui servir de point de repère, et alors on le voyait passer par les rues du pays, les poches pleines de bouts de bois, qui étaient ses notes, au milieu desquelles il ne faisait jamais de confusion en distribuant le travail à ses ouvriers.

Mais il était arrivé un jour où les bouts de planche n'avaient plus été suffisants, où ceux à qui il avait affaire ne se contentaient pas de ces manières primitives et où il devait se montrer à la hauteur de sa fortune. C'était à ce moment qu'il avait voulu commencer à apprendre à signer son nom et aussi à écrire. Cela ne devait pas être bien difficile, lui semblait-il. Il avait bien appris la construction dont il ne savait pas le premier mot en arrivant à Saint-Maclou, et aussi le commerce des bois, de même celui des charbons, de même celui des vins

et alcools. Pourquoi, avec son intelligence dont il était sûr, n'apprendrait-il pas à écrire? Pourquoi, avec sa volonté, ne ferait-il pas ce que faisaient bien des gamins paresseux et distraits?

La seule difficulté qu'il voyait était dans le moyen d'apprendre, puisque c'était tout seul qu'il devait travailler. En effet, dans la position qu'il avait déjà acquise, avec l'importance qu'il prenait et qu'on ui donnait, il ne pouvait pas faire venir l'instituteur chez lui et lui demander des leçons d'écriture. Que n'eût-on pas dit dans le pays si on avait su que Bellocq, qu'on croyait être un homme si fort et à qui on reconnaissait tant de mérites, parce qu'il avait réussi tout ce qu'il avait entrepris, ne savait même pas signer son nom! Du coup il eût été perdu, et, sans retour possible, précipité des hauteurs où il était en train de monter. A qui eût-il inspiré confiance? A qui eût-il fait peur?—sa grande force. Déjà, à ce moment, il était président de la fanfare, commandant des pompiers; eût-il pu espérer devenir conseiller municipal et maire comme il voulait l'être un jour? Ce n'avait été que par des miracles d'adresse et de diplomatie qu'il avait pu cacher son ignorance; il n'allait donc pas l'avouer, même à un seul, si cher qu'il payât la discrétion de celui-là. Après avoir acheté des exemples d'écriture, il s'était donc mis à l'étude, tout seul, le soir, sa journée finie, portes closes. Ce n'était que du dessin, il en viendrait bien à bout.

Et de fait il en était venu à bout. Sa main, sa lourde main, habituée au mètre ou au fouet, s'était assouplie pour tenir la plume. Il en avait cassé bien des plumes, il en avait crevé bien des feuilles de papier, il en avait laissé tomber bien des pâtés; mais, enfin, il était arrivé à tracer assez couramment les sept lettres de son nom.

Quel affranchissement! Combien avait-il perdu d'argent parce qu'il avait été obligé, pour ne pas échanger un bon écrit, de dire à des gens dont il se défiait: «Entre honnêtes gens, la parole suffit!» Plus de ces ruses, plus de ces détours. Tout de suite il s'était appliqué à dessiner les mots indispensables dans le commerce: «pour acquit, fait double, bon pour, approuvé l'écriture;» et cela il l'avait réussi comme il avait déjà réussi sa signature.

C'était beaucoup pour lui, mais ce n'était pas tout; un simple ou un modeste qui aurait avoué son ignorance aurait pu se contenter de cela; mais justement il avait toutes les ambitions, celle de la fortune

aussi bien que celle de la position sociale; et il fallait qu'il fût l'homme de la haute position qu'il visait ou tout au moins qu'il parût être cet homme. Il s'était donc mis à étudier l'écriture courageusement. Chaque soir en rentrant, qu'il fût ou ne fût pas fatigué, il s'enfermait, et, sûr de n'être pas surpris, pendant des heures il labourait son papier, que le lendemain il faisait disparaître avec soin. Qu'eût-on pensé, qu'eût-on dit de lui si l'on avait trouvé un de ces devoirs d'écolier?

Mais ce n'est pas tout de copier un mot, il faut encore savoir comment écrire ce mot quand on ne le copie plus. Ce fut alors que se présenta devant lui une autre étude plus difficile et plus longue, celle de l'orthographe. Il l'entreprit; ayant acheté une grammaire, il se mit à l'apprendre; partout où il était seul et où il avait un moment de liberté, ne fût-ce que quelques minutes, il apprenait sa leçon ou bien il se la répétait. Alors, par les chemins, alors qu'on le croisait, ou bien dans les voitures, quand on était assis près de lui, on le voyait remuer les lèvres, dans une attitude recueillie et absorbée. «Nous avons rencontré Bellocq, se racontait-on; soyez sûr qu'il prépare quelque grosse affaire nouvelle. Il en a déjà pourtant bien assez sur les bras, de quoi occuper dix hommes.» La grosse affaire qu'il préparait ainsi, c'était l'accord de l'adjectif avec le substantif, ou bien la formation du pluriel dans les noms en *al*, au autres lois de cette importance.

C'est que pour lui cette importance était capitale. Il voulait être un monsieur, — un *mon sieurre*, comme il disait, — et les *mon sieurres* savent l'orthographe; c'est même à cela qu'on les reconnaît. Son ambition, en entrant dans la vie, avait été de gagner de l'argent; l'argent gagné, il avait voulu plus et mieux, la position sociale, les honneurs, le rang.

Il était de ceux qui, partant du dernier barreau de l'échelle, ne visent point tout de suite le premier; mais qui, après avoir atteint le second, montent au troisième, puis au quatrième, sans s'arrêter jamais. Pourquoi n'arriverait-il pas au plus haut? Ne se voyait-il pas plus intelligent et plus fort que ceux qui occupaient les situations qu'il voulait; plus intelligent que le maire qu'il avait cent fois roulé; plus fort que le conseiller général qui n'agissait que par lui? Pourquoi ne serait-il pas ce qu'ils étaient? Que lui manquait-il pour cela? Une seule chose: l'instruction; il l'acquerrait. Cela ne devait pas être plus difficile que d'acquérir la fortune.

Mais il était arrivé au contraire que cela était plus difficile. Après un an de travail acharné, il était moins avancé qu'en commençant; il n'avait acquis qu'une chose: le sentiment de son ignorance et de son impuissance; maintenant il savait par expérience, et non par une intuition plus ou moins vague, qu'il ne savait pas, et, ce qui était plus dur encore, il comprenait qu'il ne saurait jamais; plus il avait étudié moins il avait appris; tout se brouillait dans sa cervelle troublée, et au milieu des règles et des exceptions il se perdait sans qu'il lui fût possible de se retrouver.

Longtemps il avait lutté avant d'admettre cela, mais à la fin il avait dû s'avouer vaincu: il ne pouvait pas, il ne pourrait jamais apprendre l'orthographe.

Alors, pour la première fois de sa vie, il avait renoncé à poursuivre une chose entreprise; mais pour cela cependant il n'avait pas renoncé à ses ambitieuses visées: il serait quand même un *mon sieurre*, et puisqu'il ne pouvait pas mettre l'orthographe, il n'écrirait jamais: un autre écrirait pour lui; jamais on ne rirait de son écriture.

Cela décidé, il avait appelé près de lui son cousin, qui lui avait servi de commis et de secrétaire; puis quand il y avait eu rupture entre eux, il l'avait remplacé par deux commis: un pour les travaux de construction et pour le service des voitures, Paulin Morot; un autre pour le commerce de bois, des charbons, des ardoises et des liquides, appelé Victor Dedessuslamare, sans compter le secrétaire de la mairie chargé des affaires administratives.

Grâce à sa mémoire et à l'ordre méthodique qu'il savait mettre dans ses nombreuses affaires, les choses auraient marché à souhait s'il avait eu confiance en ses commis et s'il avait consenti à se livrer à eux franchement. Mais, justement, cela lui était impossible; jamais homme n'avait été moins confiant que lui, jamais moins franc; il se serait cru perdu s'il s'était livré.

Pour que ses commis ne connussent point ses affaires, et pour n'être point trahi par eux, il employait toutes sortes de moyens détournés qui faisaient honneur à son esprit de ruse, mais qui, par leurs complications, n'étaient pas toujours très pratiques: c'était ainsi que, pour une affaire grave intéressant la mairie, c'était Paulin Morot, le commis architecte, qui était chargé de la correspondance confidentielle,

tandis que, pour une affaire importante se rapportant à la construction, c'était Victor Dedessuslamare, le commis du commerce des charbons et des liquides, qui la traitait. Par ce procédé, chacun d'eux restait dans l'indécision, puisque celui qui connaissait le commencement d'une affaire n'en connaissait jamais la conclusion. Et comme avec cela il avait soin de les exciter les uns contre les autres, de manière à ce qu'ils ne fussent pas bien ensemble, il évitait les confidences, aussi bien que les indiscrétions.

Cependant, malgré toutes ces précautions, il ne se trouvait pas encore rassuré; soupçonneux, défiant, comme il l'était, il avait toujours peur; et c'était cette peur, c'était cette défiance qui lui avait donné l'idée d'employer Marichette: elle ne connaissait personne à Saint-Maclou; elle n'avait aucun intérêt dans le pays; elle ne savait rien de ses affaires; avec elle, une indiscrétion serait moins à craindre qu'avec tout autre. D'ailleurs il la dominerait par la crainte autant que par la reconnaissance; ne lui devait-elle pas tout.

(*Marichette.*)

GEORGES OHNET.

9. Avant le duel.

Dès le matin la baronne était venue rejoindre son amie. Elle l'avait trouvée, après l'agitation horrible de la nuit, dans un état de torpeur invincible. Madame de Préfont avait parlé à Claire, sans pouvoir obtenir une réponse. Les yeux fixes, la bouche crispée, le corps anéanti, la jeune femme restait accroupie sur sa chaise longue. Toute la vie semblait s'être concentrée dans le regard sombre, égaré, qui était rivé à quelque épouvantable vision. Un temps très long se passa ainsi. La sonnerie de la pendule, annonçant la marche des heures, faisait chaque fois tressaillir Claire. Sans ce mouvement, sans la clarté farouche de ses yeux, on eût pu la croire endormie. L'arrivée de son frère la tira de son anéantissement. Elle se rattacha passionnément à l'espérance de voir Philippe avant son départ. Fiévreuse, les joues marquées de deux taches rouges, d'une voix monotone et comme usée, elle chargea Octave d'obtenir de son mari cette faveur suprême. Et dès lors elle attendit, dans une reprise d'agitation éperdue, marchant sans cesse de la fenêtre, dont

elle soulevait le rideau pour voir si on ne l'avait pas trompée, et si Philippe ne partait pas, à la porte, auprès de laquelle elle écoutait si elle l'entendait venir. Anxieuse, énervée, et donnant à la baronne épouvantée le spectacle de la folie envahissante. Soudain un bruit de pas la fit reculer comme si elle eût craint de se trouver face à face avec celui qu'elle appelait de toute son âme. Elle pâlit, un cercle noir cerna ses yeux, d'un geste elle fit signe à la baronne de s'éloigner. Et elle resta debout, tremblante, sans voix. Philippe venait d'entrer. Ils restèrent l'un et l'autre en présence, muets. Lui, examinant avec douleur les traces que tant d'affreuses angoisses avaient laissées sur le visage de la jeune femme. Elle, qui, un instant avant, avait tant de choses à dire, cherchant à rassembler ses idées et, dans son cerveau douloureux, ne trouvant plus que le vide. Claire ne put supporter plus longtemps ce lourd silence, elle alla vers Philippe, saisit sa main entre les siennes et, poussant un horrible gémissement, elle la couvrit de larmes et de baisers. Le maître de forges s'attendait à une explication; il s'était préparé à entendre des prières. L'explosion toute physique de cette douleur, qu'il savait sincère, le bouleversa. Il voulut retirer sa main sur laquelle il sentait couler brûlants les pleurs de celle qu'il aimait. Il ne put y parvenir. Il frémit, se sentant sans forces contre tant de faiblesse...—Claire, dit-il d'une voix basse, par grâce!.. Vous me troublez profondément. J'ai besoin de tout mon sang-froid... Je vous en prie, calmez-vous... Soyez plus forte, ménagez-moi, si vous tenez à ma vie... A ces mots, Claire, releva la tête. L'expression de son visage n'était plus la même. Elle parut avoir pris une résolution subite.—Votre vie! dit-elle. Ah! plutôt donner cent fois la mienne! Misérable que je suis! C'est moi qui, par mon emportement, vous ai jeté dans le danger. Est-ce que je n'aurais pas dû tout supporter? En souffrant, j'expiais mes torts envers vous... Et dans une minute d'emportement j'ai tout oublié. Mais ce duel est insensé... il n'aura pas lieu, je saurai l'empêcher...—Et comment? demanda Philippe, le sourcil déjà froncé.—En sacrifiant mon orgueil à votre sécurité, répondit Claire. Oh! rien ne me rebutera, puisqu'il s'agit de vous... Je m'humilierai devant la duchesse, s'il le faut, j'irai trouver le duc... Il en est temps encore. Les traits du maître de forges se contractèrent. Je vous le défends! dit-il avec force. Vous portez mon nom, ne l'oubliez pas! Toute humiliation supportée par vous m'atteindrait moi-même. Et

puis, enfin, comprenez donc que je le hais cet homme qui a été cause de mon malheur! Depuis un an je rêve de me trouver face à face avec lui... Ah! croyez-moi, ce jour est le bienvenu! Claire baissa la tête. Depuis longtemps elle avait pris l'habitude d'obéir quand Philippe commandait. Lui, calmé par cette violente sortie, reprit avec douceur. —J'apprécie vos intentions et je vous en suis reconnaissant! Il y a eu, entre nous, au début de notre existence commune, un malentendu qui nous a coûté à l'un et à l'autre bien des peines. Je ne vous en fais pas seule responsable. Il y a eu de ma faute... Je n'ai pas su vous comprendre!.. Je n'ai pas su me sacrifier... Je vous aimais trop!.. Mais je ne veux pas m'éloigner en vous laissant la pensée que j'ai conservé pour vous de la rancune... Vous pouvez être en paix, Claire. A votre tour pardonnez-moi le mal que je vous ai fait, et dites-moi adieu... A ces mots, le visage de Claire resplendit. Et, tendant les mains vers le ciel dans un élan de reconnaissance passionnée:—Vous pardonner, moi! s'écria-t-elle. Mais vous ne voyez donc pas que je vous adore? Vous ne l'avez donc pas deviné depuis longtemps dans le trouble de ma voix, dans l'égarement de mes yeux? Elle s'était approchée de Philippe, et lui nouant ses beaux bras autour du cou, elle roulait sa tête blonde sur son épaule l'enivrant de son parfum, le brûlant de son regard. Elle parlait maintenant comme en rêve:—Ah! ne pars pas! Si tu savais comme je t'aime! Reste là, près de moi, tout à moi. Nous sommes si jeunes, nous avons tant de temps à être heureux! Que t'importent cet homme et cette femme qui nous haïssent? Nous les oublierons. Partons, veux-tu, loin d'eux? Là, ce sera le bonheur, la vie et l'amour. Philippe détacha doucement le bras qui l'enlaçait et, éloignant Claire:—Ici, dit-il simplement, c'est le devoir et l'honneur. La jeune femme poussa un gémissement. La réalité effrayante l'avait ressaisie. Elle revit, en un instant, le duc le pistolet au poing et riant, l'air mauvais. Elle voulut s'élancer, faire un dernier effort, retenir Philippe malgré lui. Elle cria:—Non!.. Non!... Au même moment, la porte s'ouvrit et Octave parut. Il adressa à Philippe un signe de tête et se retira. Claire comprit que l'instant du départ était venu. Ce fut comme si un voile qui obscurcissait son esprit avait été déchiré. Elle comprit que tout était fini. Et s'abattant sur la poitrine de son mari, elle le serra une dernière fois avec une force convulsive.—Adieu, murmura le maître de forges. Oh! ne me quittez pas ainsi! Pas

sur ce mot glacé! Dites-moi que vous m'aimez! Ne partez pas sans me l'avoir dit! Philippe demeura inébranlable. Il avait avoué qu'il pardonnait: il ne voulut pas dire qu'il aimait. Il éloigna Claire de lui, marcha vers la porte et, sur le point de sortir: — Priez Dieu que je revienne vivant! dit-il, lui jetant dans ces mots comme un suprême espoir.

Ce fut tout. La jeune femme poussa un cri qui fit accourir la baronne. La voiture qui emportait le maître de forges roula sourdement dans l'avenue.

(*Le Maître de forges*).

ALEXANDRE DUMAS.

10. **La mort d'un Titan.**

Au moment où Porthos, plus habitué à l'obscurité que tous ces hommes venant du jour, regardait autour de lui pour voir si, dans cette nuit, Aramis ne lui ferait pas quelque signal, il se sentit doucement toucher le bras, et une voix faible comme un souffle murmura tout bas à son oreille: — Venez. — Oh! fit Porthos. — Chut! dit Aramis encore plus bas. Et, au milieu du bruit de la troisième brigade qui continuait d'avancer, au milieu des imprécations des gardes restés debout, des moribonds râlant leur dernier soupir, Aramis et Porthos glissèrent inaperçus le long des murailles granitiques de la caverne. Aramis conduisit Porthos dans l'avant-dernier compartiment, et lui montra, dans un enfoncement de la muraille, un baril de poudre pesant de soixante à quatre-vingts livres, auquel il venait d'attacher une mèche. — Ami, dit-il à Porthos, vous allez prendre ce baril, dont je vais, moi, allumer la mèche, et vous le jetterez au milieu de nos ennemis; le pouvez-vous? — Parbleu! répliqua Porthos. Et il souleva le petit tonneau d'une seule main. — Allumez. — Attendez, dit Aramis, qu'ils soient bien tous massés, et puis, mon Jupiter, lancez votre foudre au milieu d'eux. — Allumez, répéta Porthos. — Moi, continua Aramis, je vais joindre nos Bretons et les aider à mettre le canot à la mer. Je vous attendrai au rivage; lancez ferme et accourez à nous. — Allumez, dit une dernière fois Porthos. — Vous avez compris? dit Aramis. — Parbleu! dit encore Porthos, en riant d'un rire qu'il n'essayait pas même d'éteindre; quand on m'explique, je comprends; allez, et donnez-moi le feu. Aramis donna

l'amadou brûlant à Porthos, qui lui tendit son bras à serrer à défaut de la main. Aramis serra de ses deux mains le bras de Porthos, et se replia jusqu'à l'issue de la caverne, où les trois rameurs l'attendaient. Porthos, demeuré seul, approcha bravement l'amadou de la mèche. L'amadou, faible étincelle, principe premier d'un immense incendie, brilla dans l'obscurité comme une luciole volante, puis vint se souder à la mèche, qu'il enflamma, et dont Porthos activa la flamme avec son souffle. La fumée s'était un peu dissipée, et, à la lueur de cette mèche pétillante, on put, pendant une ou deux secondes, distinguer les objets. Ce fut un court, mais splendide spectacle, que celui de ce géant, pâle, sanglant et le visage éclairé par le feu de la mèche qui brûlait dans l'ombre. Les soldats le virent. Ils virent ce baril qu'il tenait dans sa main. Ils comprirent ce qui allait se passer. Alors, ces hommes, déjà pleins d'effroi à la vue de ce qui s'était accompli, pleins de terreur en songeant à ce qui allait s'accomplir, poussèrent tous à la fois un hurlement d'agonie. Les uns essayèrent de s'enfuir, mais ils rencontrèrent la troisième brigade qui leur barrait le chemin; les autres, machinalement, mirent en joue et firent feu avec leurs mousquets déchargés; d'autres enfin tombèrent à genoux. Deux ou trois officiers crièrent à Porthos pour lui promettre la liberté s'il leur donnait la vie. Le lieutenant de la troisième brigade criait de faire feu; mais les gardes avaient devant eux leurs compagnons effarés qui servaient de rempart vivant à Porthos. Nous l'avons dit, cette lumière produite par le souffle de Porthos sur l'amadou et la mèche ne dura que deux secondes; mais, pendant ces deux secondes, voici ce qu'elle éclaira: d'abord, le géant grandissant dans l'obscurité; puis, à dix pas de lui, un amas de corps sanglants, écrasés, broyés, au milieu desquels vivait encore un dernier frémissement d'agonie, qui soulevait la masse, comme une dernière respiration soulève les flancs d'un monstre informe expirant dans la nuit. Chaque souffle de Porthos, en ravivant la mèche, envoyait sur cet amas de cadavres un ton sulfureux, coupé de larges tranches de pourpre. Outre ce groupe principal, semé dans la grotte, selon que le hasard de la mort ou la surprise du coup les avait étendus, quelques cadavres isolés semblaient menacer par leur blessures béantes. Au-dessus de ce sol pétri d'une fange de sang, montaient, mornes et scintillants, les piliers trapus de la caverne, dont les nuances, chaudement accentuées,

poussaient en avant les parties lumineuses. Et tout cela était vu au feu tremblotant d'une mèche correspondant à un baril de poudre, c'est-à-dire à une torche, qui, en éclairant la mort passée, montrait la mort à venir. Comme je l'ai dit, ce spectacle ne dura qu'une ou deux secondes. Pendant ce court espace de temps, un officier de la troisième brigade réunit huit gardes armés de mousquets, et, par une trouée, leur ordonna de faire feu sur Porthos. Mais ceux qui recevaient l'ordre de tirer tremblaient tellement, qu'à cette décharge trois hommes tombèrent, et que les cinq autres balles allèrent en sifflant rayer la voûte, sillonner la terre ou creuser les parois de la caverne. Un éclat de rire répondit à ce tonnerre; puis le bras du géant se balança, puis on vit passer dans l'air, pareille à une étoile filante, la traînée de feu. Le baril, lancé à trente pas, franchit la baricade de cadavres, et alla tomber dans un groupe hurlant de soldats qui se jetèrent à plat ventre. L'officier avait suivi en l'air la brillante traînée; il voulut se précipiter sur le baril pour en arracher la mèche avant qu'elle atteignît la poudre qu'il recélait. Dévouement inutile: l'air avait activé la flamme attachée au conducteur; la mèche, qui, en repos, eût brûlé cinq minutes, se trouva dévorée en trente secondes, et l'œuvre infernale éclata. Tourbillons furieux, sifflements de soufre et du nitre, ravages dévorants du feu qui creuse, tonnerre épouvantable de l'explosion, voilà ce que cette seconde, qui suivit les deux secondes que nous avons décrites, vit éclore dans cette caverne, égale en horreurs à une caverne de démons. Les rochers se fendaient comme des planches de sapin sous la cognée. Un jet de feu, de fumée, de débris, s'élança du milieu de la grotte, s'élargissant à mesure qu'il montait. Les grands murs de silex s'inclinèrent pour se coucher dans le sable, et le sable lui-même, instrument de douleur lancé hors de ses couches durcies, alla cribler les visages avec ses myriades d'atomes blessants. Les cris, les hurlements, les imprécations et les existences, tout s'éteignit dans un immense fracas; les trois premiers compartiments devinrent un gouffre dans lequel retomba un à un, suivant sa pesanteur, chaque débris végétal, minéral ou humain. Puis le sable et la cendre, plus légers, tombèrent à leur tour, s'étendant comme un linceul grisâtre, et fumant sur ces lugubres funérailles. Et maintenant, cherchez dans ce brûlant tombeau, dans ce volcan souterrain, cherchez les gardes du roi aux habits bleus galonnés d'argent.

Cherchez les officiers brillants d'or, cherchez les armes sur lesquelles ils avaient compté pour se défendre, cherchez les pierres qui les ont tués, cherchez le sol qui les portait. Un seul homme a fait de tout cela un chaos plus confus, plus informe, plus terrible que les chaos qui existait une heure avant que Dieu eût eu l'idée de créer le monde. Il ne resta rien des trois premiers compartiments, rien que Dieu lui-même pût reconnaître pour son ouvrage. Quant à Porthos, après avoir lancé le baril de poudre au milieu des ennemis, il avait fui, selon le conseil d'Aramis, et gagné le dernier compartiment, dans lequel pénétraient, par l'ouverture, l'air, le jour et le soleil. Aussi, à peine eut-il tourné l'angle qui séparait le troisième compartiment du quatrième, qu'il aperçut à cent pas de lui la barque balancée par les flots; là étaient ses amis; là était la liberté; là était la vie après la victoire. Encore six de ses formidables enjambées, et il était hors de la voûte; hors de la voûte, deux ou trois vigoureux élans, et il touchait au canot. Soudain, il sentit ses genoux fléchir: ses genoux semblaient vides, ses jambes mollissaient sous lui. — Oh! oh! murmura-t-il étonné, voilà que ma fatigue me reprend; voilà que je ne peux plus marcher. Qu'est-ce à dire? A travers l'ouverture, Aramis l'apercevait et ne comprenait pas pourquoi il s'arrêtait ainsi. — Venez, Porthos! criait Aramis, venez! venez vite! — Oh! répondit le géant en faisant un effort qui tendit inutilement tous les muscles de son corps, je ne puis. En disant ces mots, il tomba sur ses genoux; mais de ses mains robustes il se cramponna aux roches et se releva. — Vite! vite! répéta Aramis en se courbant vers le rivage, comme pour attirer Porthos avec ses bras. — Me voici, balbutia Porthos en réunissant toutes ses forces pour faire un pas de plus. — Au nom du ciel! Porthos, arrivez! arrivez! le baril va sauter! — Arrivez, Monseigneur, crièrent les Bretons à Porthos, qui se débattait comme dans un rêve. Mais il n'était plus temps: l'explosion retentit, la terre se crevassa, la fumée, qui s'élança par les larges fissures, obscurcit le ciel, la mer reflua comme chassée par le souffle de feu qui jaillit de la grotte comme de la gueule d'une gigantesque chimère; le reflux emporta la barque à vingt toises, toutes les roches craquèrent à leur base, et se séparèrent comme des quartiers sous l'effort des coins; on vit s'élancer une portion de la voûte enlevée au ciel comme par des fils rapides; le feu rose et vert du soufre, la noire

lave des liquéfactions argileuses, se heurtèrent et se combattirent un instant sous un dôme majestueux de fumée; puis on vit osciller d'abord, puis se pencher, puis tomber successivement les longues arêtes des rochers que la violence de l'explosion n'avait pu déraciner de leurs socles séculaires; il se saluaient les uns les autres comme des vieillards graves et lents, puis se prosternaient couchés à jamais dans leur poudreuse tombe. Cet effroyable choc parut rendre à Porthos les forces qu'il avait perdues; il se releva, géant lui-même entre ces géants. Mais, au moment où il fuyait entre la double haie de fantômes granitiques, ces derniers qui n'étaient plus soutenus par les chaînons correspondants, commencèrent à rouler avec fracas autour de ce Titan qui semblait précipité du ciel au milieu des rochers qu'il venait de lancer contre lui. Porthos sentit trembler sous ses pieds le sol ébranlé par ce long déchirement. Il étendit à droite et à gauche ses vastes mains pour repousser les rochers croulants. Un bloc gigantesque vint s'appuyer à chacune de ses paumes étendues; il courba la tête, et une troisième masse granitique vint s'appesantir entre ses deux épaules. Un instant, les bras de Porthos avaient plié; mais l'hercule réunit toutes ses forces, et l'on vit les deux parois de cette prison dans laquelle il était enseveli s'écarter lentement et lui faire place. Un instant, il apparut dans cet encadrement de granit comme l'ange antique du chaos; mais, en écartant les roches latérales, il ôta son point d'appui au monolithe, qui pesait sur ses fortes épaules, et le monolithe, s'appuyant de tout son poids, précipita le géant sur les genoux. Les roches latérales, un instant écartées, se rapprochèrent et vinrent ajouter leur poids primitif, qui eût suffi pour écraser dix hommes.

Le géant tomba sans crier à l'aide; il tomba en répondant à Aramis par des mots d'encouragement et d'espoir, car un instant, grâce au puissant arcboutant de ses mains, il put croire que, comme Encelade, il secouerait ce triple poids. Mais, peu à peu, Aramis vit le bloc s'affaisser; les mains crispées un instant, les bras raidis par un dernier effort, plièrent; les épaules tendues s'affaissèrent déchirées, et la roche continua de s'abaisser graduellement. — Porthos! Porthos! criait Aramis en s'arrachant les cheveux, Porthos, où es-tu? Parle! — Là! là; murmurait Porthos d'une voix qui s'éteignait; patience! patience! A peine acheva-t-il ce dernier mot: l'impulsion de la chute augmenta la

pesanteur; l'énorme roche s'abattit, pressée par les deux autres qui s'abattirent sur elle, et engloutit Porthos dans un sépulcre de pierres brisées. En entendant la voix expirante de son ami, Aramis avait sauté à terre. Deux des Bretons le suivirent un levier à la main, un seul suffisant pour garder la barque. Les derniers râles du vaillant lutteur les guidèrent dans les décombres. Aramis, étincelant, superbe, jeune comme à vingt ans, s'élança vers la triple masse, et de ses mains, délicates comme des mains de femme, leva par un miracle de vigueur un coin de l'immense sépulcre de granit. Alors, il entrevit dans les ténèbres de cette fosse l'œil encore brillant de son ami à qui la masse soulevée un instant venait de rendre la respiration. Aussitôt les deux hommes se précipitèrent se cramponnèrent au levier de fer, réunissant leur triple effort, non pas pour le soulever, mais pour le maintenir. Tout fut inutile: les trois hommes plièrent lentement avec des cris de douleur, et la rude voix de Porthos, les voyant s'épuiser dans une lutte inutile, murmura d'un ton railleur ces mots suprêmes venus jusqu'aux lèvres avec la suprême respiration: — Trop lourd! Après quoi, l'œil s'obcurcit et se ferma, le visage devint pâle, la main blanchit, et le Titan se coucha, poussant un dernier soupir. Avec lui s'affaissa la roche, que, même dans son agonie, il avait soutenue encore! Les trois hommes laissèrent échapper le levier, qui roula sur la pierre tumulaire. Puis, haletant, pâle, la sueur au front, Aramis écouta, la poitrine serrée, le cœur prêt à se rompre. Plus rien! Le géant dormait de l'éternel sommeil, dans le sépulcre que Dieu lui avait fait à sa taille.

(*Le Vicomte de Bragelonne*).

11. Waterloo.

En trois heures, nous eûmes traversé toute la belle forêt de Soignes, et nous arrivâmes à Mont-Saint-Jean. C'est là que vous attendent les ciceroni obligés, lesquels se disent tous les guides de Jérôme Bonaparte. Parmi les ciceroni, il y en a un qui est Anglais, et qui, patenté par son gouvernement, porte une médaille comme un commissionnaire. Quand ce sont des Français qui désirent visiter le champ de bataille, le pauvre diable ne vient pas même à eux, car il est habitué à en recevoir forte rebuffade. En échange, il a la pratique de tous les Anglais.

Nous prîmes le premier venu. J'avais un excellent plan de Waterloo, annoté par le duc d'Elchingen, qui croise à cette heure le sabre paternel avec le yatagan des Arabes. Je demandai donc d'aller droit au monument du prince d'Orange: si j'avais fait cent pas de plus en avant, je n'aurais pas eu besoin de guide pour cela; c'est la première chose que l'on aperçoit lorsqu'on a dépassé la ferme du Mont-Saint-Jean.

Nous gravîmes cette montagne faite de main d'homme, à l'endroit même où le prince d'Orange fut renversé d'une balle à l'épaule, comme il chargeait chevaleresquement, le chapeau à la main, à la tête de son régiment. C'est une espèce de pyramide ronde, de cent cinquante pieds de haut à peu près, et sur laquelle on monte par des escaliers taillés dans la terre et maintenus par des planches: toute la terre dont on l'a formée manque au sol qu'elle domine et change un peu l'aspect du champ de bataille, en donnant à cet endroit au ravin une raideur qu'il n'avait point. Au sommet de cette pyramide, un lion colossal, auquel nos soldats, en revenant d'Anvers, avaient déjà commencé de couper la queue quand on les arrêta, la patte posée sur une boule et la tête tournée vers l'Occident, menace la France. De la plate-forme qui s'étend autour de son piédestal, on plane sur tout le champ de bataille depuis Braine-l'alleud, point extrême qu'atteignit la division de Jérôme Bonaparte, jusqu'à la forêt de Frichermont, par laquelle déboucha Blücher et ses Prussiens; depuis Waterloo, qui a donné son nom à la bataille, sans doute parce qu'à ce village s'est arrêtée la déroute des Anglais, jusqu'à la ferme des Quatre-Bras, où Wellington coucha après la défaite de Ligny, et au bois de Bossu, où fut tué le prince de Brunswick. De ce point élevé, rien de plus facile que d'évoquer toutes ces ombres, tout ce bruit, toute cette fumée, éteints depuis vingt-cinq ans, et d'assister de nouveau à la bataille. Là, un peu au-dessus de la Haie-Sainte, à la place où l'on a élevé, depuis, quelques masures, contre un orme acheté deux cents francs par un Anglais, Wellington, une partie de la journée, est resté appuyé de l'autre côté de la route de Genappe à Bruxelles, et sur la même ligne tomba sir Thomas Picton, chargeant à la tête d'un régiment. Près de cet endroit s'élèvent les monuments de Gordon et des Hanovriens; au pied de la pyramide est le plateau même de Mont-Saint-Jean, qui s'élèverait à la hauteur à peu près des monu-

ments que nous venons de citer, si ce n'était à cet endroit même que, sur la surface de deux arpents, on a enlevé une couche de terre de dix pieds, afin l'élever la pyramide. C'est sur ce point, de la possession duquel dépendait le gain de la journée, que c'est concentré pendant trois heures le plus fort de sa bataille: là a eu lieu la charge des douze mille cuirassiers et dragons de Kellermann et de Milhaud. Poursuivi par eux de carrés en carrés, Wellington ne dut son salut qu'au courage impassible de ses soldats, qui se firent poignarder à leur poste, et tombèrent au nombre de dix mille sans reculer d'un pas; tandis que leur général, les larmes aux yeux et la montre à la main, reprenait bon espoir en calculant qu'il faudrait deux heures encore de temps matériel pour tuer ce qui en restait. Or, dans une heure, il attendait Blücher, et dans une heure et demie la nuit, second auxiliaire dont il était certain, au cas où le premier, arrêté par Grouchy, viendrait à lui manquer. Enfin, au delà du plateau touchant à la grande route, sont les bâtiments de la Haie-Sainte, pris et repris trois fois par Ney, qui, dans ces trois attaques, eut cinq chevaux tués sous lui.

Maintenant, en se tournant vers la France, celui qui regarde à sa droite verra au milieu d'un petit bois la ferme d'Hougoumont, que Napoléon avait fait dire à Jérôme de ne point abandonner, dût-il y rester lui et tous ses soldats. En face de lui la ferme de la Belle-Alliance, d'où Napoléon, après avoir quitté son observatoire situé dans le bois de Montplaisir, contempla pendant deux heures tout le champ de bataille, demandant à Grouchy ses bataillons vivants, comme Auguste demandait à Varus ses légions mortes. — A sa gauche, le ravin où Cambronne répondit non point *la garde meurt,* car dans notre rage de tout poétiser nous lui avons prêté une phrase qu'il n'a jamais dite, mais un seul mot de corps de garde, craché au visage du parlementaire; mot de moins bon goût peut-être, mais bien autrement soldatesque et énergique *): enfin, en avant de toute cette ligne, sur la grande route de Bruxelles, à l'endroit où le chemin forme une légère montée, il distinguera le point extrême jusqu'où s'avança Napoléon, lorsque voyant déboucher par la forêt de Frichermont Blücher et ses Prussiens, si impatiemment attendus par Wellington, il s'écria: «Ah! voilà enfin Grouchy, la bataille est à nous!» Ce fut son dernier cri d'espérance; une heure après, celui de sauve qui peut lui répondait de tous côtés.

*) Il paraît assuré aujourd'hui que Cambronne n'a prononcé ni l'un ni l'autre de ces deux mots historiques.

Puis si l'on veut voir en détail toute cette plaine aux sanglants souvenirs, dont on vient d'embrasser l'ensemble, on descendra de la pyramide, et, par le chemin de Frichermont à Braine-l'alleud on gagnera la route de Nivelle, qui conduira à la ferme d'Hougoumont, que l'on trouvera telle que Jérôme, rappelé à trois heures par Napoléon, la quitta, c'est-à-dire toute broyée par les douze pièces de canon de gros calibre que venait de lui amener le général Foy. Là, la destruction revit encore, et comme si la mort y avait passé la veille, rien n'a couvert les débris, nul n'a relevé les ruines; puis on vous montrera la pierre où, depuis, conduit par le même guide qu'il avait ce jour-là, Jérôme est venu s'asseoir, comme un autre Marius, sur les débris d'une autre Carthage.

De la ferme d'Hougoumont on ira à travers terre, si les moissons sont faites, jusqu'au bois de Montplaisir, où s'élevait l'observatoire de Napoléon, et de l'observatoire à la maison de Lacoste, guide de l'empereur. Trois fois, pendant la bataille, Napoléon revint de la Belle-Alliance à cette maison. Ce fut assis sur une petite éminence située à vingt pas d'elle, et qui domine le champ de bataille, que Jérôme joignit à trois heures de l'après-midi l'empereur; il était assis et avait à sa droite le maréchal Soult; le prince Jérôme prit sa gauche. Napoléon venait d'envoyer chercher Ney; il avait près de lui une bouteille de vin de Bordeaux et un verre plein, dans lequel, de temps en temps, il trempait machinalement ses lèvres. En voyant arriver Jérôme et Ney, tout couverts de poussière, de sueur et de sang, Napoléon sourit, car c'était ainsi qu'il aimait ses braves; puis, les yeux toujours fixés sur cette grande lutte dans laquelle jusque-là il avait l'avantage, il envoya chercher trois verres à la maison de Lacoste, un pour Soult, un pour Ney, un pour Jérôme; mais il n'y en avait que deux; il les remplit tous les deux de sa main, en présenta un à chacun de ses maréchaux, puis donna le sien à Jérôme.

Alors de cette voix douce qu'il savait si bien prendre dans l'occasion: «Ney, mon brave Ney, lui dit-il, le tutoyant pour la première fois depuis son retour de l'île d'Elbe, tu vas prendre les douze mille

hommes de Kellermann et de Milhaud, tu vas attendre avec eux que mes grognards t'aient rejoint; tu donneras le coup de boutoir, et alors, si Grouchy arrive, la journée sera à nous. Va!»

Ney donna le coup de boutoir, mais Grouchy n'arriva point.

De là il faut prendre la route de Genappe à Bruxelles, et on traversera la ferme de la Belle-Alliance, où Wellington et Blücher se rejoignirent après la journée; en continuant toujours on arrivera bientôt au point extrême jusqu'où s'avança Napoléon, et d'où il reconnut que ce n'était pas Grouchy mais Blücher qui arrivait pour gagner une bataille perdue, comme avait fait Desaix à Marengo, et on se trouvera juste entre la deuxième et la troisième attaque. En faisant cinquante pas à droite dans l'intérieur des terres, on sera sur l'emplacement même du carré où se jeta l'empereur; c'est là que Napoléon fit tout ce qu'il put pour se faire tuer. Chaque bordée anglaise emportait des rangs entiers autour de lui, et à chaque rang nouveau qui se reformait se replaçait Napoléon, que Jérôme tirait à lui par derrière, tandis qu'un brave général corse, le général Campi, revenait, à chaque fois et avec la même impassibilité, se mettre avec son cheval entre l'empereur et les batteries ennemies; enfin, après trois quarts d'heure de carnage, Napoléon se retourna vers son frère: «Allons, lui dit-il, il paraît que la mort ne veut pas encore de moi; Jérôme, je te donne le commandement de l'armée, je suis fâché de t'avoir connu si tard». Puis il lui tendit la main, monta sur un cheval qu'on lui présentait, passa comme par miracle au milieu de l'ennemi, arrive à Genappe, s'y arrête un instant, essaie de rallier l'armée; puis, voyant ses tentatives inutiles, remonte à cheval, et arrive à Laon dans la nuit du 19 au 20.

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis cette époque, et ce n'est que d'aujourd'hui seulement que la France commence à comprendre que cette défaite était nécessaire à la liberté européenne; mais elle n'en a pas moins conservé au fond du cœur une douleur et une rage profondes d'avoir été marquée pour victime; aussi, dans cette plaine où tant de Spartiates tombèrent pour elle, au milieu de la pyramide du prince d'Orange, du tombeau du colonel Gordon et du monument des Hanovriens, on cherche vainement une pierre, une croix, une inscription qui rappelle la France...

(*Excursions sur les bords du Rhin*).

ALEXANDRE DUMAS (FILS).

12. Paradoxe idéalisé.

Certes, *Manon Lescaut* est une touchante histoire dont pas un détail ne m'est inconnu, et cependant lorsque je trouve ce volume sous ma main, ma sympathie pour lui m'attire toujours, je l'ouvre et pour la centième fois je revis avec l'héroïne de l'abbé Prévost. Or, cette héroïne est tellement vraie, qu'il me semble l'avoir connue. Dans ces circonstances nouvelles, l'espèce de comparaison faite entre elle et Marguerite donnait pour moi un attrait inattendu à cette lecture, et mon indulgence s'augmenta de pitié, presque d'amour pour la pauvre fille à l'héritage de laquelle je devais ce volume. Manon était morte dans un désert, il est vrai, mais dans les bras de l'homme qui l'aimait avec toutes les énergies de l'âme, qui, morte, lui creusa une fosse, l'arrosa de ses larmes et y ensevelit son cœur; tandis que Marguerite, pécheresse comme Manon, et peut-être convertie comme elle, était morte au sein d'un luxe somptueux, s'il fallait en croire ce que j'avais vu, dans le lit de son passé, mais aussi au milieu de ce désert du cœur, bien plus aride, bien plus vaste, bien plus impitoyable que celui dans lequel avait été enterrée Manon. Marguerite, en effet, comme je l'avais appris de quelques amis informés des dernières circonstances de sa vie, n'avait pas vu s'asseoir une réelle consolation à son chevet, pendant les deux mois qu'avait duré sa lente et douloureuse agonie. Puis de Manon et de Marguerite ma pensée se reportait sur celles que je connaissais et que je voyais s'acheminer en chantant vers une mort presque toujours invariable. Pauvres créatures! Si c'est un tort de les aimer, c'est bien le moins qu'on les plaigne. Vous plaignez l'aveugle qui n'a jamais vu les rayons du jour, le sourd qui n'a jamais entendu les accords de la nature, le muet qui n'a jamais pu rendre la voix de son âme, et, sous un faux prétexte de pudeur, vous ne voulez pas plaindre cette cécité du cœur, cette surdité de l'âme, ce mutisme de la conscience qui rendent folle la malheureuse affligée et qui la font malgré elle incapable de voir le bien, d'entendre le Seigneur et de parler la langue pure de l'amour et de la foi. Hugo a fait *Marion Delorme*, Musset a fait *Bernerette*, Alexandre Dumas a fait *Fernande*, les penseurs et les poètes de tous les temps ont apporté à la courtisane l'offrande de leur miséricorde, et quelquefois un grand homme les a réhabilitées

de son amour et même de son nom. Si j'insiste ainsi sur ce point, c'est que parmi ceux qui vont me lire, beaucoup peut-être sont déjà prêts à rejeter ce livre, dans lequel ils craignent de ne voir qu'une apologie du vice et de la prostitution, et l'âge de l'auteur contribue sans doute encore à motiver cette crainte. Que ceux qui penseraient ainsi se détrompent, et qu'ils continuent, si cette crainte seule les retenait. Je suis tout simplement convaincu d'un principe qui est que: Pour la femme à qui l'éducation n'a pas enseigné le bien Dieu ouvre presque toujours deux sentiers qui l'y ramènent; ces sentiers sont la douleur et l'amour. Ils sont difficiles; celles qui s'y engagent s'y ensanglantent les pieds, s'y déchirent les mains, mais elles laissent en même temps aux ronces de la route les parures du vice et arrivent au but avec cette nudité dont on ne rougit pas devant le Seigneur. Ceux qui rencontrent ces voyageuses hardies doivent les soutenir et dire à tous qu'ils les ont rencontrées, car en le publiant ils montrent la voie. Il ne s'agit pas de mettre tout bonnement à l'entrée de la vie deux poteaux, portant l'un cette inscription *Route du bien*, l'autre cet avertissement: *Route du mal*, et dire à ceux qui se présentent: Choisissez; il faut, comme le Christ, montrer des chemins qui ramènent de la seconde route à la première ceux qui s'étaient laissé tenter par les abords; et il ne faut pas surtout que le commencement de ces chemins soit trop douloureux, ni paraisse trop impénétrable. Le christianisme est là avec sa merveilleuse parabole de l'enfant prodigue pour nous conseiller l'indulgence et le pardon. Jésus était plein d'amour pour ces âmes blessées par les passions des hommes, et dont il aimait à panser les plaies en tirant le baume qui devait les guérir des plaies elles-mêmes. Ainsi, il disait à Madeleine: «Il te sera beaucoup remis parce que tu as beaucoup aimé», sublime pardon qui devait éveiller une foi sublime. Pourquoi nous ferions-nous plus rigides que le Christ? Pourquoi, nous en tenant obstinément aux opinions de ce monde qui se fait dur pour qu'on le croie fort, rejetterions-nous avec lui des âmes saignantes souvent de blessures par où, comme le mauvais sang d'un malade, s'épanche le mal de leur passé, et n'attendant qu'une main amie qui les panse et leur rende la convalescence du cœur? C'est à ma génération que je m'adresse, à ceux pour qui les théories de M. de Voltaire n'existent heureusement plus, à ceux qui, comme moi, comprennent que l'humanité est depuis quinze ans dans un de ses plus audacieux élans. La science du bien et du mal est à jamais acquise; la foi se reconstruit, le respect des choses saintes nous est rendu, et si le monde ne se fait pas tout à fait bon, il se fait du moins meilleur. Les efforts de tous les hommes intelligents tendent au même but, et toutes les grandes volontés s'attellent au même principe: soyons bons, soyons vrais! Le mal n'est qu'une vanité, ayons l'orgueil du bien, et surtout ne désespérons pas. Ne méprisons pas la femme qui n'est ni mère, ni sœur, ni fille, ni épouse. Ne réduisons pas l'estime à la famille, l'indulgence à l'égoïsme. Puisque le ciel est plus en joie pour le repentir d'un pécheur que pour cent justes qui n'ont jamais péché, essayons de réjouir le ciel. Il peut nous le rendre avec usure. Laissons sur notre chemin l'aumône de notre pardon à ceux que les désirs terrestres ont perdus, que sauvera peut-être une espérance divine, et, comme disent les bonnes vieilles femmes quand elles conseillent un remède de leur façon, si cela ne fait pas de bien, cela ne peut pas faire de mal. Certes, il doit paraître bien hardi à moi de vouloir faire sortir ces grands résultats du mince sujet que je traite; mais je suis de ceux qui croient que tout est dans peu. L'enfant est petit, et il renferme l'homme; le cerveau est étroit, et il abrite la pensée; l'œil n'est qu'un point, et il embrasse des lieues.

(*La Dame aux Camélias*).

GEORGE SAND.

13. La prière du soir.

Petit-Pierre s'était soulevé et regardait autour de lui d'un air tout pensif.—Ah! il n'en fait jamais d'autre quand il entend manger, celui-là! dit Germain: le bruit du canon ne le réveillerait pas, mais quand on remue les mâchoires auprès de lui, il ouvre les yeux tout de suite. — Vous avez dû être comme ça à son âge, dit la petite Marie avec un sourire malin. Allons, mon Petit-Pierre, tu cherches ton ciel de lit? Il est fait de verdure, ce soir, mon enfant; mais ton père n'en soupe pas moins. Veux-tu souper avec lui? Je n'ai pas mangé ta part; je me doutais bien que tu la réclamerais! — Marie, je veux que tu manges, s'écria le laboureur, je ne mangerai plus. Je suis un vorace, un grossier: toi, tu te prives pour nous, ce n'est pas juste, j'en ai honte. Tiens, ça

m'ôte la faim; je ne veux pas que mon fils soupe, si tu ne soupes pas. — Laissez-nous tranquilles, répondit la petite Marie, vous n'avez pas la clef de nos appétits. Le mien est fermé aujourd'hui, mais celui de votre Pierre est ouvert comme celui d'un petit loup. Tenez, voyez comme il s'y prend! Oh! ce sera aussi un rude laboureur! En effet, Petit-Pierre montra bientôt de qui il était fils, et à peine éveillé, ne comprenant ni où il était, ni comment il y était venu, il se mit à dévorer. Puis, quand il n'eut plus faim, se trouvant excité comme il arrive aux enfants qui rompent leurs habitudes, il eut plus d'esprit, plus de curiosité et plus de raisonnement qu'à l'ordinaire. Il se fit expliquer où il était, et quand il sut que c'était au milieu d'un bois, il eut un peu peur. — Y a-t-il des méchantes bêtes dans ce bois? demanda-t-il à son père. — Non, fit le père, il n'y en a point. Ne crains rien. — Tu as donc menti quand tu m'as dit que si j'allais avec toi dans les grands bois les loups m'emporteraient? — Voyez-vous ce raisonnement: dit Germain embarrassé. — Il a raison, reprit la petite Marie, vous lui avez dit cela: il a bonne mémoire, il s'en souvient. Mais apprends, mon Petit-Pierre, que ton père ne ment jamais. Nous avons passé les grands bois pendant que tu dormais, èt nous sommes à présent dans les petits bois, où il n'y a pas de méchantes bêtes. — Les petits bois sont-ils bien loin des grands? — Assez loin; d'ailleurs les loups ne sortent pas des grands bois. Et puis, s'il en venait ici, ton père les tuerait. — Et toi aussi, petite Marie? — Et nous aussi, car tu nous aiderais bien, mon Pierre? Tu n'as pas peur, toi? Tu taperais bien dessus! — Oui, oui, dit l'enfant enorgueilli, en prenant une pose héroïque, nous les tuerions! — Il n'y a personne comme toi pour parler aux enfants, dit Germain à la petite Marie, et pour leur faire entendre raison. Il est vrai qu'il n'y a pas longtemps que tu étais toi-même un petit enfant, et tu te souviens de ce que te disait ta mère. Je crois bien que plus on est jeune, mieux on s'entend avec ceux qui le sont. J'ai grand'peur qu'une femme de trente ans, qui ne sait pas encore ce que c'est que d'être mère, n'apprenne avec peine à babiller et à raisonner avec des marmots. — Pourquoi donc pas, Germain? Je ne sais pourquoi vous avez une mauvaise idée touchant cette femme; vous en reviendrez! — Au diable la femme! dit Germain. Je voudrais en être revenu pour n'y plus retourner. Qu'ai-je besoin d'une femme que je ne connais pas? — Mon petit père,

dit l'enfant, pourquoi donc est-ce que tu parles toujours de ta femme aujourd'hui, puisqu'elle est morte?... — Hélas! tu ne l'as donc pas oubliée toi, la pauvre chère mère? — Non, puisque je l'ai vu mettre dans une belle boîte de bois blanc, et que ma grand'mère m'a conduit auprès pour l'embrasser et lui dire adieu!.. Elle était toute blanche et toute froide, et tous les soirs ma tante me fait prier le bon Dieu pour qu'elle aille se réchauffer avec lui dans le ciel. Crois-tu qu'elle y soit, à présent? — Je l'espère, mon enfant; mais il faut toujours prier, ça fait voir à ta mère que tu l'aimes. — Je vas dire ma prière, reprit l'enfant; je n'ai pas pensé à la dire ce soir. Mais je ne peux pas la dire tout seul; j'en oublie toujours un peu. Il faut que la petite Marie m'aide. — Oui, mon Pierre, je vais t'aider, dit la jeune fille. Viens là, te mettre à genoux sur moi. — L'enfant s'agenouilla sur la jupe de la jeune fille, joignit ses petites mains, et se mit à réciter sa prière, d'abord avec attention et ferveur, car il savait très bien le commencement; puis avec plus de lenteur et d'hésitation, et enfin répétant mot à mot ce que lui dictait la petite Marie, lorsqu'il arriva à cet endroit de son oraison, où le sommeil le gagnant chaque soir, il n'avait jamais pu l'apprendre jusqu'au bout. Cette fois encore, le travail de l'attention et la monotonie de son propre accent produisirent leur effet accoutumé, il ne prononça plus qu'avec effort les dernières syllabes, et encore après se les être fait répéter trois fois; sa tête s'appesantit et se pencha sur la poitrine de Marie: ses mains se détendirent, se séparèrent et retombèrent ouvertes sur ses genoux. A la lueur du feu du bivouac, Germain regarda son petit ange assoupi sur le cœur de la jeune fille, qui, le soutenant dans ses bras et réchauffant ses cheveux blonds de sa pure haleine, s'était laissée aller aussi à une rêverie pieuse, et priait mentalement pour l'âme de Catherine. Germain fut attendri, chercha ce qu'il pourrait dire à la petite Marie pour lui exprimer ce qu'elle lui inspirait d'estime et de reconnaissance, mais ne trouva rien qui pût rendre sa pensée. Il s'approcha d'elle pour embrasser son fils qu'elle tenait toujours pressé contre son sein, et il eut peine à détacher ses lèvres du front du petit Pierre. — Vous l'embrassez trop fort, lui dit Marie en repoussant doucement la tête du laboureur, vous allez le réveiller. Laissez-moi le recoucher, puisque le voilà reparti pour les rêves du paradis. L'enfant se laissa coucher, mais en s'étendant sur la peau de chèvre du bât, il demanda

s'il était sur la Grise. Puis, ouvrant ses grands yeux bleus, et les tenant fixés vers les branches pendant une minute, il parut rêver tout éveillé, ou être frappé d'une idée qui avait glissé dans son esprit durant le jour, et qui s'y formulait à l'approche du sommeil. «Mon petit père, dit-il, si tu veux me donner une autre mère, je veux que ce soit la petite Marie». Et, sans attendre de réponse, il ferma les yeux et s'endormit.

(La mare au diable).

14. Paysanne et jacobin.

— Parlez-moi de cela, monsieur Costejoux. Je veux d'abord comprendre comment et pourquoi tout vous semble perdu, à vous que j'ai vu si plein d'espoir quand vous disiez et quand vous écriviez: «Encore quelques semaines d'énergie et de rigueur, et puis nous entrerons dans le règne de la justice et de la fraternité. Avez-vous cru réellement que vous pourriez vous réconcilier avec les timides, après les avoir tant effrayés, et avec les royalistes, après les avoir tant fait souffrir? Moi, je crois que les hommes ne pardonnent jamais la peur qu'on leur a faite.

— Je le sais, reprit-il vivement. Je ne le sais que trop à présent! Les modérés nous haïssent plus mortellement encore que les royalistes, car ceux-ci ne sont point lâches. Ils montrent, au contraire, une audace que l'on croyait avoir vaincue. Costumés ridiculement et affectant, pour se distinguer de nous, des airs efféminés, ils s'intitulent *muscadins et jeunesse dorée;* à l'heure qu'il est, ils se montrent dans Paris avec de grosses cannes qu'ils feignent de porter mollement et avec lesquelles ils engagent chaque jour des rixes sanglantes avec les patriotes. Ils sont cruels, plus cruels que nous! ils assassinent dans les rues, sur les chemins; ils massacrent dans les prisons. Ils poussent à l'anarchie par le crime, le vice, la débauche et le vol à main armée. Ils espèrent ramener la monarchie en égorgeant la République, et ne se cachent guère du dessein d'égorger la France pour la forcer de leur appartenir à tout prix.

— Hélas! monsieur Costejoux, vous ne raisonniez pas comme cela, je le sais bien, mais comment agissiez-vous! La violence a autorisé la violence. Vous ne l'aimiez pas, vous; mais vos amis l'aimaient et vous

le savez bien, à présent que l'on connaît ce qui s'est passé à Nantes, à Lyon et ailleurs. Vrai! vous aviez donné des pouvoirs atroces à des monstres, vous avez ouvert les yeux trop tard et vous en portez la peine. Le peuple déteste les jacobins parce qu'ils ont pesé sur tout le monde, tandis qu'il s'occupe peu des royalistes d'à présent qui ne s'attaquent qu'à vous. S'ils font les crimes que votre parti a faits, s'ils égorgent des innocents et massacrent des prisonniers, j'entends dire chez nous que c'est pour tuer la Terreur qui leur a donné l'exemple et que tous les moyens sont bons pour en finir. N'est-ce point ce que vous disiez, vous autres, et ne vous êtes-vous pas imaginé que, pour épurer la République, il fallait abattre les trois quarts de la France par l'échafaud, la guerre, l'exil et la misère qui a fait périr encore plus de monde? Ne vous fâchez pas contre moi; si je me trompe, reprenez-moi; mais je vous dis ce que j'entends dire et ce à quoi je n'ai rien trouvé à répondre.

Je vis que je lui faisais de la peine, car il ne dit rien pendant un moment, et puis, tout à coup, il reprit le ton de colère que je lui avais vu prendre à Limoges au milieu de la Terreur:

— Oui! dit-il, c'est notre destinée d'être jugés comme cela! Nous avons assumé sur nous tous les reproches, toutes les hontes de la Révolution. Je le sais, je le sais! Nous serons des infâmes, des bêtes féroces, des tyrans, pour avoir voulu sauver la France. Notre châtiment est commencé! le peuple, à qui nous avons tout sacrifié, pour qui nous avons forcé notre nature jusqu'à être sans scrupule et sans pitié, cette cause sublime à laquelle nous avons immolé nos sentiments d'humanité, notre réputation, et jusqu'à notre conscience légale, c'est là ce qui se tourne contre nous; c'est le peuple qui nous livrera à nos ennemis implacables, c'est lui qui, dans l'avenir, maudira notre mémoire et haïra en nous le nom sacré de la République. Voilà ce que nous aurons gagné à vouloir donner aux hommes une société fondée sur l'égalité fraternelle et une religion basée sur la raison.

Eh bien, cela vous étonne, monsieur Costejoux, parce que, vous, grand cœur d'homme, vous n'avez pas eu d'autre idée. Mais, pour trois ou quatre qui pensent comme cela, il y a eu trois ou quatre mille, peut-être plus, qui n'ont pas songé à autre chose que contenter leur vieille haine et leur ancienne jalousie contre la noblesse... Ah! laissez-moi dire, je n'attaque pas ceux que vous estimez, vous les connaissez,

vous répondriez d'eux. Le mot de votre parti n'est pas la haine et la vengeance, je le veux bien, je ne sais pas, moi! La chose dont je suis sûre, c'est que, si on eût fait la Révolution sans se détester les uns les autres, elle aurait réussi. Nous la comprenions, nous l'aimions et nous l'aidions au commencement. Vous l'aviez fait durer si vous n'aviez pas permis les persécutions et tout ce qui a troublé la conscience des simples. Vous avez cru qu'il le fallait. Eh bien, vous vous êtes trompés, et, à présent que vous le sentez, vous tâchez de vous en consoler en disant que l'indulgence eût tout perdu. Vous n'en savez rien, puisque vous n'en avez point essayé. C'est l'effet de vos colères qui a tout perdu, et vous ne pouvez pas vous résigner comme nous autres, bonnes gens du peuple, qui n'avons haï et maltraité personne.

Il voulait riposter; mais, quand il était fâché, les lèvres lui tremblaient comme aux personnes vives qui ont le cœur bon. Moi, je voulais lui dire tout ce que j'avais dans la conscience, afin que, si mes idées le blessaient, il pût défaire notre marché.

— Vous voulez me dire, repris-je, que c'est la rage du peuple qui vous a emportés et poussés à la vengeance des longues misères qu'il avait endurées. Je sais, pour l'avoir entendu assez déplorer chez nous, que c'est le peuple de Paris et des grandes villes qui vous pousse et qui vous mène, parce que vous demeurez dans les villes, vous autres gens d'esprit et de savoir. Vous croyez connaître le paysan quand vous connaissez l'ouvrier des faubourgs et des banlieues, et, dans le nombre de ces ouvriers moitié paysans, moitié artisans, vous ne faites attention qu'à ceux qui crient et remuent. Cela vous suffit; vous pensez pouvoir les compter quand ils sont dehors comme un troupeau s'excitant les uns les autres. Vous ne les voyez point rentrés chez eux et parlant des choses qu'ils ont faites sans les comprendre. Vous causez avec quelques-uns qui vous suivent parce qu'ils veulent de vous quelque chose, des emplois, des récompenses, ou ce qu'ils aiment mieux que tout parce que ces gens sont vaniteux, de l'autorité sur les autres. J'ai vu cela, moi, j'ai vu à Châteauroux comme on entourait les représentants envoyés de Paris, et Dumont entendait comme on les jugeait, ces quémandeux de pouvoir, dans la rue et sur la porte des maisons. Tout ça, voyez-vous, c'était une cour et un cortège que l'on faisait aux maîtres de la République pour en obtenir ce qu'on voulait, et, si un archevêque ou un prince fût venu à la place, c'eût été les mêmes cris et les mêmes flatteries. Vous qui avez cent fois plus d'esprit que nous, vous avez été tout de même dupe de ces intrigants d'en bas que vous receviez, non sans dégoût, à votre table, et que vous supportiez parce qu'ils vous disaient: «Je réponds de ma rue, de mon faubourg, de ma corporation».

Ils vous trompaient pour se rendre importants et nécessaires. Ils ne pouvaient répondre de rien et vous l'avez bien vu, quand, outrés de leur méchanceté et de leurs pilleries, vous avez dû les punir pour contenter la justice de votre cœur et celle du peuple indigné. Voilà votre malheur et celui de vos amis, monsieur Costejoux; vous croyez connaître le peuple parce que vous vous jetez résolument au beau milieu de ce qu'il a de plus mauvais et de plus terrible, et vous n'en connaissez que la lie, et vous croyez que le peuple tout entier est féroce et affamé de vengeance. Alors, vous travaillez pour le consentement des pires et vous ne vous doutez pas du blâme des meilleurs. Vous jugez ceux-ci timides et mauvais patriotes parce qu'ils ne vont pas en bonnets rouges vous tutoyer et vous caresser. Moi, je dis que ces modérés si méprisés ont été meilleurs patriotes que les autres, puisqu'ils vous ont supportés pour ne point nuire à la défense du pays. Ce qu'il faudrait connaître, ce qu'il faudrait entendre, voyez-vous, c'est ce qui se dit tout bas, et c'est là ce que vous ne savez jamais, puisque vous ne vivez qu'au milieu des déclamations ou des hurlements. Quand vous l'apprenez, il est trop tard. Aujourd'hui voilà que les hurleurs et les malfaiteurs du parti ennemi prennent la place des vôtres, et le peuple triste et silencieux vous abandonne à leur colère. C'est alors que vous êtes forcés de compter les têtes et de voir que le grand nombre est contre vous, et cela vous étonne! Vous dites que le peuple est lâche et ingrat. Eh bien, moi qui en suis, de ce pauvre peuple, moi qui vous aime et qui vous dois la vie d'Émilien, c'est-à-dire plus que la mienne, je vous dis: Vous vous êtes égaré dans une forêt où la nuit vous a surpris et où vous avez pris le sentier d'épines pour le grand chemin. Pour en sortir, il vous a fallu vous battre avec les loups et vous arrivez au jour, tout étonné de voir que vous avez reculé au lieu d'avancer, que vous avez marché avec les bêtes sauvages et que la foule des hommes s'est rangée de l'autre côté. A présent, les royalistes auront

beau jeu; plus méchants que vous, je ne dis pas non, ils ne feront pourtant pas pire que vous. Ils auront leurs flatteurs, leurs intrigants, leurs égorgeurs, leur vilain monde à part, qui les trompera comme vous avez été trompés: et, à leur tour, ils perdront la partie. Qui la gagnera? Ce sera le premier venu, pourvu que la guerre civile finisse et que chacun puisse vivre chez lui sans craindre d'être dénoncé, emprisonné et guillotiné le lendemain. Et ce n'est pas parce que le monde est royaliste ou girondin, ou égoïste ou poltron; ce n'est pas non plus parce qu'on a besoin de repos que cela arrivera. Les bons soldats n'ont pas manqué pour les armées, parce que, de ce côté-là, le devoir est net et la cause bonne. Ce dont on est las, c'est d'être forcé de se méfier, de se haïr et de voir périr des innocents sans pouvoir les assister. On est fatigué aussi de ne point travailler. Pour le paysan, c'est la pire fatigue, et ce ne sont point vos secours, vos allègements et vos aumônes qui le consolent et le dédommagent du temps perdu. Il a un grand courage et une grande bonté de cœur dont vous n'avez pas connu l'emploi. Pris séparément, il a bien des défauts, mais je vais vous parler comme il parle: si vous pouviez mettre en un tas ce qu'il y a de moralité, plus ou moins, dans le cœur de chacun, vous verriez une montagne qui vous ferait peur, parce que vous n'avez point voulu la voir et parce qu'il vous faut renoncer à l'abattre.

J'avais parlé vivement, en marchant par la chambre, en tisonnant le feu, en prenant et quittant mon ouvrage; je m'étais montée plus que je ne l'avais prévu, et je ne voulais point regarder M. Costejoux pour ne pas perdre le courage d'aller jusqu'au bout de mes idées. Je crois que j'en aurais trouvé encore à dire, mais il en avait assez, lui. Il se leva, me prit le bras et le serra jusqu'à me faire mal, en disant:

— Tais-toi, paysanne! tu ne vois donc pas que tu m'assassines?

(*Nanon*).

15. Symphonie sur les lagunes.

Les plaisirs inattendus sont les seuls plaisirs de ce monde. Hier je voulais aller voir lever la lune sur l'Adriatique; jamais je ne pus décider Catullo le père à me conduire au rivage du Lido. Il prétendait, ce qu'ils prétendent tous quand ils n'ont pas envie d'obéir, qu'il avait l'eau et le vent contraires. Je donnai de tout mon cœur le docteur au diable pour m'avoir envoyé cet asthmatique qui rend l'âme à chaque coup de rame, et qui est plus babillard qu'une grive quand il est ivre. J'étais de la plus mauvaise humeur du monde quand nous rencontrâmes, en face de la Salute, une barque qui descendait doucement vers le Grand-Canal en répandant derrière elle, comme un parfum, les sons d'une sérénade délicieuse. — Tourne la proue, dis-je au vieux Catullo; tu auras au moins, j'espère, la force de suivre cette barque. Une autre barque, qui flânait par là, imita mon exemple, puis une seconde, puis une autre encore, puis enfin toutes celles qui humaient le frais sur le canalazzo, et même plusieurs qui étaient vacantes, et dont les gondoliers se mirent à cingler vers nous en criant: *Musica! musica!* d'un air aussi affamé que les Israélites appelant la manne dans le désert. En dix minutes, une flottille s'était formée autour des dilettanti; toutes les rames faisaient silence, et les barques se laissaient couler au gré de l'eau. L'harmonie glissait mollement avec la brise, et le hautbois soupirait si doucement, que chacun retenait sa respiration de peur d'interrompre les plaintes de son amour. Le violon se mit à pleurer d'une voix si triste et avec un frémissement tellement sympathique, que je laissai tomber ma pipe, et que j'enfonçai ma casquette jusqu'à mes yeux. La harpe fit alors entendre deux ou trois gammes de sons harmoniques qui semblaient descendre du ciel et promettre aux âmes souffrantes sur la terre les consolations et les caresses des anges. Puis le cor arriva comme du fond des bois· et chacun de nous crut voir son premier amour venir du haut des forêts du Frioul et, s'approcher avec les sons joyeux de la fanfare. Le hautbois lui adressa des paroles plus passionnées que celles de la colombe qui poursuit son amant dans les airs. Le violon exhala les sanglots d'une joie convulsive; la harpe fit vibrer généreusement ses grosses cordes, comme les palpitations d'un cœur embrasé, et les sons des quatre instruments, s'étreignirent comme des âmes bienheureuses qui s'embrassent avant de partir ensemble pour les cieux. Je recueillis leurs accents, et mon imagination les entendit encore après qu'ils eurent cessé. Leur passage avait laissé dans l'atmosphère une chaleur magique, comme si l'amour l'avait agitée de ses ailes.

Il y eut quelques instants de silence que personne n'osa rompre. La barque mélodieuse se mit à fuir comme si elle eût voulu nous

échapper; mais nous nous élançâmes sur son sillage. On eût dit une troupe de pétrels se disputant à qui saisira le premier une dorade. Nous la pressions de nos proues à grandes scies d'acier, qui brillaient au clair de la lune comme les dents embrassées des dragons de l'Arioste. La fugitive se délivra à la manière d'Orphée: quelques accords de la harpe firent tout rentrer dans l'ordre et le silence. Au son des légers arpèges, trois gondoles se rangèrent à chaque flanc de celle qui portait la symphonie, et suivirent l'adagio avec une réligieuse lenteur. Les autres restèrent derrière comme un cortège, et ce n'était pas la plus mauvaise place pour entendre. Ce fut un coup d'œil fait pour réaliser les plus beaux rêves, que cette file de gondoles silencieuses qui glissait doucement sur le large et magnifique canal de Venise. Au son des plus suaves motifs d'*Oberon* et de *Guillaume Tell,* chaque ondulation de l'eau, chaque léger bondissement des rames, semblaient répondre affectueusement au sentiment de chaque phrase musicale. Les gondoliers, debout sur la poupe, dans leur attitude hardie, se dessinaient dans l'air bleu, comme de légers spectres noirs, derrière les groupes d'amis et d'amants qu'ils conduisaient. La lune s'élevait peu à peu et commençait à montrer sa face curieuse au-dessus des toits; elle aussi avait l'air d'écouter et d'aimer cette musique. Une des rives du palais du canal, plongée encore dans l'obscurité, découpait dans le ciel ses grandes dentelles mauresque, plus sombres que les portes de l'enfer. L'autre rive recevait le reflet de la pleine lune, large et blanche alors comme un bouclier d'argent, sur ses façades muettes et sereines. Cette file immense de constructions féeriques, que n'éclairait pas d'autre lumière que celle des astres, avait un aspect de solitude, de repos et d'immobilité vraiment sublime. Des minces statues qui se dressent par centaines dans le ciel semblaient des volées d'esprits mystérieux chargés de protéger le repos de cette muette cité, plongée dans le sommeil de la Belle au bois dormant, et condamnée comme elle à dormir cent ans et plus.

Nous voguâmes ainsi près d'une heure. Des gondoliers étaient devenus un peu fous. Le vieux Catullo lui-même bondissait à l'allégro et suivait la course rapide de la petite flotte. Puis sa rame retombait *amoroso* à l'andante, et il accompagnait ce mouvement gracieux d'une espèce de grognement de béatitude. L'orchestre s'arrêta sous le portique

du Lion-Blanc. Je me penchai pour voir Mylord sortir de sa gondole. C'était un enfant spleenétique, de dix-huit à vingt ans, chargé d'une longue pipe turque, qu'il était certainement incapable de fumer tout entière sans devenir phtisique au dernier degré. Il avait l'air de s'ennuyer beaucoup; mais il avait payé une sérénade dont j'avais beaucoup mieux profité que lui, et dont je lui sus le meilleur gré du monde.

(*Lettres d'un Voyageur*).

16. **Égayons l'école.**

Je ne trouve rien de plus maussade que cette coutume des maisons d'éducation de faire de la salle des études l'endroit le plus triste et le plus navrant; sous prétexte que les enfants gâteraient les meubles et dégraderaient les ornements, on ôte de leur vue tout ce qui serait un stimulant à la pensée ou un charme pour l'imagination. On prétend que les gravures et les enjolivements, même les dessins d'un papier sur la muraille, leur donneraient des distractions. Pourquoi orne-t-on de tableaux et de statues les églises et les oratoires, si ce n'est pour élever l'âme et la ranimer dans ses langueurs par le spectacle d'objets vénérés? Les enfants, dit-on, ont des habitudes de malpropreté ou de maladresse. Ils jettent l'encre partout, ils aiment à détruire. Ces goûts et ces habitudes ne leur viennent pourtant pas de la maison paternelle, où on leur apprend à respecter ce qui est beau ou utile et où, dès qu'ils ont l'âge de raison, ils ne pensent point à commettre tous ces dégâts qui n'ont tant d'attraits pour eux, dans les pensions et dans les collèges, que parce que c'est une sorte de vengeance contre la négligence ou la parcimonie dont ils sont l'objet. Mieux vous les logeriez, plus ils seraient soigneux. Ils regarderaient à deux fois avant de salir un tapis ou de briser un cadre. Ces vilaines murailles nues où vous les enfermez leur deviennent bientôt un objet d'horreur, et ils les renverseraient s'ils le pouvaient. Vous voulez qu'ils travaillent comme des machines, que leur esprit, détaché de toute préoccupation, fonctionne à l'heure et soit inaccessible à tout ce qui fait la vie et le renouvellement de la vie intellectuelle. C'est faux et impossible. L'enfant qui étudie a déjà tous les besoins de l'artiste qui crée. Il faut qu'il respire un air pur, qu'il ait un peu les aises de son corps, qu'il soit frappé par les images extérieures et qu'il renouvelle à son

gré la nature de ses pensées par l'appréciation de la couleur et de la forme. La nature lui est un spectacle continuel. En l'enfermant dans une chambre nue, malsaine et triste, vous étouffez son cœur et son esprit aussi bien que son corps. Je voudrais que tout fût riant dès le berceau autour de l'enfant des villes. Celui des campagnes a le ciel et les arbres, les plantes et le soleil. L'autre s'étiole trop souvent, au moral et au physique, dans la saleté chez le pauvre, dans le mauvais goût chez le riche, dans l'absence du goût chez la classe moyenne.

Pourquoi les Italiens naissent-ils en quelque sorte avec le sentiment du beau? Pourquoi un maçon de Vérone, un petit marchand de Venise, un paysan de la campagne de Rome aiment-ils à contempler les beaux monuments? Pourquoi comprennent-ils les beaux tableaux, la bonne musique, tandis que nos prolétaires, plus intelligents sous d'autres rapports, et nos bourgeois, élévés avec plus de soin, aiment le faux, le vulgaire, le laid même dans les arts, si une éducation spéciale ne vient redresser leur instinct? C'est que nous vivons dans le laid et dans le vulgaire; c'est que nos parents n'ont pas de goût que nous passons le mauvais goût traditionnel à nos enfants.

Entourer l'enfance d'objets agréables et nobles en même temps qu'instructifs ne serait qu'un détail. Il faudrait, avant tout, ne la confier qu'à des êtres distingués soit par le cœur soit par l'esprit.

(*Hist. de ma vie*).

A. DAUDET.

17. Mes Caoutchoucs.

Quand je vivrais aussi longtemps que mon oncle Baptiste, lequel doit être à cette heure aussi vieux qu'un vieux baobab de l'Afrique centrale, jamais je n'oublierai mon premier voyage à Paris en wagon de troisième classe.

C'était dans les derniers jours de février; il faisait encore très froid. Au dehors, un ciel gris, le vent, le grésil, les collines chauves, des prairies inondées, de longues rangées de vignes mortes: au dedans, des matelots ivres qui chantaient, de gros paysans qui dormaient la bouche ouverte comme des poissons morts, de petites vieilles avec leurs cabas, des enfants, des puces, des nourrices, tout l'attirail du wagon des

pauvres avec son odeur de pipe, d'eau-de-vie, de saucisse à l'ail et de paille moisie. Je crois y être encore.

En partant, je m'étais installé dans un coin, près de la fenêtre, pour voir le ciel; mais, à deux lieues de chez nous, un infirmier militaire me prit ma place, sous prétexte d'être en face de sa femme, et voilà le petit Chose, trop timide pour oser se plaindre, condamné à faire deux cents lieues entre ce gros vilain homme qui sentait la graine de lin et un grand tambour-major de Champenoise qui, tout le temps, ronfla sur son épaule. Le voyage dura deux jours. Je passai ces deux jours à la même place, immobile entre mes deux bourreaux, la tête fixe et les dents serrées. Comme je n'avais pas d'argent ni de provisions, je ne mangeai rien de toute la route. Deux jours sans manger, c'est long! — Il me restait bien encore une pièce de quarante sous, mais je la gardais précieusement pour le cas, où, en arrivant à Paris, je ne trouverais pas l'ami Jacques à la gare, et malgré la faim j'eus le courage de n'y pas toucher. Le diable c'est qu'autour de moi on mangeait beaucoup dans le wagon. J'avais sous mes jambes un grand coquin de panier très lourd, d'où mon voisin l'infirmier tirait à tout moment des charcuteries variées qu'il partageait avec sa dame. Le voisinage de ce panier me rendit très malheureux, surtout le second jour. Pourtant ce n'est pas la faim dont je souffris le plus en ce terrible voyage. J'étais parti de Sarlande sans souliers, n'ayant aux pieds que de petits caoutchoucs fort minces qui me servaient là-bas pour faire ma ronde dans le dortoir. Très joli, le caoutchouc; mais l'hiver, en troisième classe . . Dieu! que j'ai eu froid! C'était à en pleurer. La nuit, quand tout le monde dormait, je prenais doucement mes pieds entre mes mains et je les tenais des heures entières pour essayer de les réchauffer. Ah! si M-me Eyssette m'avait vu. Eh bien! malgré la faim qui lui tordait le ventre, malgré ce froid cruel qui lui arrachait des larmes, le petit Chose était bien heureux, et pour rien au monde il n'aurait cédé sa place, cette demi-place qu'il occupait entre la Champenoise et l'infirmier. Au bout de toutes ces souffrances, il y avait Jacques, il y avait Paris. Dans la nuit du second jour, vers trois heures du matin, je fus réveillé en sursaut. Le train venait de s'arrêter: tout le wagon était en émoi. J'entendis l'infirmier dire à sa femme: — Nous y sommes. — Où donc! demandai-je en me frottant les yeux. — A Paris, parbleu! Je me pré-

cipitai vers la portière. Pas de maisons. Rien qu'une campagne pelée, quelques becs de gaz, et çà et là de gros tas de charbon de terre; puis là-bas, dans le loin, une grande lumière rouge et un roulement confus pareil au bruit de la mer. De portière en portière, un homme allait, avec une petite lanterne, en criant: «Paris! Paris! Vos billets!» Malgré moi, je rentrai la tête par un mouvement de terreur. C'était Paris. Ah! grande ville féroce, comme le petit Chose avait raison d'avoir peur de toi! Cinq minutes après, nous entrions dans la gare. Jacques était là depuis une heure. Je l'aperçus de loin avec sa longue taille un peu voûtée et ses grands bras de télégraphe qui me faisaient signe derrière le grillage. D'un bond je fus sur lui. — Jacques! mon frère! — Ah! cher enfant! Et nos deux âmes s'étreignirent de toute la force de nos bras. Malheureusement les gares ne sont pas organisées pour ces belles étreintes. Il y a la salle des bagages; mais il n'y a pas la salle des effusions, il n'y a pas la salle des âmes. On nous bousculait, on nous marchait dessus. — Circulez! circulez! nous criaient les gens de l'octroi.

Jacques me dit tout bas: «Allons-nous-en. Demain, j'enverrai chercher ta malle». Et bras dessus, bras dessous, légers comme nos escarcelles, nous nous mîmes en route pour le Quartier Latin. J'ai essayé bien souvent, depuis, de me rappeler l'impression exacte que me fit Paris cette nuit-là; mais les choses, comme les hommes, prennent, la première fois que nous les voyons, une physionomie toute particulière, qu'ensuite nous ne leur trouvons plus. Le Paris de mon arrivée, je n'ai jamais pu me le reconstruire. C'est comme une ville brumeuse que j'aurais traversée tout enfant, il y a des années, et où je ne serais plus retourné depuis lors. Je me souviens d'un pont de bois sur une rivière toute noire, puis d'un grand quai désert et d'un immense jardin au long de ce quai. Nous nous arrêtâmes un moment devant ce jardin. A travers les grilles qui le bordaient, on voyait confusément des huttes, des pelouses, des flaques d'eau, des arbres luisants de givre. — C'est le Jardin des Plantes, me dit Jacques. Il y a là une quantité considérable d'ours blancs, de lions, de boas, d'hippopotames...

En effet, cela sentait le fauve, et, par moments, un cri aigu, un rauque rugissement, sortait de cette ombre. Moi, serré contre mon frère, je regardais de tous mes yeux à travers les grilles, et mêlant dans un même sentiment de terreur ce Paris inconnu, où j'arrivais de nuit, et

ce jardin mystérieux, il me semblait que je venais de débarquer dans une grande caverne noire, pleine de bêtes féroces qui allaient se ruer sur moi. Heureusement que je n'étais pas seul: j'avais Jacques pour me défendre... Ah! Jacques! Jacques! pourquoi ne t'ai-je pas toujours eu? Nous marchâmes encore longtemps, longtemps, par des rues noires interminables; puis, tout à coup, Jacques s'arrêta sur une petite place où il y avait une église. — Nous voici à Saint-Germain-des-Près, me dit-il. Notre chambre est là-haut. — Comment! Jacques!... dans le clocher?... — Dans le clocher même... C'est très commode pour savoir l'heure. Jacques exagérait un peu. Il habitait, dans la maison à côté de l'église, une petite mansarde au cinquième ou au sixième étage, et sa fenêtre ouvrait sur le clocher de Saint-Germain, juste à la hauteur du cadran. En entrant, je poussai un cri de joie. «Du feu! quel bonheur!» Et tout de suite je courus à la cheminée présenter mes pieds à la flamme, au risque de fondre les caoutchoucs. Alors seulement, Jacques s'aperçut de l'étrangeté de ma chaussure. Cela le fit beaucoup rire. — Mon cher, me dit-il, il y a une foule d'hommes célèbres qui sont arrivés à Paris en sabots, et qui s'en vantent. Toi, tu pourras dire que tu es arrivé en caoutchoucs: c'est bien plus original. En attendant, mets ces pantoufles, et entamons le pâté. Disant cela, le bon Jacques roulait devant le feu une petite table qui attendait dans un coin, toute servie.

(*Le Petit Chose*).

18. Le porte-drapeau.

Le régiment était en bataille sur un talus du chemin de fer, et servait de cible à toute l'armée prussienne massée en face, sous le bois. On se fusillait à quatre-vingts mètres. Les officiers criaient: «Couchez-vous!...» mais personne ne voulait obéir, et le fier régiment restait debout, groupé autour de son drapeau. Dans ce grand horizon de soleil couchant, de blés en épis, de pâturages, cette masse d'hommes, tourmentée, enveloppée d'une fumée confuse, avait l'air d'un troupeau surpris en rase campagne dans le premier tourbillon d'un orage formidable.

C'est qu'il en pleuvait du fer sur ce talus! On n'entendait que le crépitement de la fusillade, le bruit sourd des gamelles roulant dans le fossé, et les balles qui vibraient longuement d'un bout à l'autre du

champ de bataille, comme les cordes tendues d'un instrument sinistre et retentissant. De temps en temps le drapeau qui se dressait au-dessus des têtes, agité au vent de la mitraille, sombrait dans la fumée: alors une voix s'élevait grave et fière, dominant la fusillade, les râles, les jurons des blessés: «Au drapeau, mes enfants, au drapeau!...» Aussitôt un officier s'élançait vague comme une ombre dans ce brouillard rouge, et l'héroïque enseigne, redevenue vivante, planait encore au-dessus de la bataille. Vingt-deux fois elle tomba!... Vingt-deux fois sa hampe encore tiède, échappée à une main mourante, fut saisie, redressée; et lorsqu'au soleil couché, ce qui restait du régiment — à peine une poignée d'hommes — battit lentement en retraite, le drapeau n'était plus qu'une guenille aux mains du sergent, Hornus, le vingt-troisième porte-drapeau de la journée. Ce sergent Hornus était une vieille bête à trois brisques, qui savait à peine signer son nom, et avait mis vingt ans à gagner ses galons de sous-officier. Toutes les misères de l'enfant trouvé, tout l'abrutissement de la caserne se voyaient dans ce front bas et buté, ce dos voûté par le sac, cette allure inconsciente de troupier dans le rang. Avec cela il était un peu bègue, mais, pour être porte-drapeau, on n'a pas besoin d'éloquence. Le soir même de la bataille, son colonel lui dit: «Tu as le drapeau, mon brave; eh bien, garde-le.» Et sur sa pauvre capote de campagne, déjà toute passée à la pluie et au feu, la cantinière surfila tout de suite un liséré d'or de sous-lieutenant. Ce fut le seul orgueil de cette vie d'humilité. Du coup la taille du vieux troupier se redressa. Ce pauvre être habitué à marcher courbé, les yeux à terre, eut désormais une figure fière, le regard toujours levé pour voir flotter ce lambeau d'étoffe et le maintenir bien droit, bien haut, au-dessus de la mort, de la trahison, de la déroute. Vous n'avez jamais vu d'homme si heureux qu'Hornus les jours de bataille, lorsqu'il tenait sa hampe à deux mains, bien affermie dans son étui de cuir. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Sérieux comme un prêtre, on aurait dit qu'il tenait quelque chose de sacré. Toute sa vie, toute sa force était dans ces doigts crispés autour de ce beau haillon doré sur lequel se ruaient les balles et dans ces yeux pleins de défi qui regardaient les Prussiens bien en face, d'un air de dire: «Essayez donc de venir me le prendre!...»

Personne ne l'essaya, pas même la mort. Après Borny, après Gravelotte, les batailles les plus meurtrières, le drapeau s'en allait de partout, haché, troué, transparent de blessures; mais c'était toujours le vieil Hornus qui le portait.

Puis septembre arriva, l'armée sous Metz, le blocus, et cette longue halte dans la boue où les canons se rouillaient, où les premières troupes du monde, démoralisées par l'inaction, le manque de vivres, de nouvelles, mouraient de fièvre et d'ennui au pied de leurs faisceaux. Ni chefs ni soldats, personne ne croyait plus; seul, Hornus avait encore confiance. Sa loque tricolore lui tenait lieu de tout, et tant qu'il la sentait là, il lui semblait que rien n'était perdu. Malheureusement, comme on ne se battait plus, le colonel gardait le drapeau chez lui dans un des faubourgs de Metz; et le brave Hornus était à peu près comme une mère qui a son enfant en nourrice. Il y pensait sans cesse. Alors, quand l'ennui le tenait trop fort, il s'en allait à Metz tout d'une course, et rien que de l'avoir vu toujours à la même place, bien tranquille contre le mur, il s'en revenait plein de courage, de patience, rapportant, sous sa tente trempée, des rêves de bataille, de marche en avant, avec les trois couleurs toutes grandes déployées flottant là-bas sur les tranchées prussiennes.

Un ordre du jour du maréchal Bazaine fit crouler ces illusions. Un matin, Hornus, en s'éveillant, vit tout le camp en rumeur, les soldats par groupes, très-animés, s'excitant, avec des cris de rage, des poings levés tous du même côté de la ville, comme si leur colère désignait un coupable. On criait: «Envelons-le! . . . Qu'on le fusille! . . .» Et les officiers laissaient dire . . . Ils marchaient à l'écart, la tête basse, comme s'ils avaient eu honte devant leurs hommes. C'était honteux, en effet. On venait de lire a cent cinquante mille soldats, bien armés, encore valides, l'ordre du maréchal qui les livrait à l'ennemi sans combat. «Et les drapeaux?» demanda Hornus en pâlissant.... Les drapeaux étaient livrés avec le reste, avec les fusils, ce qui restait des équipages, tout... «To... To... Tonnerre de Dieu!... bégaya le pauvre homme. Ils n'auront toujours pas le mien...» Et il se mit à courir du côté de la ville. Là aussi il y avait une grande animation. Gardes nationaux, bourgeois, gardes mobiles criaient, s'agitaient. Des députations passaient, frémissantes, se rendant chez le maréchal. Hornus, lui, ne voyait rien, n'entendait rien. Il parlait seul, tout en remontant la rue du Faubourg.

«M'enlever mon drapeau!... Allons donc! Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a le droit? Qu'il donne aux Prussiens ce qui est à lui, ses carrosses dorés, et sa belle vaisselle plate rapportée de Mexico! Mais ça, c'est à moi... C'est mon honneur. Je défends qu'on y touche.» Tous ces bouts de phrase étaient hachés par la course et sa parole bègue; mais au fond il avait son idée, le vieux! Une idée bien nette, bien arrêtée, prendre le drapeau, l'emporter au milieu du régiment, et passer sur le ventre des Prussiens avec tous ceux qui voudraient le suivre. Quand il arriva là-bas, on ne le laissa pas même entrer. Le colonel, furieux lui aussi, ne voulait voir personne... mais Hornus ne l'entendait pas ainsi. Il jurait, criait, bousculait le planton: «Mon drapeau... je veux mon drapeau...» A la fin une fenêtre s'ouvrit: «C'est toi, Hornus? — Oui, mon colonel, je...»

— Tous les drapeaux sont à l'Arsenal..., tu n'as qu'à y aller, on te donnera un reçu...

— Un reçu?... Pourquoi faire?... — C'est l'ordre du maréchal...— Mais, colonel... — «F...-moi la paix!...» et la fenêtre se referma.

Le vieil Hornus chancelait comme un homme ivre.

«Un reçu..., un reçu...,» répétait-il machinalement... Enfin il se remit à marcher, ne comprenant plus qu'une chose, c'est que le drapeau était à l'Arsenal et qu'il fallait le ravoir à tout prix.

Les portes de l'Arsenal étaient toutes grandes ouvertes pour laisser passer les fourgons prussiens qui attendaient rangés dans la cour. Hornus en entrant eut un frisson. Tous les autres porte-drapeaux étaient là, cinquante ou soixante officiers, navrés, silencieux; et ces voitures sombres sous la pluie, ces hommes groupés derrière, la tête nue: on aurait dit un enterrement. Dans un coin, tous les drapeaux de l'armée de Bazaine s'entassaient, confondus sur le pavé boueux. Rien n'était plus triste que ces lambeaux de soie voyante, ces débris de franges d'or et de hampes ouvragées, tout cet attirail glorieux jeté par terre, souillé de pluie et de boue. Un officier d'administration les prenait un à un, et, à l'appel de son régiment, chaque porte-enseigne s'avançait pour chercher un reçu. Raides, impassibles, deux officiers prussiens surveillaient le chargement. Et vous vous en alliez ainsi, ô saintes loques glorieuses, déployant vos déchirures, balayant le pavé tristement comme des oiseaux aux ailes cassées! Vous vous en alliez avec la honte des

belles choses souillées, et chacune de vous emportait un peu de la France. Le soleil des longues marches restait entre vos plis passés. Dans les marques des balles vous gardiez le souvenir des morts inconnus, tombés au hasard sous l'étendard visé... «Hornus, c'est à toi... On t'appelle... va chercher ton reçu...» Il s'agissait bien de reçu! Le drapeau était la devant lui. C'était bien le sien, le plus beau, le plus mutilé de tous... Et en le revoyant il croyait être encore là-haut sur le talus. Il entendait chanter les balles, les gamelles fracassées et la voix du colonel: «Au drapeau, mes enfants!...» Puis ses vingt-deux camarades par terre, et lui vingt-troisième se précipitant à son tour pour relever, soutenir le pauvre drapeau qui chancelait faute de bras. Ah! ce jour-là il avait juré de le défendre, de le garder, jusqu'à la mort. Et maintenant...

De penser à cela, tout le sang de son cœur lui sauta à la tête. Ivre, éperdu, il s'élança sur l'officier prussien, lui arracha son enseigne bien-aimée qu'il saisit à pleines mains; puis il essaya de l'élever encore, bien haut, bien droit en criant: «Au dra...» mais sa voix s'arrêta au fond de sa gorge. Il sentit la hampe trembler, glisser entre ses mains. Dans cet air las, cet air de mort qui pèse si lourdement sur les villes rendues, les drapeaux ne pouvaient plus flotter, rien de fier ne pouvait plus vivre... Et le vieil Hornus tomba foudroyé.

(Contes du lundi).

FRANÇOIS COPPÉE.

19. Le Louis d'Or

CONTE DE NOËL.

Lorsque Lucien de Hem eut vu son dernier billet de cent francs agrippé par le râteau du banquier, et qu'il se fut levé de la table de roulette où il venait de perdre les débris de sa petite fortune, réunis par lui pour cette suprême bataille, il éprouva comme un vertige et crut qu'il allait tomber. La tête troublée, les jambes molles, il alla se jeter sur la large banquette de cuir qui faisait le tour de la salle de jeu. Pendant quelques minutes, il regarda vaguement le tripot clandestin dans lequel il avait gâché les plus belles années de sa jeunesse, re-

connut les têtes ravagées des joueurs, crûment éclairées par les trois grands abat-jour, écouta le léger frottement de l'or sur le tapis, songea qu'il était ruiné, perdu, se rappela qu'il avait chez lui, dans un tiroir de commode, les pistolets d'ordonnance dont son père, le général de Hem, alors simple capitaine, s'était si bien servi à l'attaque de Zaatcha; puis, brisé de fatigue, il s'endormit d'un sommeil profond. Quand il se réveilla, la bouche pâteuse, il constata, par un regard jeté à la pendule, qu'il avait dormi une demi-heure à peine, et il éprouva un impérieux besoin de respirer l'air de la nuit. Les aiguilles marquaient sur le cadran minuit moins le quart. Tout en se levant et en s'étirant les bras, Lucien se souvint alors qu'on était à la veille de Noël, et, par un jeu ironique de la mémoire, il se revit soudain tout petit enfant et mettant, avant de se coucher, ses souliers dans la cheminée. En ce moment, le vieux Dronski — un pilier du tripot, le Polonais classique, portant le caban râpé, tout orné de soutaches et d'olives — s'approcha de Lucien et marmotta quelques mots dans sa sale barbiche grise.

«Prêtez-moi donc une pièce de cinq francs, monsieur. Voilà deux jours que je n'ai pas bougé du cercle, et depuis deux jours le «dix-sept» n'est pas sorti... Moquez-vous de moi, si vous voulez; mais je donnerais mon poing à couper que tout à l'heure, au coup de minuit, le numéro sortira.» Lucien de Hem haussa les épaules; il n'avait même plus dans sa poche de quoi acquitter cet impôt que les habitués de l'endroit appelaient «les cent sous du Polonais». Il passa dans l'antichambre, mit son chapeau et sa pelisse, et descendit l'escalier avec l'agilité des gens qui ont la fièvre. Depuis quatre heures que Lucien était enfermé dans le tripot, la neige était tombée abondamment, et la rue — une rue du centre de Paris, assez étroite et bâtie de hautes maisons — était toute blanche. Dans le ciel purgé, d'un bleu noir, de froides étoiles scintillaient. Le joueur décavé frissonna sous ses fourrures et se mit à marcher, roulant toujours dans son esprit des pensées de désespoir et songeant plus que jamais à la boîte de pistolets qui l'attendait dans le tiroir de sa commode; mais, après avoir fait quelques pas, il s'arrêta brusquement devant un navrant spectacle. Sur un banc de pierre placé, selon l'usage d'autrefois, près de la porte monumentale d'un hôtel, une petite fille de six ou sept ans, à peine vêtue d'une robe noire en loques, était assise dans la neige. Elle s'était endormie là, malgré le froid cruel, dans une attitude effrayante de fatigue et d'accablement, et sa pauvre petite tête et son épaule mignonne étaient comme écroulées dans un angle de la muraille et reposaient sur la pierre glacée. Une des savates dont l'enfant était chaussée s'était détachée de son pied qui pendait, et gisait lugubrement devant elle.

D'un geste machinal, Lucien de Hem porta la main à son gousset; mais il se souvint qu'un instant auparavant il n'y avait même pas trouvé une pièce de vingt sous oubliée, et qu'il n'avait pas pu donner de pourboire au garçon du cercle. Cependant, poussé par un instinctif sentiment de pitié, il s'approcha de la petite fille, et il allait peut-être l'emporter dans ses bras et lui donner asile pour la nuit, lorsque, dans la savate tombée sur la neige, il vit quelque chose de brillant. Il se pencha. C'était un louis d'or! Une personne charitable, une femme sans doute, avait passé par là, avait vu, dans cette nuit de Noël, cette chaussure devant cette enfant endormie, et, se rappelant la touchante légende, elle avait laissé tomber, d'une main discrète, une magnifique aumône, pour que la petite abandonnée crût encore aux cadeaux faits par l'Enfant Jésus et conservât, malgré son malheur, quelque confiance et quelque espoir dans la bonté de la Providence. Un louis! c'étaient plusieurs jours de repos et de richesse pour la mendiante; et Lucien était sur le point de l'éveiller pour lui dire cela, quand il entendit près de son oreille, comme dans une hallucination, une voix — la voix du Polonais avec son accent traînant et gras — qui murmurait tout bas ces mots: «Voilà deux jours que je n'ai pas bougé du cercle, et depuis deux jours le «dix-sept» n'est pas sorti... Je donnerais mon poing à couper que tout à l'heure, à coup de minuit, le numéro sortira.» Alors ce jeune homme de vingt-trois ans, qui descendait d'une race d'honnêtes gens, qui portait un superbe nom militaire, et qui n'avait jamais failli à l'honneur, conçut une épouvantable pensée; il fut pris d'un désir fou, hystérique, monstrueux. D'un regard il s'assura qu'il était bien seul dans la rue déserte, et, pliant le genou, avançant avec précaution sa main frémissante, il vola le louis d'or dans la savate tombée! Puis, courant de toutes ses forces, il revint à la maison de jeu, grimpa l'escalier en quelques enjambées, poussa d'un coup de poing la porte rembourrée de la salle maudite, y pénétra au moment précis où la pendule sonnait le premier coup de minuit, posa la pièce d'or sur le tapis vert et cria:

«En plein sur le «dix-sept!» Le «dix-sept» gagna. D'un revers de main, Robert poussa les trente-six louis sur la rouge. La rouge gagna. Il laissa les soixante-douze louis sur la même couleur. La rouge sortit de nouveau. Il fit encore le paroli deux fois, trois fois, toujours avec le même bonheur. Il avait maintenant devant lui un tas d'or et de billets et il se mit à poudrer le tapis, frénétiquement. La «douzaine», la «colonne», le «numéro», toutes les combinaisons lui réussissaient. C'était une chance inouïe, surnaturelle. Ont eût dit que la petite bille d'ivoire, sautillant dans les cases de la roulette, était magnétisée, fascinée par le regard de ce joueur, et lui obéissait. Il avait rattrapé, en une dizaine de coups, les quelques misérables billets de mille francs, sa dernière ressource, qu'il avait perdus au commencement de la soirée. A présent, pontant des deux ou trois cents louis à la fois, et servi par sa veine fantastique, il allait bientôt regagner, et au delà, le capital héréditaire qu'il avait gaspillé en si peu d'années, reconstituer sa fortune. Dans son empressement à se mettre au jeu, il n'avait pas quitté sa lourde pelisse; déjà il en avait gonflé les grandes poches de liasses de banknotes et de rouleaux de pièces d'or et, ne sachant plus où entasser son gain, il bourrait maintenant de monnaie et de papier les poches intérieures et extérieures de sa redingote, les goussets de son gilet et de son pantalon, son porte-cigares, son mouchoir, tout ce qui pouvait servir de récipient. Et il jouait toujours, et il gagnait toujours, comme un furieux! comme un homme ivre! et il jetait ses poignées de louis sur le tableau, au hasard, à la vanvole, avec un geste de certitude et de dédain! Seulement, il avait comme un fer rouge dans le cœur, et il ne pensait qu'à la petite mendiante endormie dans la neige, à l'enfant qu'il avait volée. «Elle est encore à la même place! Certainement, elle doit y être encore!... Tout à l'heure... oui, quand une heure sonnera... je me le jure!... je sortirai d'ici, j'irai la prendre, tout endormie, dans mes bras, je l'emporterai chez moi, je la coucherai sur mon lit... Et je l'élèverai, je la doterai, je l'aimerai comme ma fille, et j'aurai soin d'elle toujours, toujoûrs!» Mais la pendule sonna une heure, et le quart, et la demie, et les trois quarts... et Lucien était toujours assis à la table infernale. Enfin, une minute avant deux heures, le chef de partie se leva brusquement et dit à voix haute: «La banque a sauté, messieurs... Assez pour aujourd'hui!» D'un bond, Lucien fut debout. Écartant

avec brutalité les joueurs qui l'entouraient et le regardaient avec une envieuse admiration, il partit vivement, dégringola les étages et courut jusqu'au banc de pierre. De loin, à la lueur d'un bec de gaz, il aperçut la petite fille. «Dieu soit loué! s'écria-t-il. Elle est encore là.» Il s'approcha d'elle, lui saisit la main: «Oh! qu'elle a froid! Pauvre petite!» Il la prit sous les bras, la souleva pour l'emporter. La tête de l'enfant retomba en arrière, sans qu'elle s'éveillât: «Comme on dort, à cet âge-là!» Il la serra contre sa poitrine pour la réchauffer, et, pris d'une vague inquiétude, il voulut, afin de la tirer de ce lourd sommeil, la baiser sur les yeux, comme il faisait naguère à sa maîtresse la plus chérie. Mais alors il s'aperçut avec terreur que les paupières de l'enfant étaient entr'ouvertes et laissaient voir à demi des prunelles vitreuses, éteintes, immobiles. Le cerveau traversé d'un horrible soupçon, Lucien mit sa bouche tout près de la bouche de la petite fille; aucun souffle n'en sortit. Pendant qu'avec le louis d'or qu'il avait volé à cette mendiante Lucien gagnait au jeu une fortune, l'enfant sans asile était morte, morte de froid! Étreint à la gorge par la plus effroyable des angoisses, Lucien voulut pousser un cri... et, dans l'effort qu'il fit, il se réveilla de son cauchemar sur la banquette du cercle, où il s'était endormi un peu avant minuit et où le garçon du tripot, s'en allant le dernier vers cinq heures du matin, l'avait laissé tranquille, par bonté d'âme pour le décavé. Une brumeuse aurore de décembre faisait pâlir les vitres des croisées. Lucien sortit, mit sa montre en gage, prit un bain, déjeuna, et alla au bureau du recrutement signer un engagement volontaire au 1-er régiment de chasseurs d'Afrique. Aujourd'hui, Lucien de Hem est lieutenant; il n'a que sa solde pour vivre, mais il s'en tire, étant un officier très rangé et ne touchant jamais une carte. Il paraît même qu'il trouve encore moyen de faire des économies; car l'autre jour, à Alger, un de ses camarades qui le suivait à quelques pas de distance dans une rue montueuse de la Kasba, le vit faire l'aumône à une petite Espagnole endormie sous une porte, et eut l'indiscrétion de regarder ce que Lucien avait donné à la pauvresse. Le curieux fut très surpris de la générosité du pauvre lieutenant. Lucien de Hem avait mis un louis d'or dans la main de la petite fille.

ANDRÉ THEURIET.

20. L'Enterrement.

Tandis que Desgranges se livrait à ce rétrospectif examen de conscience, le bateau longeait un haut promontoire boisé qui semblait, ainsi qu'un mur à pic, fermer brusquement le lac. En face, sur une presqu'île bordée de peupliers et de marronniers, le château de Duingt, avec ses tourelles pointues et sa façade blanche, s'avançait dans la verdure, comme pour achever de barrer l'entrée du petit lac. La machine siffla, et ce déchirement aigu interrompit la méditation de Philippe. Au même moment, il entendit le guide-photographe haranguer la famille anglaise à laquelle il était attaché: «Voici Talloires, l'un des plus beaux sites du lac et l'endroit préféré des touristes...» Le bateau doublait la pointe du promontoire et décrivait une courbe lente dans une anse bordée de vignes, au fond de laquelle les anciens bâtiments d'une abbaye de bénédictins, transformée en hôtel, dressent leurs toits bruns au-dessus de l'épaisse verdure d'un massif de marronniers. Entre les vignobles et les arbres des vergers, l'unique rue du village apparaissait, chauffant au soleil ses auvents hospitaliers, ses galeries de vieux bois fusé et ses toitures moussues. — Au delà du village et des vignes, des pentes boisées et ravinées montaient en muraille verdoyante jusqu'aux roches en encorbellement, où l'église de Saint-Germain est suspendue comme un nid de mouettes à une falaise; puis des forêts résineuses succédaient aux cultures, des pâturages dorés de lumière se découpaient dans le velours sombre des sapins et se continuaient presque à pic, jusqu'aux assises rocheuses où les bastions de la Tournette contemplaient le fond du lac bleuissant et son cirque de montagnes harmonieusement groupées. Philippe Desgranges avait saisi sa valise et s'était joint aux passagers qui se préparaient à quitter le bateau. En examinant attentivement ces nombreux voyageurs qui se rendaient si matin à Talloires, il fut soudain frappé de leur attitude compassée et de l'uniformité du costume qui les endimanchait ;les hommes étaient pour la plupart vêtus de redingotes noires et les femmes portaient des toilettes de couleur sombre. En même temps il entendit le tintement monotone d'une cloche d'église, et un funèbre pressentiment le prit. Son cœur s'était anxieusement serré, et, à peine débarqué, il s'informa, près de l'homme du ponton, du chemin qui conduisait au Vivier. «Vous n'avez qu'à suivre ces messieurs et ces dames, répondit le pontonnier; ils se rendent tous au Vivier pour la sépulture. — La sépulture!.... Est-ce que M. Marcelin Diosaz?... — Oui, monsieur, il est mort avant-hier, et on l'enterre ce matin.» Les gens débarqués du bateau avaient pris un chemin montant à travers les vignes. Philippe pénétra derrière eux dans l'unique et tortueuse rue de Talloires, à laquelle des façades percées de rares fenêtres, et accidentées d'angles saillants ou rentrants, donnent un aspect de passage fortifié. Il arriva ainsi à l'extrémité du village, en face d'une habitation un peu isolée, dont la porte cochère large ouverte laissait voir librément la disposition intérieure. — Située entre cour et jardin, cette maison était bâtie dans le goût des confortables demeures savoyardes du commencement du siècle. Élevée au-dessus d'un sous-sol, couverte de toits en auvent, elle était flanquée de deux pavillons aux toitures aiguës, que reliaient des *loggie* à l'italienne. L'une de ces galeries, sur lesquelles prenaient jour les portes et les fenêtres de l'appartement, était enguirlandée de glycines et de chèvrefeuilles, et regardait les flancs de la montagne; — l'autre, orientée au midi, faisait face au lac et au château de Duingt, bâti sur la rive opposée. Tout autour du corps de logis, des parterres en fleurs, ombragés de hauts platanes, des vergers plantés de noyers et des vignes bruissantes de sauterelles, descendaient mollement jusqu'au bord de l'eau. Du seuil du porche béant, rien qu'en embrassant cet ensemble d'un rapide coup d'œil, on devinait quelle fête du regard une habitation aussi heureusement située devait offrir à ses hôtes à toute heure du jour. Mais, à ce moment, le contraste de la joie du dehors avec le funèbre appareil de l'intérieur avait quelque chose de cruellement poignant. — A gauche, sous les quinconces des platanes, les enfants du bourg stationnaient sur deux files: les garçons conduits par le maître d'école; les filles par des sœurs en cornette noire. Devant la façade d'entrée, les pompiers, en blouse et en képi, évoluaient gravement sous l'œil de leur capitaine, tandis qu'entre les feuillages luisants des grenadiers et des citronniers, on distinguait les voiles de mousseline et les cagoules blanches à cordelière, dont les femmes de la confrérie des pénitentes s'enveloppent par-dessus leur robe de deuil. Guidé par un petit homme qui remplissait les fonctions de pleureur et que drapait jusqu'aux pieds un manteau d'escot

noir, Philippe, la poitrine et la gorge serrées, gravit le massif escalier de marbre du pays qui accédait au premier étage, et se laissa conduire jusqu'à la chambre mortuaire. — Le cercueil y reposait sur des treteaux, entre quatre cierges allumés et près d'un vase plein d'eau bénite. Desgranges secoua l'aspersoir sur le poèle de velours qui recouvrait la dépouille de Marcelin Diosaz. Un sanglot se nouait dans son gosier, à la pensée qu'il était arrivé trop tard pour serrer la loyale main de son ami. Il revoyait en imagination Diosaz descendant des bois de Chaville, une chanson montagnarde aux lèvres, il se remémorait son aimable figure rosée, ses yeux fins et rieurs, et sa petite moustache châtaine. Il songeait que cette joie, ce sourire, cette exubérante vitalité, tout cela était enfermé maintenant dans cette boîte de chêne, et que jamais plus cette vivante personnalité ne reparaîtrait à la lumière du jour. Il lui semblait que tout ce qui lui restait d'activité, de verdeur et de sève disparaissait avec la dépouille de ce compagnon des jours heureux, et qu'en escortant le corps jusqu'au cimetière, il mènerait aussi le deuil de sa jeunesse... «Monsieur veut-il mettre un crêpe?» demanda le pleureur, qui remarqua l'émotion de Philippe et devina un ami du défunt. Il le conduisit vers une pièce contiguë à la chambre mortuaire, où une servante ornait de longs crêpes les chapeaux que les invités lui présentaient à tour de rôle. Ce cérémonial accompli, Philippe se glissa dans le salon plein de monde, dont les volets étaient clos et où l'orpheline recevait les embrassades ou les condoléances de chaque nouvel arrivant. Dans un groupe de femmes en deuil et sous les longs voiles noirs qui l'enveloppaient, il put à peine entrevoir le jeune visage altéré et les yeux gros de larmes de la pauvre enfant secouée par des sanglots mal étouffés. Il la salua, tandis que les regards curieux des assistants le dévisageaient; puis, honteux de son veston gris au milieu de ces vêtements de deuil, il se retira discrètement et alla s'appuyer à la balustrade de la galerie extérieure. La cloche de l'église tintait toujours, et le clergé, crucifix en tête, entrait dans la cour sablée. «Messieurs, dit à voix haute le *pleureur*, le mort quitte sa maison!» Les têtes se découvrirent, pendant qu'au long des degrés fleuris de chèvrefeuille, le cercueil descendait, porté par quatre montagnards, en veste et en chapeau rond, ayant en bandoulière une longue serviette blanche dont le nœud était fixé dans les bâtons placés sous la bière — Le convoi défila

lentement à travers le jardin: d'abord les enfants, cierges en main sur deux files et les pompiers marquant lourdement le pas; puis, derrière le cercueil, la confrérie des pénitents; enfin la famille, suivie des dames espacées sur deux rangs, et les hommes fermant le cortège dans le même ordre. — La longue procession se déroula dans la rue tortueuse jusqu'à l'église, entourée d'un modeste cimetière, où l'on voyait, près de l'entrée, une fosse béante attendant son hôte. Les assistants étaient si nombreux que l'église fut pleine avant que la queue du convoi y arrivât. Au fond de la nef bourrée de gens agenouillés, en face de l'autel étoilé de cierges et à quelques pas de la bière, Philippe distinguait la forme noire et prosternée de la jeune fille, dont les épaules étaient secouées par une nouvelle explosion de douleur. Le clergé, lent et solennel, procédait avec pompe aux cérémonies du service religieux. La messe était chantée avec grand renfort de voix d'enfants de chœur. On devinait, à la façon consciencieuse dont les officiants psalmodiaient le *Dies irae*, qu'il s'agissait d'un mort d'importance. Dans cette nef resserrée et sans bas-côtés, par cette matinée de juin, la chaleur était suffocante. On avait cependant laissé les grandes portes ouvertes, et, dans le cadre du portail cintré, on voyait un coin bleu du lac, une croupe verte de montagne, et, tout au loin, des frissons de champs de blé mûrissant dans un poudroiement de soleil. Tandis que le curé, d'une voix bien timbrée, aux articulations nettes et sonores, chantait la prose: *Vere dignum et justum est, aequum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere...*, une sauterelle, envolée des jardins du voisinage et encore éblouie de clarté, se posait sur la coiffe noire d'une paysanne occupée à égrener son chapelet. Des enfants la remarquaient et se la montraient du doigt avec un sourire, et Philippe, machinalement, suivait sur les bonnets des prieuses le sautillement effaré de cette buveuse de soleil, égarée au milieu de l'office des Morts. Après l'absoute, on leva le corps, les cierges s'allumèrent, et le cortège se reformant dans le cimetière, fit le tour extérieur de l'église, au-dessus de laquelle les pâturages verts des hautes cimes avaient l'air de s'élever comme un mur immense. Le soleil de midi tombait d'aplomb sur les têtes nues, une pénétrante odeur de foin coupé emplissait le petit cimetière. On eût dit qu'avant de l'enfermer sous la terre, on voulait montrer à Marcelin Diosaz, dans toute leur radieuse beauté, les montagnes et le lac qu'il avait tant

aimés. — Le cercueil descendit dans la fosse. Le prêtre murmura le dernier *Requiescat in pace*, les cierges s'éteignirent, et Philippe se retrouva dans la rue, au milieu de la foule qui s'éparpillait. Il ne crut pas convenable de se présenter sur-le-champ à M-lle Diosaz pour l'informer de l'objet de son voyage. Il remit sa visite à l'après-midi et entra dans l'auberge où il avait fait porter sa valise. Après avoir essayé vainement de manger, il alluma un cigare pour tuer le temps, et, accoudé à la fenêtre de sa chambre il se remit à songer au mort qui reposait maintenant dans la terre pierreuse de l'étroit cimetière. — Le cirque des montagues était à ce moment baigné de soleil. Çà et là, quelques ombres seulement s'y marquaient en taches violettes. Une paix lumineuse, un sommeil d'enchantement prenait possession des villages riverains et de la luxuriante marge de blés, de prairies et de vignobles qui s'arrondissait autour du lac. L'eau, d'un bleu soyeux au ciel et d'un bleu verdi à l'ombre, n'avait pas une ride. Ce silence d'assoupissement n'était troublé que par un chant de coq, un bruit de rames et un sourd bruissement d'insectes. Peu à peu, Philippe Desgranges se sentait enveloppé d'un calme bienfaisant. Ces nerfs se détendaient, son cerveau se rassérénait. Cétte tranquillité limpide et reposante était si différente de la fièvre parisienne qui l'agitait encore la veille! Il se figurait être transporté dans un monde nouveau, — un monde aux sites intimes et aux larges horizons, à la lumière à la fois colorée et pacifique, dont il n'avait jamais eu aucune idée. — Dans la paix endormie du village, il entendit tout à coup deux heures sonner à l'horloge de l'église, et se dit qu'il était temps de retourner au Vivier.

Il redescendit l'unique rue déserte, pleine de soleil, et se retrouva devant la porte, maintenant close, du logis Diosaz. Des fenêtres donnant sur la route étaient ouvertes: des tapis, des matelas pendaient au dehors; des femmes allaient et venaient dans l'intérieur et il comprit qu'on remettait en ordre l'appartement où son ami avait expiré.

21. Valmy.

Les troupes royales avaient fait halte à Massiges, où elles devaient séjourner. Les chevaux étaient au piquet, les fourrageurs se dispersaient en quête d'eau, de bois et de paille; les officiers s'attablaient, quand

on reçut brusquement l'ordre de plier bagages. On laissait en arrière fourgons, chariots, voitures d'ambulance, tout ce qui pouvait entraver une marche rapide, et vers trois heures, l'armée entière se dirigeait en trois colonnes vers la vallée de la Tourbe.

Pour gagner de vitesse, les régiments coupaient droit à travers champs. Sous le ciel clair, on voyait parmi les éteules (жнивo) blondes les files noires s'avancer. Par intervalles, les hommes disparaissaient dans un pli de terrain; on ne distinguait plus qu'un fourmillement de baïonnettes jetant au soleil de vifs éclairs et s'écoulant entre deux talus comme un étrange fleuve aux reflets métalliques. Dans les descentes abruptes, quand les soldats dévalant le long des pentes fangeuses rompaient les rangs, le ruissellement des lames d'acier s'éparpillait ainsi qu'une immense cascade jaillissant de pierre en pierre jusqu'au fond de la vallée où le fleuve métallique semblait rentrer dans son lit.

Maintenant on marchait en pleine Champagne pouilleuse, dans une région aride et nue, où une somnolente rivière, la Tourbe, se traînait parmi des terrains lépreux, sillonnés de déchirures crayeuses. La verdoyante gaieté des arbres et des vignes avait disparu. A peine çà et là, un maigre buisson d'épine noire ou un bouquet de pins rabougris rompaient la monotonie des terrains chauves et plats. De loin en loin on traversait un hameau abandonné, aux portes et aux vitres défoncées. Parfois, tandis qu'on longeait l'unique rue, un coup de fusil partait d'une fenêtre, tiré par quelque paysan furieux du pillage de sa maison. Des soldats se détachaient, on lardait l'homme à coups de baïonnette, on brûlait la masure et, sur la morne étendue des champs déserts, des incendies rougeoyaient parmi les ombres du crépuscule. La nuit venait, et avec l'obscurité la pluie recommençait. Elle tombait par rafales cinglantes d'un ciel bas qui tranchait à peine sur la ligne confuse de l'horizon. Bientôt les régiments furent enveloppés d'épaisses ténèbres. Ils cheminaient péniblement dans ce noir, glissant sur la glaise détrempée ou s'enlisant en de spongieuses fondrières. Comme on comptait surprendre l'armée de Dumouriez en pleine retraite, ordre était donné de marcher en silence. Les troupes n'avaient pas même la ressource de tromper la mortelle longueur de l'étape nocturne par ces chansons dont le rythme allège le poids du sac et redonne du jarret aux plus éreintés. La rude plainte des rafales s'engouffrant dans la vallée et le ruisselle-

ment de l'averse accompagnaient seuls ces files d'hommes recrus de fatigue, trempés jusqu'aux os, grelottant la fièvre, qui s'en allaient dans la nuit et le vent vers une destination inconnue. Les officiers montaient et descendaient le long de la colonne pour la faire avancer plus vite. On bourrait les traînards à coups de plat de sabre. De temps à autre un pauvre diable n'en pouvant plus se laissait rouler dans la boue et y restait pantelant, tandis que s'éteignait au loin le piétinement lourd des régiments qui s'enfonçaient parmi les ténèbres pluvieuses... ... Vers trois heures du matin, les troupes pouvaient enfin souffler aux environs de Somme-Tourbe, où l'état-major du roi et du duc de Brunswick s'arrêtait. De nouveau on se débandait pour marauder à tâtons à travers le village abandonné. En quête de victuailles et surtout de combustible, les soldats faisaient flèche de tout bois: chaises, tables, armoires, tonneaux et voitures, tout flambait. Parfois même on brûlait une grange ou une étable pour se mieux chauffer. Derrière la longue ligne des fusils mis en faisceaux, les hommes s'accroupissaient morfondus devant des brasiers énormes, et silencieux, hébétés par la fatigue et l'insomnie, regardaient les flammes danser devant leurs yeux hypnotisés! L'aube tardive du 20 septembre s'éveilla dans la froideur d'une bruine très dense qui empêchait de voir à deux pas. Les feux s'étaient éteints, les soldats engourdis s'étiraient douloureusement. On venait de donner l'ordre de reformer les rangs. A travers la buée blafarde, on distinguait de fantomatiques silhouettes courant aux faisceaux; on percevait des bruits d'armes froissées, de brefs commandements, puis l'avant-garde se mettait en marche, sur deux colonnes, dans la direction de la route de Metz à Paris. On approchait de la ferme des Meigneux, quand un éclair roussâtre troua le brouillard et un coup de canon résonna sourdement, comme un salut matinal de l'ennemi. Les prussiens, sans riposter, continuaient leur course à travers champs afin d'occuper le plus vite possible la grand'route. Les escadrons du duc de Weimar s'étaient élancés vers les talus de la chaussée et galopaient déjà à l'aventure entre deux rangées de grands peupliers noyés de brume. La canonnade des Français devenait plus sérieuse. Dans la grise épaisseur du brouillard les éclairs rougeâtres et les coups de tonnerre partaient de deux endroits à la fois: des hauteurs du mont Yvron où se trouvait l'artillerie de Duprez-Crassier, et de l'auberge de la Lune où étaient

pointées les batteries de Kellermann. Désorientée, sondant en vain la brume pour y découvrir les troupes ennemies qui essayaient sans doute de battre en retraite à la faveur du brouillard, l'avant-garde prussienne commençait son attaque, et des coups de canon s'échangeaient à travers l'impénétrable rideau de bruine qui isolait les deux armées. Peu à peu les batteries françaises cessèrent de tonner. Il y eut alors, de part et d'autre, un moment d'arrêt, comme si les deux adversaires, après s'être tâtés dans le brouillard, reconnaissaient l'impossibilité de batailler à l'aveuglette. Dans cet intervalle le gros de l'armée confédérée arrivait enfin sur le plateau des Meigneux. Le roi, Brunswick et les officiers d'état-major se portaient en avant, puis s'arrêtaient, impatients devant ce voile d'épaisses vapeurs qui leur dérobait l'ennemi. Vers midi, la pluie cessa. Dans le ciel moins bas, la brume s'éclaircissait et on entrevoyait des coins de bleu. Un coup de vent, déchirant soudain le brouillard, en roula vers les bas-fonds les blanches traînées fumeuses, et, dans le cortège royal, les figures déconcertées s'allongèrent à mesure que les objets se dessinaient plus nettement. A l'anxieuse impatience succédait un mouvement de stupeur et de dépit chez tous ces officiers généraux qui, le cou tendu, les lunettes braquées, regardaient les positions ennemies... Sur les deux flancs du plateau de Valmy, l'armée française étendait ses ailes légèrement repliées. En avant, sa cavalerie nombreuse se tenait immobile dans la plaine, tandis qu'en arrière, les hauteurs étaient couronnées de troupes rangées en bon ordre. Le vent d'ouest promenait de rapides coups de soleil sur les drapeaux tricolores frissonnants, sur les régiments de grenadiers aux baïonnettes scintillantes; dans l'air humide éclatait l'entraînante musique de l'hymne des Marseillais. Les lunettes à longue portée permettaient de distinguer les mouvements des officiers. On les voyait se démener vivement en pleine lumière, en avant de leurs bataillons; ils agitaient leur chapeau au bout de leur épée, et un immense cri de: «Vive la Nation!» jeté par des milliers de bouches, arrivait jusqu'aux oreilles des Prussiens abasourdis. — Cette armée de «perruquiers et de savetiers», qui devait se débander au premier coup de canon, ces troupes qu'on croyait surprendre dans le désarroi et l'effarement d'une retraite, attendaient solidement, intrépidement le choc de l'adversaire et acceptaient la bataille avec des cris d'enthousiasme... Hyacinthe passa une nuit sans sommeil

dans son étroite cellule et ne s'endormit qu'au petit matin. Elle fut réveillée en sursaut par des roulements sourds, pareils à de lointaines rumeurs d'orage. Elle prêta l'oreille. — Non, ce n'étaient pas des coups de tonnerre, mais des coups de canon qu'on entendait là-bas, au delà des bois, du côté de Sainte-Menehould. Pour sûr, la bataille décisive était enfin engagée. — Elle s'habilla en hâte, le cœur battant, écrivit un bout de lettre et alla frapper à la porte de la chambre où Courouvre dormait en compagnie de M. de Vendières. «Monsieur de Courouvre, cria-t-elle, levez-vous. J'ai à vous parler.» Quand le gentilhomme verrier, les yeux gros de sommeil, vint la trouver dans le couloir: «Écoutez! murmura-t-elle en lui saisissant le bras, on entend le canon... Les deux armées se sont rencontrées... Je ne puis rester ici dans l'ignorance et l'anxiété et il faut que vous me rendiez un service... Sellez votre cheval et rejoignez ce matin le régiment du prince de Prusse. Pour vous qui connaissez les chemins c'est l'affaire de deux heures. Voyez le prince, remettez-lui ce billet et dites-lui que j'attends ses ordres... Puis, ce soir, revenez m'instruire des résultats de la journée. — Diable! répondit Courouvre en se grattant la tête, si on se donne des coups là-bas, ce sera peut-être malaisé de retrouver votre prince... Mais bah! je me mangerais le sang en restant ici à bayer aux mouches; j'aime encore mieux courir les chemins et faire le coup de fusil au besoin... Soyez tranquille, madame, je vous rapporterai des nouvelles de la bataille ou j'y laisserai ma peau... Au revoir donc!» Un quart d'heure après, il enfourchait son bidet et décampait sous bois. Hyacinthe rentra dans sa chambre, en proie à tous les énervements de l'attente. Elle étouffait entre les murs de cette cellule hermétiquement close, et, sans se soucier des recommandations de Gertrude, elle ouvrit la croisée qui donnait sur le jardin; puis elle s'accouda à l'embrasure, les yeux perdus dans les vapeurs grises qui couvraient les champs. Toujours au loin on entendait le canon. Les détonations arrivaient jusqu'à Hyacinthe assourdies et comme ouatées par le brouillard. Elle n'avait plus d'attention que pour cette lointaine canonnade. Toute son âme était concentrée dans ses oreilles. Vers dix heures, le bruit s'affaiblit, les détonations s'espacèrent, puis cessèrent tout à fait. Elle en eut d'abord comme une déception. «Eh! quoi, était-ce déjà fini?» — Puis une soudaine réflexion la rasséréna: — Le combat se terminait probablement

parce que l'ennemi fuyait en déroute. Cela devait être ainsi. N'avait-on pas prédit que l'armée des jacobins lâcherait pied au premier coup de canon! La solide infanterie prussienne n'avait eu qu'à se montrer pour chasser à la baïonnette ces volontaires fanfarons et braillards... Maintenant, sans doute, les alliés marchaient déjà sur Châlons... Tant mieux! Courouvre n'en reviendrait que plus vite au Four-aux-Moines et elle pourrait, à son tour, rejoindre le corps des émigrés. La vue des charmilles du jardin, trempées de pluie et roussies par l'automne, ramena plus vivement encore sa pensée vers cet ami passionné et fidèle, dont elle venait d'apprendre la proscription. Son âme se troubla de nouveau, un attendrissement la prit en songeant que si Beaujard avait consenti à se rendre à Verdun et à y rester, c'était surtout pour se rapprocher d'elle. — Et maintenant il était abandonné par les chefs de son parti, accusé de trahison, menacé dans sa vie et dans ses biens, et tout cela à cause d'elle!... Le remords dont elle sentait l'aiguillon éveilla le véhément désir de réparer le mal qu'elle avait causé; elle se promit, après la victoire des alliés, de se dévouer au bonheur de Beaujard. Il avait l'esprit trop élevé et trop clairvoyant pour ne pas reconnaître que ses amis les jacobins conduisaient la France aux abîmes. Cette dernière injustice le détacherait d'eux radicalement et alors il reviendrait à la bonne cause. — Il trouvera en moi, pensait la chanoinesse, une consolatrice et une amie dévouée: c'est à moi seule qu'il devra son salut et son avenir politique... Il rêvait de servir un peuple de rebelles; je ferai de lui un glorieux serviteur de la monarchie restaurée... Cette idée d'apostolat et de tendre protection flattait trop sa chimère pour qu'elle ne l'adoptât pas avec enthousiasme. Certaine d'apprendre avant le soir la marche victorieuse de l'armée confédérée sur Paris, elle bâtissait déjà d'amoureux et ambitieux châteaux en Espagne. Elle fut rappelée à la réalité par l'entrée de Vendières et de M^lle de Saint-André. La prudente Gertrude avait jugé à propos de servir dans la chambre le dîner qu'elle avait cuisiné elle-même. Au moment où les deux reclus s'attablaient, le brouillard se leva et un rayon de soleil glissa à travers les arbres jusque sur la nappe blanche. «Voilà qui est de bon augure,» dit Hyacinthe avec une gaieté nerveuse. Elle versa du vin à Daniel: «Buvons, mon ami, au succès de nos armées et à la restauration du roi! — Hé! s'écria Gertrude en haussant les épaules, buvez

plutôt à la paix et au départ de ces maudits Allemands qui m'ont obligée à éteindre mes fours!... Le rétablissement du trône, c'est bel et bon, mais si la guerre continue encore un mois ou deux, nous n'aurons plus que de l'eau à boire à la santé du roi. — Rassurez-vous, ma tante, s'exclama Hyacinthe d'un ton de prophétesse, vous aurez en même temps le roi et la paix... Avant ce soir les jacobins recevront enfin la correction qu'ils méritent! — Ma mie, tu seras donc éternellement incorrigible!... Comme don Quichotte, tu prends plus que jamais tes fantaisies pour des réalités... Toujours les moulins à vent, toujours!...» Comme elle achevait, de nouveaux coups de canon résonnèrent dans la direction de Sainte-Menehould. «Écoutez, murmura le chevalier en tressaillant, ça recommence?» La canonnade reprenait en effet, mais avec une furie bien plus violente. La chanoinesse laissa tomber sa fourchette et leva brusquement la tête. Ses pupilles se dilataient et elle tordait convulsivement sa serviette en écoutant avec une inquiète surprise la voix grondante de l'artillerie. Les décharges se succédaient presque sans interruption avec un fracas plus retentissant. La canonnade du matin n'était rien auprès de ces continuels roulements de tonnerre qui emplissaient la forêt. Hyacinthe se demandait avec angoisse si elle ne s'était pas trompée dans ses conjectures. Les troupes révolutionnaires ne s'étaient donc pas débandées ainsi qu'elle l'espérait, puisque le feu des batteries se rallumait plus ardent? C'était un combat d'escarmouche qu'elle avait entendu en s'éveillant, et c'était à cette heure seulement que s'engageait la bataille décisive. Elle n'avait plus faim et, repoussant sa chaise, elle quitta la table. Muette, les lèvres serrées, le front plissé; elle se promenait à travers l'étroite chambre avec une agitation croissante. Le bruit de la canonnade avait également coupé l'appétit au chevalier. Il alla prudemment fermer la croisée et demeura debout derrière les rideaux. Sa nature de lièvre reprenait le dessus et lui ôtait tout sang-froid: à chaque détonation il tressautait et s'effarait, comme s'il eût été le point de mire des canons. Le fracas des batteries devenait de plus en plus intense. Quand le vent d'ouest l'apportait par la vallée de la Biesme, les vitres de la maison tremblaient. On eût dit que la forêt tout entière, secouée par un ouragan, se déracinait et s'effondrait. Les hôtes de la cellule ne s'adressaient plus la parole. M^lle^ de Saint-André elle-même paraissait effrayée. Elle

s'était assise, et tirant de sa poche un tricot grossier, elle agitait machinalement les aiguilles sans desserrer les lèvres. Tous trois pressentaient dans ce continuel roulement de tonnerre quelque chose de décisif et de formidable. C'étaient deux races, deux mondes qui s'entrechoquaient là-bas, derrière les collines, et se portaient ces coups terribles qui retentissaient jusqu'au cœur de la forêt! Qui aurait le dessus? Qui l'emporterait de la vieille royauté séculaire ou du régime nouveau?... Hyacinthe énervée s'impatientait des soupirs et des effrois du chevalier. Elle l'obligea à quitter la fenêtre qu'elle ouvrit toute grande. Le cœur palpitant, les yeux sombres, elle se penchait au dehors. Elle semblait interroger anxieusement les masses profondes de la futaie et les blancs nuages échevelés qui fuyaient vers l'est après avoir un moment plané au-dessus du champ de bataille. De mortelles heures se passèrent ainsi. Le ciel s'était de nouveau couvert. A la tombée du crépuscule, le bruit de la canonnade s'affaiblit; on ne percevait plus que de sourdes détonations largement espacées, puis tout se tut. La bataille était finie. La forêt d'Argonne retombait dans son pacifique silence de tous les jours. Immobile à la fenêtre, Hyacinthe n'entendait plus que le frisson des feuilles jaunissantes, et plus près, dans les charmilles, le gazouillement menu d'un petit rouge-gorge qui murmurait insoucieusement sa familière chanson d'automne... La chanoinesse s'enfiévrait. Malgré les observations de Gertrude et les prières du chevalier, elle s'entêtait à rester à la fenêtre, espérant toujours ouïr le trot du cheval d'Élie de Courouvre. A la nuit, un orage violent éclata, comme si, dans l'atmosphère troublée par la canonnade, les éléments déchaînés eussent voulu faire écho aux tempêtes de la bataille. La pluie ruisselante obligea la jeune femme à fermer la croisée. Elle reprit alors sa marche nerveuse à travers la chambre. Il était près de neuf heures, quand deux coups de feu, tirés dans la direction du village, attirèrent l'attention de Hyacinthe. L'instant d'après, on entendit quelqu'un traverser précipitamment la cour, et M^lle^ de Saint-André, qui était descendue pour s'enquérir de ce qui arrivait, reparut, une lanterne à la main, poussant Élie de Courouvre dans la chambre. «C'est sur vous qu'on a tiré! s'écria la chanoinesse haletante. — Pardine! répondit le verrier essoufflé, les *sacrés mâtins* m'ont canardé à la lisière du taillis, et c'est mon pauvre bidet qui a tout reçu... Je l'ai laissé sous bois en train de

crever... Moi, je n'ai rien. — On s'est battu là-bas? — Oui, à coups de canon, et ferme! — Les jacobins ont eu le dessous? — Nenni... Les *malabres!* ils gardent leurs positions... et les Allemands aussi... — Alors c'est à recommencer! — Ma fi, oui!» L'excitation d'Hyacinthe s'éteignait; sa figure prenait une morne expression de désappointement. «Vous avez vu le prince de Prusse? dit-elle d'une voix altérée. — Ça n'a pas été sans peine... On me renvoyait d'Hérode à Pilate. Enfin je l'ai joint à la ferme des Meigneux... Il n'a pas pu vous écrire, comme de juste, seulement il m'a commandé de vous dire qu'il fallait regagner Verdun le plus vite possible. — Verdun!... Pourquoi?... J'ai pris mes mesures pour suivre l'état-major.» Le verrier eut un narquois clignement d'yeux: «Vous le précéderez au lieu de le suivre, voilà tout. — Qu'est-ce que cela signifie!... L'armée royale ne marche-t-elle pas sur Paris?» Courouvre haussa les épaules: «Ah! oua!... Ils ont perdu la tête et ne savent plus s'ils iront à *hue* ou à *dia*... Les soldats ont la colique, les chefs eux-mêmes sont *débiscaillés*... Entre nous, je crois qu'ils ont de la guerre plein le dos et qu'ils rentreront tout bêtement chez eux...»

(*La Chanoinesse.*)

22. Rule, Britannia.

L'hôtel de la *Belle Image* où Estève a pris pension est surtout fréquenté par la colonie étrangère. — A cette époque lointaine, les bords de la Loire entre Blois et Saumur étaient encore considérés comme d'agréables stations hivernales; on y vivait plantureusement, à des prix doux, et les Anglais y séjournaient volontiers. — Cet hiver, le personnel de la table d'hôte est moins nombreux et moins mondain que d'ordinaire. Dans la vaste salle à manger, décorée de panneaux réprésentant les principaux châteaux de la Touraine, Estève n'a jusqu'à présent pour commensaux qu'une famille polonaise, un long gentleman irlandais blafard qui se grise tous les soirs, et enfin le clergyman escorté des deux vieilles misses aux dents jaunes et aux cheveux rares. Les Polonais — père, mère et trois filles, portant tous «le deuil de la patrie», sont bavards, bruyants et insupportables comme des mouches; l'Irlandais, flegmatique, mange silencieusement de tous les plats en les arrosant de larges rasades de sherry; le clergyman ne cause qu'en anglais avec

les deux vierges montées en graine; le jeune Boussenet s'ennuie ferme et commence à regretter de payer fort cher l'honneur de s'attabler en compagnie si peu attrayante.

Un soir de février, à l'heure du dîner, il remarque qu'on a réservé entre lui et la famille du *vicar* deux places encore inoccupées. Tandis qu'il déplie sa serviette et entame son potage, deux dames entrent dans la salle et, après un moment d'hésitation, se dirigent vers les chaises réservées. Estève relève la tête et tressaute soudain en reconnaissant, dans les deux nouvelles venues, la jeune femme et la jeune fille qui ont partagé son compartiment entre les Aubrais et Châteauneuf. Elles aussi l'ont reconnu. Elles échangent un sourire, lui adressent un léger salut, puis s'asseyent et mangent leur dîner sans paraître autrement désireuses d'entrer en conversation. Estève n'en est pas moins ravi de la rencontre. Il étudie à la dérobée ses voisines; elles lui semblent plus séduisantes encore dans leur toilette de ville. Elles ne dévorent pas gloutonnement ainsi que les Polonaises d'en face; le dîner n'est pas pour elles, comme pour le clergyman, un devoir important dont il faut s'acquitter consciencieusement; c'est plutôt un plaisir auquel elles se livrent avec de petites mines gourmandes et raffinées. Elles donnent du charme à cette besogne prosaïque en l'agrémentant de menus gestes gracieux. De temps en temps leurs beaux yeux coulent un regard dans la direction du voisin, mais le repas s'achève sans qu'elles se soucient de lui parler. Au dessert, après avoir picoré quelques fraises, elles se lèvent, saluent de nouveau et disparaissent.

Estève, à la fois déçu et émoustillé, ne tarde pas à les imiter; mais, avant de regagner son logis, il passe par le bureau et questionne la nièce du propriétaire sur les deux voyageuses. L'aînée, la blonde aux royales épaules, se nomme Mrs Sandford; la châtaine aux yeux couleur de bleuet est sa jeune sœur et répond au nom de Nancy Blossom. Ces dames ont acheté une villa sur les bords de la Choisille et comptent séjourner à l'hôtel en attendant l'achèvement de certains travaux d'appropriation. Ces renseignements surexcitent l'imagination de Boussenet; il rêve déjà de s'insinuer dans les bonnes grâces des étrangères et de faire la conquête de l'une d'elles. Le lendemain, il attend l'heure du déjeuner avec une impatience peu ordinaire et, quand il arrive dans la salle, il a la satisfaction de voir les deux sœurs in-

stallées aux mêmes places que la veille. Il les salue avant de s'asseoir, elles lui rendent son salut, et c'est tout. Mrs Sandford se montre polie mais tient son voisin à distance. Par contre, elle s'est fait présenter le clergyman, et cause avec lui dans sa langue maternelle. Cette conversation en anglais, qui devient plus familière à chaque repas, désespère Estève, le rend jaloux du *vicar* et des deux vieilles filles. Il enrage de ne pas comprendre un traître mot, et se dit qu'il n'avancera à rien, faute d'être initié à cet inintelligible idiome britannique. Là-dessus, le voilà pris d'un beau zèle et il se met en tête d'apprendre l'anglais. Le même soir, en parcourant un journal local, il remarque à la quatrième page l'annonce suivante: «L'anglais enseigné en deux mois. Cours de Mrs Gowany, rue de la Guerche, 17.» Ces deux lignes dansent devant ses yeux, comme une joyeuse inspiration tombée des étoiles... Pourquoi ne suivrait-il pas ce cours? Il est encore assez jeune pour redevenir écolier et les beaux yeux des dames Sandford valent bien qu'il s'impose un pensum de deux heures par jour...

Le lendemain, au sortir de son bureau, il se décide à se mettre en quête du professeur femelle dont il a noté l'adresse. Le voilà rue de la Guerche. Mrs Gowany habite entre cour et jardin un petit pavillon tapissé de chèvrefeuilles grimpants, et la physionomie de cette façade enguirlandée semble à Estève de bon augure. Il agite une sonnette au tintement argentin. Une servante à la coiffe tourangelle ouvre la porte, introduit le visiteur dans un parloir sobrement meublé et lui annonce que madame sera là dans quelques minutes. Au même moment, on entend dans le couloir des bruits de pas, des froufrous de jupes, des rires de fillettes. Ce sont les élèves du cours qui prennent leur volée et voici Mrs Gowany qui apparaît à l'entrée du parloir.

Boussenet s'était imaginé avoir affaire à quelque vieille institutrice, austère et rechignée. A son grand étonnement, il se trouve en face d'une femme de trente ans, svelte, mince, à l'allure un peu raide, mais ayant de claires prunelles couleur noisette, de soyeux cheveux bruns et un teint éblouissant de fraîcheur. Le nez est d'un dessin très pur, la bouche mignonne, aux lèvres suffisamment entr'ouvertes pour laisser voir des dents blanches, a une légère expression de pruderie tout à fait provocante. Le jeune homme, agréablement surpris, expose de son mieux l'objet de sa visite. Un sourire glisse dans les yeux de Mrs

Gowany à l'aspect de cet élève très adulte; mais elle reprend vite son sérieux professionnel et dit, avec un accent britannique qui n'est pas sans grâce:

— Peut-être, monsieur, êtes-vous un peu âgé pour suivre un cours fait à des enfants de quatorze ans? Cela vous gênerait, et je crois que des leçons particulières vous seraient plus profitables...

Le prix des leçons particulières est naturellement plus élevé; mais Estève s'est trop avancé pour reculer. D'ailleurs, la perspective d'un tête-à-tête avec cette aimable *governess* n'est pas pour lui déplaire. Il se souvient du conseil donné par un de ses commensaux: «Pour bien apprendre une langue étrangère, rien de tel que d'avoir une grammaire en jupons...» et il se décide à accepter l'arrangement proposé: — trois fois par semaine, de cinq à six, il viendra passer une heure au domicile de Mrs Gowany. Dès le surlendemain les leçons commencent, et Boussenet s'initie bravement aux procédés de la méthode Ollendorff. Chaque jour, il acquiert la notion d'une vingtaine de mots usuels, avec lesquels il construit des phrases puérilement baroques, dans le genre de celles-ci: «Avez-vous la maison de ma tante?— Non, je n'ai pas la maison de votre tante, mais j'ai le couteau de votre oncle... «La jeune dame s'acquitte consciencieusement de ses devoirs de professeur. Quand elle pousse ses interrogations avec un entrain tout à fait engageant: «*Have you my aunt's house?*» ses yeux s'éclairent, sa bouche s'épanouit comme une fleur; Estève s'arrête pour admirer la limpidité des prunelles couleur noisette, la grâce des lèvres pulpeuses, et reste un bon moment avant de répondre: «*I have not your aunt's house...*»

Mrs Gowany est d'origine irlandaise; elle a la vivacité et l'humour des enfants de «l'Ile verte», avec un grain de cette poésie romanesque qui est l'apanage des races celtiques. Son mari, M. Gowany, est un Ecossais mâtiné de Normand, qui voyage pour la chemiserie et les cravates, et ne revient que de loin en loin au *home* conjugal. Beaucoup plus âgé que sa femme, petit, trapu, avec des yeux roux et des favoris poivre et sel, il ne paye pas de mine. A l'une de ses courtes apparitions, il a été présenté à Estève Boussenet, qui lui a trouvé l'air faux et la démarche féline. Depuis lors, chaque fois que le hasard les remet en présence, M. Gowany ne manque pas d'insinuer qu'on recon-

naît un jeune homme distingué à son linge et à ses cravates. Il insiste sur ce point avec une éloquence si onctueusement persuasive que Boussenet, intimidé, croit devoir, pour se bien poser aux yeux de M-me Gowany, commander au mari des chemises fines et des nœuds Lavallière. Heureusement, ces rencontres sont rares; sans quoi, le budget de notre ami n'y résisterait pas.

Les leçons se poursuivent régulièrement, et le studieux Estève fait de sensibles progrès. Cela tient-il à l'excellence de la méthode Ollendorff, ou bien à la façon suggestive dont Minnie Gowany s'y prend pour graver les noms, les adjectifs et les verbes dans la mémoire de son élève?... Comment ne pas retenir les mots que ces mignonnes lèvres répètent avec un si joli gazouillement d'oiseau? Comment ne pas mettre tout son amour-propre et tout son cœur à contenter un professeur féminin dont les yeux vous interrogent avec des regards si étincelants?

Rien n'est périlleux, dans la vie ordinaire, comme de se retrouver périodiquement en tête-à-tête avec une femme jeune et séduisante. Le péril est plus grand encore, lorsque cette jeune femme est chargée de vous donner un enseignement quelconque. L'échange des questions et des réponses introduit forcément dans le commerce de chaque jour une intimité. Il arrive alors qu'un écolier de l'âge d'Estève partage inégalement son attention entre les notions qu'on lui inculque et les attraits physiques de l'institutrice. Mrs Gowany, avec son petit air prude que démentent les caresses de ses luisantes prunelles, est singulièrement provocante. Tandis qu'elle s'évertûe à expliquer les bizarreries de la prononciation anglaise, Boussenet promène ses yeux enhardis sur les cheveux bruns tordus en un lourd chignon, sur les molles inflexions du cou, la rondeur du buste et des bras, et il se dit en son par-dedans que la dame doit être une fausse maigre. Parfois, leurs regards se rencontrent et se fondent un moment les uns dans les autres: Minnie s'émeut, puis, se raidissant, avec une affectation de dignité sévère, elle murmure: «*Sir, let us resume our lesson...*» (Monsieur, reprenons notre leçon.) La conversation a lieu maintenant entièrement en anglais; Estève en profite souvent pour risquer de galantes réflexions, qui n'ont rien à démêler avec la grammaire et qui font rougir jusqu'aux yeux Mrs Gowany...

Les jours grandissent, on entre en avril, et, en Touraine, le printemps est particulièrement tentateur. Quand vient l'heure de la leçon, Estève apporte avec lui un bouquet de violettes qu'il offre à M-me Minnie et que celle-ci pique en souriant dans son corsage. La fenêtre ouverte envoie dans le parloir des bouffées d'aubépine et de lilas. On a laissé de côté la grammaire, et on lit maintenant Byron. La maîtresse et l'écolier, assis l'un près de l'autre, penchent leur tête sur le texte du premier chant de *Don Juan*; ils en sont au passage où Juan et Julia savourent en tête-à-tête les délices de l'amour qui commence:

«*There is a dangerous silence in that hour...*»

Un dangereux silence règne aussi dans le petit parloir; un silence tendre comme l'odeur des violettes qui se fanent au corsage de Mrs Gowany. La voix du lecteur s'embarrasse, les joues de la maîtresse d'anglais s'empourprent ainsi que des roses rouges. Brusquement, le bras d'Estève enserre la taille de sa voisine, et, très doucement, il murmure:

— *Minnie, I love you!*

Minnie ne bouge pas; elle ne tente aucun effort pour se dégager du bras qui l'etreint; seulement, sa poitrine est oppressée. Les yeux pudiquement baissés, elle répond avec un redoublement de rougeur:

— Oh! *mister* Boussenet, est-ce possible?...

Puis, plus bas, elle reprend:

— J'ai honte... Du moins, promettez-moi que nous ne ferons jamais le mal!...

Mais Estève ne promet rien: il serre plus étroitement la taille qui s'abandonne, attire vers lui la palpitante Minnie et lui baise lentement les yeux...

Et, ce jour-là, ils ne lurent pas Byron plus avant...

ERCKMANN-CHATRIAN.

23. **Première bataille.**

Entre la ville et nous s'étendait un repli de terrain profond. Le maréchal Ney, qui venait d'arriver aussi, voulut savoir avant tout ce qui se trouvait là-dedans. Deux compagnies du 27[e] furent déployées en tirailleurs, et les carrés se mirent à marcher au pas ordinaire: les

officiers, les sapeurs, les tambours à l'intérieur, les canons dans l'intervalle, et les caissons derrière le dernier rang. Tout le monde se défiait de ce creux, d'autant plus que nous avions vu, la veille, une masse de cavalerie qui ne pouvait pas s'être sauvée jusqu'au bout de la grande plaine que nous découvrions en tout sens. C'était impossible; aussi je n'ai jamais eu plus de défiance qu'en ce moment: je m'attendais à quelque chose. Malgré cela, de nous voir tous bien en rang, le fusil chargé, notre drapeau sur le front de bataille, nos généraux derrière, pleins de confiance, — de nous voir marcher ainsi sans nous presser et de nous entendre appuyer le pas en masse, cela nous donnait un grand courage. Je me disais en moi-même: «Peut-être qu'en nous voyant ils se sauveront; ce serait encore ce qui vaudrait le mieux pour eux et pour nous.» J'étais au second rang, derrière Zébédé, sur le front, et l'on peut se figurer si j'ouvrais les yeux. De temps en temps je regardais un peu de côté l'autre carré qui s'avançait sur la même ligne, et je voyais le maréchal au milieu avec son état-major. Tous levaient la tête, leurs grands chapeaux de travers, pour voir de loin ce qui se passait. Les tirailleurs arrivaient alors près du ravin bordé de broussailles et de haies vives. Déjà, quelques instants avant, j'avais aperçu plus loin, de l'autre côté, quelque chose remuer comme des épis où passe le vent; l'idée m'était venue que les Russes, avec leurs lances et leurs sabres, pouvaient bien être là; j'avais pourtant de la peine à le croire. Mais, au moment où nos tirailleurs s'approchaient des bruyères, et comme la fusillade s'engageait en plusieurs endroits, je vis clairement que c'étaient des lances. Presque aussitôt un éclair brilla juste en face de nous, et le canon tonna. Ces Russes avaient des canons; ils venaient de tirer sur nous, et je ne sais quel bruit m'ayant fait tourner la tête, je vis que dans les rangs, à gauche, se trouvait un vide. En même temps j'entendis le colonel Zapfel qui disait tranquillement: «Serrez les rangs!» Et le capitaine Florentin qui répétait: «Serrez les rangs!» Cela s'était fait si vite que je n'eus pas le temps de réfléchir. Mais, cinquante pas plus loin, il y eut encore un éclair et un bruit dans les rangs — comme un grand souffle qui passe, — et je vis encore un trou, cette fois à droite. Et comme, après chaque coup de canon des Russes, le colonel disait toujours: «Serrez les rangs!» je compris que chaque fois il y avait un vide. Cette idée me troubla tout à fait, mais

il fallait bien marcher. Je n'osais penser à cela, j'en détournais mon esprit, quand le général Chemineau, qui venait d'entrer dans notre carré, cria d'une voix terrible: «Halte!» Alors je regardai et je vis que les Russes arrivaient en masse. «Premier rang, genou terre!... Croisez la baïonnette! cria le général. Apprêtez armes!» Comme Zébédé avait mis le genou à terre, j'étais en quelque sorte au premier rang. Il me semble encore voir avancer en ligne toute cette masse de chevaux et de Russes courbés en avant, le sabre à la main, et entendre le général dire tranquillement derrière nous comme à l'exercice: «Attention au commandement de feu. — Joue... Feu!» Nous avions tiré, les quatre carrés ensemble; on aurait cru que le ciel venait de tomber. A peine la fumée était-elle un peu montée, que nous vîmes les Russes qui repartaient ventre à terre; mais nos canons tonnaient, et nos boulets allaient plus vite que leurs chevaux. «Chargez!» cria le général. Je ne crois pas avoir eu dans ma vie un plaisir pareil. «Tiens, tiens, ils s'en vont!» me disais-je en moi-même. Et de tous les côtés on entendait crier: *Vive l'empereur!* Dans ma joie, je me mis à crier comme les autres. Cela dura bien une minute. Les carrés s'étaient remis en marche, on croyait déjà que tout était fini; mais, à deux ou trois cents pas du ravin, il se fit une grande rumeur, et pour la seconde fois le général cria: «Halte!... Genou terre!... Croisez la baïonnette!» Les Russes sortaient du creux comme le vent pour tomber sur nous. Ils arrivaient tous ensemble; la terre en tremblait. On n'entendait plus les commandements; mais le bon sens naturel des soldats français les avertissait qu'il fallait tirer dans le tas, et les feux de file se mirent à rouler comme le bourdonnement des tambours aux grandes revues. Ceux qui n'ont pas entendu cela ne pourront jamais s'en faire une idée. Quelques-uns de ces Russes arrivaient jusque sur nous; on les voyait se dresser dans la fumée, puis, aussitôt après, on ne voyait plus rien. Au bout de quelques instants, comme on ne faisait plus que charger et tirer, la voix terrible du général Chemineau s'éleva, criant: «Cessez le feu!» On n'osait presque pas obéir; chacun se dépêchait de lâcher encore un coup; mais, la fumée s'étant dissipée, on vit cette grande masse de cavaliers qui remontaient de l'autre côté du ravin. Aussitôt on déploya les carrés pour marcher en colonnes. Les tambours battaient la charge, nos canons tonnaient. «En avant! en avant!... *Vive l'empereur!*» Nous

descendîmes dans le ravin par-dessus des tas de chevaux et de Russes qui remuaient encore à terre, et nous remontâmes au pas accéléré du côté de Weissenfels. Tous ces cosaques et ces chasseurs, la giberne sur les reins et le dos plié, galopaient devant nous aussi vite qu'ils pouvaient: la bataille était gagnée!

(Le Conscrit de 1813).

24. Blessé.

J'entrai dans Kaya sur la droite du village, en enjambant des haies et sautant par-dessus de petites palissades que les gens mettent pour séparer les jardins... J'entendais un bruit tellement épouvantable qu'on ne peut s'en faire une idée. Des masses de fumée passaient par-dessus les toits, les tuiles roulaient et tombaient dans la rue, et les boulets enfonçaient les murs ou cassaient les poutres avec un fracas horrible. En même temps, de tous côtés, par les ruelles, par-dessus les haies et les palissades des jardins, entraient nos soldats en se retournant pour faire feu. Il y en avait de tous les régiments, sans shakos, déchirés, couverts de sang, l'air furieux, et, maintenant que j'y pense après tant d'années, c'étaient tous des enfants, de véritables enfants: pas un n'avait de moustaches; mais le courage est né dans la race française! Et comme les Prussiens — conduits par de vieux officiers qui criaient: «*Forwertz! Forwertz!*» — arrivaient en se grimpant en quelque sorte sur le dos, comme des bandes de loups, pour aller plus vite, nous, au coin d'une grange, à vingt ou trente, en face d'un jardin où se trouvaient un petit rucher et de grands cerisiers en fleur qu'il me semble voir encore, nous commençâmes un feu roulant sur ces gueux qui voulaient escalader un petit mur au-dessous et prendre le village. Combien d'entre eux, en arrivant sur ce mur, retombèrent dans la masse, je n'en sais rien; mais il en venait toujours d'autres. Des centaines de balles sifflaient à nos oreilles et s'aplatissaient contre les pierres; le crépi tombait, la paille pendait des poutres, la grande porte à gauche était criblée; et nous derrière la grange, après avoir rechargé, nous faisions la navette pour tirer dans le tas: cela durait juste le temps d'ajuster et de serrer la détente, et, malgré cela, cinq ou six étaient déjà tombés au coin du fenil, le nez à terre; mais notre

rage était si grande que nous n'y faisions pas attention. Comme je retournais là pour la dixième fois, en épaulant, le fusil me tomba de la main; je me baissai pour le ramasser et je tombai dessus: j'avais une balle dans l'épaule gauche; le sang se répandait sur ma poitrine comme de l'eau chaude. J'essayai de me reveler; mais tout ce que je pus faire, ce fut de m'asseoir contre le mur. Alors le sang descendit jusque sur mes cuisses, et l'idée me vint que j'allais mourir en cet endroit, ce qui me donna tout froid. Les camarades continuaient à tirer par-dessus ma tête, et les Prussiens répondaient toujours. En songeant qu'une autre balle pouvait m'achever, je me cramponnai tellement de la main droite au coin du mur pour m'ôter de là, que je tombai dans un petit fossé qui conduisait l'eau de la rue dans le jardin. Mon bras gauche était lourd comme du plomb, ma tête tournait; j'entendais toujours la fusillade, mais comme un rêve. Cela dura quelque temps sans doute. Lorsque je rouvris les yeux, la nuit venait; les Prussiens défilaient dans la ruelle en courant. Ils remplissaient déjà le village.

(Le Conscrit de 1813).

A. DE MUSSET.

25. La jeunesse romantique.

Pendant les guerres de l'Empire, tandis que les maris et les frères étaient en Allemagne, les mères inquiètes avaient mis au monde une génération ardente, pâle, nerveuse. Conçus entre deux batailles, élevés dans les collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. De temps en temps leurs pères ensanglantés apparaissaient, les soulevaient sur leurs poitrines chamarrées d'or, puis les posaient à terre et remontaient à cheval.

Un seul homme était en vie alors en Europe; le reste des êtres tâchait de se remplir les poumons de l'air qu'il avait respiré. Chaque année, la France faisait présent à cet homme de trois cent mille jeunes gens; c'était l'impôt payé à César, et, s'il n'avait ce troupeau derrière lui, il ne pouvait suivre sa fortune. C'était l'escorte qu'il lui fallait pour qu'il pût traverser le monde, et s'en aller tomber dans une petite vallée d'une île déserte, sous un saule pleureur.

Jamais il n'y eut tant de nuits sans sommeil que du temps de cet homme; jamais on ne vit se pencher sur les remparts des villes un tel peuple de mères désolées; jamais il n'y eut un tel silence autour de ceux qui parlaient de mort. Et pourtant jamais il n'y eut tant de joie, tant de vie, tant de fanfares guerrières dans tous les cœurs. Jamais il n'y eut de soleils si purs que ceux qui séchèrent tout ce sang. On disait que Dieu les faisait pour cet homme, et on les appelait ses soleils d'Austerlitz. Mais il les faisait bien lui-même avec ses canons toujours tonnants, et qui ne laissaient des nuages qu'aux lendemains de ses batailles.

C'était l'air de ce ciel sans tache, où brillait tant de gloire, où resplendissait tant d'acier, que les enfants respiraient alors. Ils savaient bien qu'ils étaient destinés aux hécatombes; mais ils croyaient Murat invulnérable, et on avait vu passer l'empereur sur un pont où sifflaient tant de balles, qu'on ne savait s'il pouvait mourir. Et quand même on aurait dû mourir, qu'était-ce que cela? La mort elle-même était si belle alors, si grande, si magnifique dans sa pourpre fumante! elle ressemblait si bien à l'espérance, elle fauchait de si verts épis, qu'elle était comme devenue jeune, et qu'on ne croyait plus à la vieillesse. Tous les berceaux de France étaient des boucliers, tous les cercueils en étaient aussi; il n'y avait vraiment plus de vieillards, il n'y avait que des cadavres ou des demi-dieux. Cependant l'immortel empereur était un jour sur une colline à regarder sept peuples s'égorger; comme il ne savait pas encore s'il serait le maître du monde ou seulement de la moitié, Azraël passa sur la route, il l'effleura du bout de l'aile, et le poussa dans l'Océan. Au bruit de sa chute, les puissances moribondes se redressèrent sur leurs lits de douleur, et avançant leurs pattes crochues, toutes les royales araignées découpèrent l'Europe, et de la pourpre de César se firent un habit d'Arlequin. De même qu'un voyageur, tant qu'il est sur le chemin, court nuit et jour par la pluie et par le soleil, sans s'apercevoir de ses veilles ni des dangers; mais, dès qu'il est arrivé au milieu de sa famille et qu'il s'assoit devant le feu, il éprouve une lassitude sans bornes et peut à peine se traîner à son lit: ainsi la France, veuve de César, sentit tout à coup sa blessure. Elle tomba en défaillance, et s'endormit d'un si profond sommeil, que ses vieux rois, la croyant morte, l'enveloppèrent d'un linceul blanc. La vieille armée en cheveux gris rentra épuisée de fatigue, et les foyers des châteaux déserts se rallumèrent tristement. Alors ces hommes de l'Empire, qui avaient tant couru et tant égorgé, embrassèrent leurs femmes amaigries et parlèrent de leurs premières amours; ils se regardèrent dans les fontaines de leurs prairies natales, et ils s'y virent si vieux, si mutilés, qu'ils se souvinrent de leurs fils, afin qu'on leur fermât les yeux. Ils demandèrent où ils étaient; les enfants sortirent des collèges, et, ne voyant plus ni sabres, ni cuirasses, ni fantassins, ni cavaliers, ils demandèrent à leur tour où étaient leurs pères. Mais on leur répondit que la guerre était finie, que César était mort, et que les portraits de Wellington et de Blücher étaient suspendus dans les antichambres des consulats et des ambassades, avec ces deux mots au bas: *Salvatoribus mundi.* Alors s'assit sur un monde en ruine une jeunesse soucieuse. Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre, ils étaient nés au sein de la guerre, pour la guerre. Ils avaient rêvé pendant quinze ans des neiges de Moscou et du soleil des Pyramides. Ils n'étaient pas sortis de leurs villes; mais on leur avait dit que, par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde; ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins: tout cela était vide, et les cloches de leurs paroisses résonnaient seules dans le lointain. De pâles fantômes couverts de robes noires, traversaient lentement les campagnes; d'autres frappaient aux portes des maisons, et dès qu'on leur avait ouvert, ils tiraient de leurs poches de grands parchemins tout usés avec lesquels ils chassaient les habitants. De tous côtés arrivaient des hommes encore tout tremblants de la peur qui leur avait pris à leur départ, vingt ans auparavant. Tous réclamaient, disputaient et criaient; on s'étonnait qu'une seule mort pût appeler tant de corbeaux.

Le roi de France était sur son trône, regardant çà et là s'il ne voyait pas une abeille dans ses tapisseries. Les uns lui tendaient leur chapeau, et il leur donnait de l'argent; les autres lui montraient un crucifix, et il le baisait; d'autres se contentaient de lui crier aux oreilles de grands noms retentissants, et il répondait à ceux-là d'aller dans sa grand'salle, que les échos en étaient sonores; d'autres encore lui montraient leurs vieux manteaux, comme ils en avaient bien effacé les abeilles, et à ceux-là il donnait un habit neuf. Les enfants regardaient tout cela,

pensant toujours que l'ombre de César allait débarquer à Cannes et souffler sur ces larves; mais le silence continuait toujours, et l'on ne voyait flotter dans le ciel que la pâleur des lis. Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait: «Faites-vous prêtres»; quand ils parlaient d'ambition: «Faites-vous prêtres»; d'espérance, d'amour, de force, de vie: «Faites-vous prêtres!» Cependant il monta à la tribune aux harangues un homme qui tenait à la main un contrat entre le roi et le peuple; il commença à dire que la gloire était une belle chose, et l'ambition de la guerre aussi, mais qu'il y en avait une plus belle, qui s'appelait la liberté. Les enfants relevèrent la tête et se souvinrent de leurs grands-pères, qui en avaient aussi parlé. Ils se souvinrent d'avoir rencontré, dans les coins obscurs de la maison paternelle, des bustes mystérieux avec de longs cheveux de marbre et une inscription romaine; ils se souvinrent d'avoir vu le soir, à la veillée, leurs aïeules branler la tête et parler d'un fleuve de sang bien plus terrible encore que celui de l'empereur. Il y avait pour eux, dans ce mot de liberté, quelque chose qui leur faisait battre le cœur, à la fois comme un lointain et terrible souvenir et comme une chère espérance, plus lointaine encore. Ils tressaillirent en l'entendant; mais en rentrant au logis ils virent trois paniers qu'on portait à Clamart; c'étaient trois jeunes gens qui avaient prononcé trop haut ce mot de liberté. Un étrange sourire leur passa sur les lèvres à cette triste vue; mais d'autres harangueurs, montant à la tribune, commencèrent à calculer publiquement ce que coûtait l'ambition, et que la gloire était bien chère; ils firent voir l'horreur de la guerre, et appelèrent boucheries les hécatombes. Et ils parlèrent tant et si longtemps, que toutes les illusions humaines, comme des arbres en automne, tombaient feuille à feuille autour d'eux, et que ceux qui les écoutaient passaient leur main sur leur front, comme des fiévreux qui s'éveillent. Les uns disaient: «Ce qui a causé la chute de l'empereur, c'est que le peuple n'en voulait plus»; les autres: «Le peuple voulait le roi; non, la liberté; non, la raison; non, la religion; non, la constitution anglaise, non, l'absolutisme»; un dernier ajouta: «Non, rien de tout cela› mais le repos».

Trois éléments partageaient donc la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens: derrière eux un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme; devant eux l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir; et entre ces deux mondes... quelque chose de semblable à l'Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque navire soufflant une lourde vapeur; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait, à chaque pas qu'on fait, si l'on marche sur une semence ou sur un débris. Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors; voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d'audace, fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution. Comme à l'approche d'une tempête, il passe dans les forêts un vent terrible qui fait frissonner tous les arbres, à quoi succède un profond silence; ainsi Napoléon avait tout ébranlé en passant sur le monde; les rois avaient senti vaciller leur couronne, et, portant leur main à leur tête, ils n'y avaient trouvé que leurs cheveux hérissés de terreur. Le pape avait fait trois cents lieues pour le bénir au nom de Dieu et lui poser son diadème; mais Napoléon le lui avait pris des mains. Ainsi tout avait tremblé dans cette forêt lugubre de la vieille Europe; puis le silence avait succédé. On dit que, lorsqu'on rencontre un chien furieux, si on a le courage de marcher gravement sans se retourner, et d'une manière régulière, le chien se contente de vous suivre pendant un certain temps en grommelant entre ses dents; tandis que, si on laisse échapper un geste de terreur, si on fait un pas trop vite, il se jette sur vous et vous dévore; car une fois la première morsure faite, il n'y a plus moyen de lui échapper. Or, dans l'histoire européenne, il était arrivé souvent qu'un souverain eût fait ce geste de terreur et que son peuple l'eût dévoré; mais, si on l'avait fait, tous ne l'avaient pas fait en même temps, c'est-à-dire qu'un roi avait disparu, mais non la majesté royale. Devant Napoléon, la majesté royale l'avait fait, ce geste qui perd tout, et non seulement la majesté, mais la noblesse, mais toute puissance divine et humaine. Napoléon mort, les puissances divines et humaines étaient bien rétablies de fait, mais la croyance en elles n'existait plus. Il y a un danger terrible à savoir ce qui est possible, car l'esprit va toujours plus loin. Autre chose de se dire: «Ceci pourrait être», ou de se dire: «Ceci a été»; c'est la première morsure du chien. Napoléon

despote fut la dernière lueur de la lampe du despotisme; il détruisit et parodia les rois, comme Voltaire les livres saints. Et après lui on entendit un grand bruit: c'était la pierre de Saint-Hélène qui venait de tomber sur l'ancien monde. Aussitôt parut dans le ciel l'astre glacial de la raison, et ses rayons, pareils à ceux de la froide déesse des nuits, versant de la lumière sans chaleur, enveloppèrent le monde d'un suaire livide. On avait bien vu jusqu'alors des gens qui haïssaient les nobles, qui déclamaient contre les prêtres, qui conspiraient contre les rois; on avait bien crié contre les abus et les préjugés; mais ce fut une grande nouveauté que de voir le peuple en sourire. S'il passait un noble, ou un prêtre, ou un souverain, les paysans qui avaient fait la guerre commençaient à hocher la tête et à dire: «Ah! celui-là, nous l'avons vu en temps et lieu; il avait un autre visage». Et, quand on parlait du trône et de l'autel, ils répondaient: «Ce sont quatre ais de bois; nous les avons cloués et décloués». Et quand on leur disait: «Peuple, tu es revenu des erreurs qui t'avaient égaré; tu as appelé tes rois et tes prêtres», ils répondaient: «Ce n'est pas nous, ce sont ces bavards-là». Et quand on leur disait: «Peuple, oublie le passé, laboure et obéis», ils se redressaient sur leurs sièges, et on entendait un sourd retentissement. C'était un sabre rouillé et ébréché qui avait remué dans un coin de la chaumière. Alors on ajoutait aussitôt: «Reste en repos du moins; si on ne te nuit pas, ne cherche pas à nuire». Hélas! ils se contentaient de cela. Mais la jeunesse ne s'en contentait pas. Il est certain qu'il y a dans l'homme deux puissances occultes qui combattent jusqu'à la mort: l'une, clairvoyante et froide, s'attache à la réalité, la calcule, la pèse, et juge le passé; l'autre a soif de l'avenir et s'élance vers l'inconnu. Quand la passion emporte l'homme, la raison le suit en pleurant et en l'avertissant du danger; mais, dès que l'homme s'est arrêté à la voix de la raison, dès qu'il s'est dit: «C'est vrai, je suis un fou; où allais-je?» la passion lui crie: «Et moi, je vais donc mourir?» Un sentiment de malaise inexprimable commença donc à fermenter dans tous les jeunes cœurs. Condamnés au repos par les souverains du monde, livrés aux cuistres de toute espèce, à l'oisiveté et à l'ennui, les jeunes gens voyaient se retirer d'eux les vagues écumantes contre lesquelles ils avaint préparé leurs bras. Tous ces gladiateurs frottés d'huile se sentaient au fond de l'âme une misère insupportable. Les plus riches

se firent libertins; ceux d'une fortune médiocre prirent un état, et se résignèrent soit à la robe, soit à l'épée; les plus pauvres se jetèrent dans l'enthousiasme à froid, dans les grands mots, dans l'affreuse mer de l'action sans but. Comme la faiblesse humaine cherche l'association et que les hommes sont troupeau de nature, la politique s'en mêla. On s'allait battre avec les gardes du corps sur les marches de la Chambre législative, on courait à une pièce de théâtre où Talma portait une perruque qui le faisait ressembler à César, on se ruait à l'enterrement d'un député liberal. Mais des membres des deux partis opposées, il n'en était pas un qui, en rentrant chez lui, ne sentît amèrement le vide de son existence, et la pauvreté de ses mains.

. . . .

Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes: le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n'est plus; tout ce qui sera n'est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux.

Voilà un homme dont la maison tombe en ruine; il l'a démolie pour en bâtir une autre. Les décombres gisent sur son champ, et il attend des pierres nouvelles pour son édifice nouveau. Au moment où le voilà prêt à tailler ses moellons et à faire son ciment, la pioche en main, les bras retroussés, on vient lui dire que les pierres manquent, et lui conseiller de reblanchir les vieilles pour en tirer parti. Que voulez-vous qu'il fasse, lui qui ne veut point de ruines pour faire un nid à sa couvée? La carrière est pourtant profonde, les instruments trop faibles pour en tirer les pierres. «Attendez, lui dit-on, on les tirera peu à peu; espérez, travaillez, avancez, reculez». Que ne lui dit-on pas? Et pendant ce temps-là cet homme, n'ayant plus sa vieille maison et pas encore sa maison nouvelle, ne sait comment se défendre de la pluie, ni comment préparer son repas du soir, ni où travailler, ni où reposer, ni où vivre, ni où mourir; et ses enfants sont nouveau-nés.

Ou je me trompe étrangement, ou nous ressemblons à cet homme. O peuples des siècles futurs! lorsque, par une chaude journée d'été, vous serez courbés sur vos charrues dans les vertes campagnes de la patrie; lorsque vous verrez, sous un soleil pur et sans tache, la terre, votre mère féconde, sourire dans sa robe matinale au travailleur, son enfant bien-aimé; lorsque, essuyant sur vos fronts tranquilles le saint baptême

de la sueur, vous promènerez vos regards sur votre horizon immense, où il n'y aura pas un épi plus haut que l'autre dans la moisson humaine, mais seulement des bluets et des marguerites au milieu des blés jaunissants: o hommes libres! quand alors vous remercierez Dieu d'être nés pour cette récolte, pensez à nous qui n'y serons plus, dites-vous que nous avons acheté bien cher le repos dont vous jouirez; plaignez-nous plus que tous vos pères; car nous avons beaucoup de maux qui les rendaient dignes de plainte, et nous avons perdu ce qui les consolait.

(*La confession d'un enfant du siècle*).

Impromptu.

EN RÉPONSE A CETTE QUESTION: QU'EST-CE QUE LA POÉSIE?

Chasser tout souvenir et fixer la pensée;
Sur un bel axe d'or la tenir balancée,
Incertaine, inquiète, immobile pourtant;
Éterniser peut-être un rêve d'un instant;
Aimer le vrai, le beau, chercher leur harmonie;
Écouter dans son cœur l'écho de son génie;
Chanter, rire, pleurer, seul, sans but, au hasard;
D'un sourire, d'un mot, d'un soupir, d'un regard
Faire un travail exquis, plein de crainte et de charme,
Faire une perle d'une larme:
Du poète ici-bas voilà la passion,
Voilà son bien, sa vie et son ambition.

La Mort.

Hommes, vous qui savez comprendre la douleur,
Gémir, jeter des pleurs, prier sur une tombe,
Pensez-vous quelquefois à ce que doit souffrir
Celui qui voit ainsi l'infortuné qui tombe,
Et lui tend une main qu'il ne peut plus saisir?
Celui qui sur un lit vient pencher son front blême
Où les nuits sans sommeil ont gravé leur pâleur,
Et là, d'un œil ardent, chercher sur ce qu'il aime

Comme un signe de vie, un signe de douleur;
Qui, suspendant son âme à cette âme adorée,
S'attache à ce rameau qui va l'abandonner;
Qui, maudissant le jour et sa vue abhorrée,
Sent son cœur plein de vie, et n'en peut rien donner?
Et lorsque la dernière étincelle est éteinte,
Quand il est resté là, — sans espoir et sans crainte,
— Qu'il contemple ces traits, ce calme plein d'horreur,
Ces longs bras amaigris traînant hors de la couche,
Ce corps frêle et roidi, ces yeux et cette bouche,
Où le néant ressemble encore à la douleur...
Il soulève une main qui retombe glacée;
Et s'il doute, insensé! s'il se retourne, il voit
La Mort branlant la tête et lui montrant du doigt
L'être pâle, étendu sans vie et sans pensée.

(*Extrait du Saule*).

MERIMÉE.

26. L'enlèvement de la Redoute.

Un militaire de mes amis, qui est mort de la fièvre en Grèce il y a quelques années, me conta un jour la première affaire à laquelle il avait assisté. Son récit me frappa tellement, que je l'écrivis de mémoire aussitôt que j'en eus le loisir. Le voici: Je rejoignis le régiment le 4 septembre au soir. Je trouvai le colonel au bivac. Il me reçut d'abord assez brusquement; mais après avoir lu la lettre de recommandation du général B***, il changea de manières, et m'adressa quelques paroles obligeantes. Je fus présenté par lui à mon capitaine, qui revenait à l'instant même d'une reconnaissance. Ce capitaine, que je n'eus guère le temps de connaître, était un grand homme brun, d'une physionomie dure et repoussante. Il avait été simple soldat, et avait gagné ses épaulettes et sa croix sur les champs de bataille. Sa voix, qui était enrouée et faible, contrastait singulièrement avec sa stature presque gigantesque. On me dit qu'il devait cette voix étrange à une balle qui l'avait percé de part en part à la bataille d'Iéna. En apprenant que je sortais de l'école de Fontainebleau, il fit la grimace et dit: «Mon lieutenant est mort hier...»

Je compris qu'il voulait dire: «C'est vous qui devez le remplacer, et vous n'en êtes pas capable.» Un mot piquant me vint sur les lèvres, mais je me contins. La lune se leva derrière la redoute de Cheverino, située à deux portées de canon de notre bivac. Elle était large et rouge comme cela est ordinaire à son lever. Mais, ce soir-là, elle me parut d'une grandeur extraordinaire. Pendant un instant, la redoute se détacha en noir sur le disque éclatant de la lune. Elle ressemblait au cône d'un volcan au moment de l'éruption. Un vieux soldat, auprès duquel je me trouvais, remarqua la couleur de la lune. — «Elle est bien rouge», dit-il; «c'est signe qu'il en coûtera bon pour l'avoir, cette fameuse redoute!» J'ai toujours été superstitieux, et cet augure, dans ce moment surtout, m'affecta. Je me couchai, mais je ne pus dormir. Je me levai, et je marchai quelque temps, regardant l'immense ligne de feux qui couvrait les hauteurs au delà du village de Cheverino. Lorsque je crus que l'air frais et piquant de la nuit avait assez rafraichi mon sang, je revins auprès du feu; je m'enveloppai soigneusement dans mon manteau et je fermai les yeux, espérant ne pas les ouvrir avant le jour. Mais le sommeil me tint rigueur. Insensiblement mes pensées prenaient une teinte lugubre. Je me disais que je n'avais pas un ami parmi les cent mille hommes qui couvraient cette plaine. Si j'étais blessé, je serais dans un hôpital, traité sans égards par des chirurgiens ignorants. Ce que j'avais entendu dire des opérations chirurgicales me revint à la mémoire. Mon cœur battait avec violence, et machinalement je disposais, comme une espèce de cuirasse, le mouchoir et le portefeuille que j'avais sur la poitrine. La fatigue m'accablait, je m'assoupissais à chaque instant, et à chaque instant quelque pensée sinistre se reproduisait avec plus de force et me réveillait en sursaut. Cependant la fatigue l'avait emporté, et, quand on battit la diane, j'étais tout à fait endormi. Nous nous mîmes en bataille, on fit l'appel, puis on remit les armes en faisceaux, et tout annonçait que nous allions passer une journée tranquille. Vers trois heures, un aide de camp arriva, apportant un ordre. On nous fit reprendre les armes; nos tirailleurs se répandirent dans la plaine, nous les suivîmes lentement, et, au bout de vingt minutes, nous vîmes tous les avant-postes des Russes se replier et rentrer dans la redoute. Une batterie d'artillerie vint s'établir à notre droite, une autre à notre gauche, mais toutes les deux bien en avant de nous. Elles commencèrent un feu très vif sur l'ennemi, qui riposta énergiquement, et bientôt la redoute de Cheverino disparut sous des nuages épais de fumée. Notre régiment était presque à couvert du feu des Russes par un pli de terrain. Leurs boulets, rares d'ailleurs pour nous (car ils tiraient de préférence sur nos canonniers), passaient au dessus de nos têtes, ou tout au plus nous envoyaient de la terre et de petites pierres. Aussitôt que l'ordre de marcher en avant nous eut été donné, mon capitaine me regarda avec une attention qui m'obligea à passer deux ou trois fois la main sur ma jeune moustache d'un air aussi dégagé qu'il me fut possible. Au reste, je n'avais pas peur, et la seule crainte que j'éprouvasse, c'était que l'on ne s'imaginât que j'avais peur. Ces boulets inoffensifs contribuèrent encore à me maintenir dans mon calme héroïque. Mon amour-propre me disait que je courais un danger réel, puisque enfin j'étais sous le feu d'une batterie. J'étais enchanté d'être si à mon aise, et je songeai au plaisir de raconter la prise de la redoute de Cheverino, dans le salon de madame de B***, rue de Provence.

Le colonel passa devant notre compagnie; il m'adressa la parole: — «Eh bien, vous allez en voir de grises pour votre début». Je souris d'un air tout à fait martial en brossant la manche de mon habit, sur laquelle un boulet, tombé à trente pas de moi, avait envoyé un peu de poussière. Il paraît que les Russes s'aperçurent du mauvais succès de leur boulets; car ils les remplacèrent par des obus qui pouvaient plus facilement nous atteindre dans le creux où nous étions postés. Un assez gros éclat m'enleva mon shako et tua un homme auprès de moi. — «Je vous fais mon compliment», me dit le capitaine, comme je venais de ramasser mon shako, «vous en voilà quitte pour la journée». Je connaissais cette superstition militaire qui croit que l'axiome *non bis in idem* trouve son application aussi bien sur un champ de bataille que dans une cour de justice. Je remis fièrement mon shako.—«C'est faire saluer les gens sans cérémonie», dis-je aussi gaiement que je pus. Cette mauvaise plaisanterie, vu la circonstance, parut excellente.—«Je vous félicite», reprit le capitaine, «vous n'aurez rien de plus, et vous commanderez une compagnie ce soir; car je sens bien que le four chauffe pour moi. Toutes les fois que j'ai été blessé, l'officier auprès de moi a reçu quelque balle morte, et, ajouta-t-il d'un ton plus bas et presque honteux, leurs noms commençaient toujours par un P.»

Je fis l'esprit fort; bien des gens auraient fait comme moi; bien des gens auraient été aussi bien que moi frappés de ces paroles prophétiques. Conscrit comme je l'étais, je sentais que je ne pouvais confier mes sentiments à personne, et que je devais toujours paraître froidement intrépide. Au bout d'une demi-heure, le feu des Russes diminua sensiblement; alors nous sortîmes de notre couvert pour marcher sur la redoute. Notre régiment était composé de trois bataillons. Le deuxième fut chargé de tourner la redoute du côté de la gorge; les deux autres devaient donner l'assaut. J'étais dans le troisième bataillon. En sortant de derrière l'espèce d'épaulement qui nous avait protégés, nous fûmes reçus par plusieurs décharges de mousqueterie qui ne firent que peu de mal dans nos rangs. Le sifflement des balles me surprit: souvent je tournais la tête, et je m'attirai ainsi quelques plaisanteries de la part de mes camarades plus familiarisés avec ce bruit.—«A tout prendre», me dis-je, «une bataille n'est pas une chose si terrible». Nous avancions au pas de course, précédés de tirailleurs: tout à coup les Russes poussèrent trois hourras, trois hourras distincts, puis demeurèrent silencieux et sans tirer. — «Je n'aime pas ce silence», dit mon capitaine; «cela ne nous présage rien de bon». Je trouvai que nos gens étaient un peu trop bruyants, et je ne pus m'empêcher de faire intérieurement la comparaison de leurs clameurs tumultueuses avec le silence imposant de l'ennemi. Nous parvînmes rapidement au pied de la redoute, les palissades avaient été brisées et la terre bouleversée par nos boulets. Les soldats s'élancèrent sur ces ruines nouvelles avec des cris de «*Vive l'empereur!*» plus forts qu'on ne l'aurait attendu des gens qui avaient déjà tant crié. Je levai les yeux, et jamais je n'oublierai le spectacle que je vis. La plus grande partie de la fumée s'était élevée et restait suspendue comme un dais à vingt pieds au-dessus de la redoute. Au travers d'une vapeur bleuâtre, on apercevait derrière leur parapet à demi détruit, les grenadiers russes, l'arme haute, immobiles comme des statues. Je crois voir encore chaque soldat, l'œil gauche attaché sur nous, le droit caché par son fusil élevé. Dans une embrasure, à quelques pieds de nous, un homme tenant une lance à feu était auprès d'un canon. Je frissonnai, et je crus que ma dernière heure était venue.—«Voilà la danse qui va commencer», s'écria mon capitaine. «Bonsoir»! Ce furent les dernières paroles que je l'entendis prononcer. Un roulement de tambours retentit

dans la redoute. Je vis se baisser tous les fusils. Je fermai les yeux, et j'entendis un fracas épouvantable, suivi de cris et de gémissements. J'ouvris les yeux, surpris de me trouver encore au monde. La redoute était de nouveau enveloppée de fumée. J'étais entouré de blessés et de morts. Mon capitaine était étendu à mes pieds: sa tête avait été broyée par un boulet, et j'étais couvert de sa cervelle et de son sang. De toute ma compagnie, il ne restait debout que six hommes et moi. A ce carnage succéda un moment de stupeur. Le colonel, mettant son chapeau au bout de son épée, gravit le premier le parapet en criant: «*Vive l'empereur!*» Il fut suivi aussitôt de tous les survivants. Je n'ai presque plus de souvenir net de ce qui suivit. Nous entrâmes dans la redoute, je ne sais comment. On se battit corps à corps au milieu d'une fumée si épaisse, que l'on ne pouvait se voir. Je crois que je frappai, car mon sabre se trouva tout sanglant. Enfin j'entendis crier: «Victoire!» et la fumée, diminuant, j'aperçus du sang et des morts sous lesquels disparaissait la terre de la redoute. Les canons surtout étaient enterrés sous des tas de cadavres. Environ deux cents hommes debout, en uniforme français, étaient groupés sans ordre, les uns chargeant leurs fusils, les autres essuyant leurs baïonnettes. Onze prisonniers russes étaient avec eux.

Le colonel était renversé tout sanglant sur un caisson près de la gorge. Quelques soldats s'empressèrent autour de lui; je m'approchai: — «Où est le plus ancien capitaine»? demandait-il à un sergent. Le sergent haussa les épaules d'une manière très expressive.—«Et le plus ancien lieutenant?»—«Voici monsieur qui est arrivé d'hier», dit le sergent d'un ton tout à fait calme. Le colonel sourit amèrement.—«Allons, monsieur», me dit-il, «vous commandez en chef; faites promptement fortifier la gorge de la redoute avec ces chariots, car l'ennemi est en force; mais le général C*** va vous faire soutenir.»—«Colonel», lui dis-je, «vous êtes grièvement blessé? — *F...*, mon cher, mais la redoute est prise!»

E. ET. J. DE GONCOURT.

27. Le bal de l'Opéra.

Giroust s'allongea sur le rebord de la loge, mit les deux coudes sur le velours, et appuya son menton sur ses deux mains. Charles s'accouda,

et tous deux contemplèrent quelque temps, sans rien se dire, la salle et le bal. Au-dessus d'eux, au plafond, ici et là, un morceau de pourpre, une chair rose, un flanc de déesse, un pan de manteau, sortent confusément d'un ciel effacé et de nuées qui s'enfuient. Au-dessous d'eux, un ciel de lustres, un voile éblouissant de feux blancs; les guirlandes d'or des balcons, les cordons de feuillages balançant les instruments d'or; du haut en bas des loges, sur le repoussoir de leur fond rouge, des cravates blanches, des visages rougis par la chaleur, le triangle blanc des chemises d'hommes, des chapeaux noirs, des habits noirs; des ombres de femmes noires, des paires de gants blancs qui rabattent ou relèvent en causant la barbe d'un masque sur un menton; en bas, aux deux côtés de la salle sur les deux escaliers rouges, entre les municipaux effarés, des flots de masques, des flots de femmes qui piétinent de marche en marche et piaffent déjà la danse; en bas, la salle qui engloutit tout; du blanc, du rouge, du rose, du vert, des plumes, des casques, des épaules, des jupes, des chamarres, des chapeaux, des bouffettes, des diamants faux... Une mer d'éclairs, qui toujours sautent! manches en l'air, jupes qui tournent, avant-deux brouillés et heurtés, galops brisés, plumets et rubans au vent... Et la musique, le déchaînement des cuivres, la batterie des tambours, le tonnerre de l'orchestre; et le bruit de la salle, les hourras, les vivats, les refrains, les chœurs, les huées, les appels du pied, le cri des crécelles, la claque des danseurs sur leur cuisse, et le plancher qui toujours ronfle sous la danse... — L'arc-en-ciel et le sabbat, tout leur monte aux yeux et aux oreilles dans un brouillard de rayons, dans un murmure de rumeurs, dans une nuée chaude, dans une vapeur fauve, dans la poussière et l'haleine d'une bacchanale...

«Est-ce beau! dit tout à coup Giroust, que ce spectacle de vertige semblait avoir dégrisé. Est-ce beau! Mais rendre ça!... le tripotis, le roulement, ça! Cristi! un rude monsieur qui fera danser ces chaudrons-là, ces soleils-là et ces fusées-là dans un dessin du diable!... Concevez-vous, hein, Demailly? quelque chose d'enragé comme cet avant-deux!... du poché, du claquant... et que ça tourbillonne! Peindre la musique, le cancan, tout! Et des coups de pistolet comme cette jupe jaune... Pan! pan! pan!» Et, du pouce, Giroust fit le geste d'un homme qui pose des tons de premier coup sur une toile. «Et penser à tant de belles choses modernes qui mourront!... qui mourront, mon cher, sans un homme, sans une

main qui les sauve!,.. Ah! que de crânes décors, et que de crânes bonshommes, les boulevards, les Champs-Elysées, les Halles, la Bourse, Mabille, est-ce que je sais!... C'est pourtant ce gredin de journal... Quand je pense que je suis assez lâche pour... Tenez! Demailly, vous vous dites: Pourquoi Giroust boit-il?... Si vous ne vous le dites pas, il y en a d'autres qui le disent pour vous... Eh bien! voilà pourquoi je bois... Parce que je sens, et que je ne peux pas!... Je vois des choses... impossible d'y monter! C'est comme pour l'escalier tout à l'heure... Je voudrais vouloir, et je ne peux pas... et je bois!... Oui, c'est beau ça!...»

(*Charles Demailly*).

28. La salle d'hôpital.

La salle est haute et vaste. Elle est longue, et se prolonge dans une ombre où elle s'enfonce sans finir. Il fait nuit. Deux poêles jettent par leur porte ouverte une lueur rouge. De distance en distance des veilleuses, dont la petite flamme décroît à l'œil, laissent tomber une traînée de feu sur le carreau luisant. Sous leurs lueurs douteuses et vacillantes, les rideaux blanchissent confusément à droite et à gauche contre les murs, des lits s'éclairent vaguement, des files de lits apparaissent à demi que la nuit laisse deviner. A un bout de la salle, dans les profondeurs noires, quelque chose semble pâlir, qui a l'apparence d'une vierge de plâtre. L'air est tiède, d'une tiédeur moite. Il est chargé d'une odeur fade, d'un goût écœurant de cérat échauffé et de graine de lin bouillie. Tout se tait. Rien ne bruit, rien ne remue. La nuit dort, le silence plane. A peine si, de loin en loin, il sort de l'ombre immobile et muette un frippement de draps, un bâillement étouffé, une plainte éteinte, un soupir... Puis la salle retombe dans une paix sourde et mystérieuse. Làbas, où une lampe à bec est posée, à côté d'un petit livre de prières, sur une chaise, dont elle éclaire la paille, une grosse fille qui a les deux pieds appuyés au bâton de la chaise se lève, les cheveux ébouriffés par le sommeil, du grand fauteuil recouvert avec un drap blanc, où elle se tenait somnolente. Elle passe, comme une silhouette, sur la lumière de la lampe, va à un poêle, prend la pointe de fer posée sur la cendre chaude, remue et tracasse deux ou trois fois le charbon de terre, revient à son fauteuil, repose ses pieds sur le bâton de la chaise, et s'allonge de côté. Le feu, avivé, rayonne plus rouge. Dans leur godet de verre al-

longé, pendu à deux branches de fer arrondies, les veilleuses s'éteignent et se raniment. Leur lumignon se lève et s'abaisse, comme un souffle, sur l'huile lumineuse et transparente. Le fumivore, qui se balance à leur flamme mobile, projette sur les poutrelles du plafond une ombre énorme dont le cercle s'agite et remue sans cesse. Au-dessous, à droite et à gauche, la lumière coule mollement, du verre suspendu, sur le pied des lits, sur la bande de toile froncée qui les couronne, sur les rideaux dont elle jette l'ombre en écharpe au travers d'un corps pelotonné sous une couverture. Les formes, les lignes s'ébauchent en tremblant dans le demi-jour incertain qui les baigne, tandis qu'entre les lits, les fenêtres hautes, mal voilées par les rideaux, laissent passer la clarté bleuâtre d'une belle nuit d'hiver, sereine et glacée. De veilleuse en veilleuse, la perspective s'éloigne, les images s'effacent et se confondent. Aux endroits où la clarté de l'une cesse et où la clarté de celle qui suit ne luit pas encore, de grandes ombres noires se lèvent toutes droites et se joignent au plafond, mettant la nuit aux deux côtés de la salle. Au delà, l'œil perçoit encore une confuse blancheur; puis la nuit revient, une nuit opaque où tout disparaît. Au plus épais de l'ombre, au fond, tout au fond de la salle, une petite lueur tressaille, un point de feu paraît. Une lumière qui sort du lointain, marche et grandit, comme une lumière perdue dans une campagne noire vers laquelle on va la nuit. La lumière approche, elle est derrière la grande porte vitrée qui ferme la salle et la sépare d'une autre; elle en dessine l'arceau, elle en éclaire le vitrage, la porte s'ouvre: on distingue une chandelle, — et deux femmes toutes blanches. «Ah! la ronde de la Mère...» murmure à demi-voix une malade à moitié endormie, qui ferme les yeux à la lumière et se retourne de l'autre côté. Les deux femmes en blanc passent lentement et doucement. Elles vont d'un pas si léger que leur pied ne fait pas même sur le carreau le bruit d'un glissement. Elles avancent, avec la chandelle devant elles, ainsi que des ombres dans un rayon. Celle qui se tient du côté des lits marche les mains croisées devant elle. Elle est jeune. Sa figure a une douceur calme: un de ces sourires de paix que le rêve met en silence sur un visage qui dort. Elle porte sur la tête le voile blanc des novices. Sa robe molletonneuse, et que jaunissent à leur contraste les blancheurs froides de la percale et de la toile des lits, est la robe blanche des Sœurs de Saint-Augustin.

Aux côtés de la sœur, la bonne de la communauté, en camisole blanche, en jupon blanc, en bonnet de nuit, suit son pas. Elle porte la chandelle, qui lui éclaire en plein le visage et donne à son teint de papier mâché la blancheur mate et froide d'une tête de vieille abbesse dans un tableau noir.

(Sœur Philomène).

29. Le duel.

Denoisel courait prévenir un jeune chirurgien de ses amis. Il allait retenir chez un loueur une voiture douce et bonne à ramener un blessé. Il passait chez Henri qui était sorti. Il courait au tir, et l'y retrouvait s'amusant à tirer sur de petits paquets de quatre ou cinq allumettes pendues à une ficelle, qu'il allumait en touchant le soufre avec sa balle. «Oh! ça, ça ne signifie rien, dit-il à Denoisel, je crois que ça s'enflamme par le vent de la balle, mais tiens...» Et il lui montra un carton dans le premier cercle duquel il venait de mettre une douzaine de balles.

«C'est ce soir... à quatre heures... comme tu voulais», lui dit Denoisel. — «Bon, fit Henri en rendant son pistolet au garçon, et bouchant avec les doigts deux trous dans le carton, un peu éloignés des autres: — Vois-tu, sans ces deux écarts-là, ce serait un carton à encadrer. Ah! je suis content que ce soit pour aujourd'hui...» Et il leva le bras avec le geste d'un habitué de tir qui se prépare à tirer, et agita un instant sa main pour en faire descendre le sang. «Figure-toi, reprit-il, que ça ne m'a fait de l'effet, l'idée de me battre, que ce matin dans mon lit... Cette diable de pose horizontale... Je crois que ça n'est pas bon pour le courage...» On déjeuna chez Denoisel: puis on se mit à fumer. Henri était gai, expansif, parlait beaucoup. Le chirurgien arriva. Ils montèrent tous les quatre en voiture.

A mi-chemin, on avait gardé le silence jusque-là, Henri jeta, avec un mouvement d'impatience, son cigare par la portière. «Donne-moi un cigare, Denoisel, un bon... Vous ne savez pas que c'est très important pour tirer, un bon cigare. Pour bien tirer, il ne faut pas être nerveux... c'est la première condition. J'ai commencé par prendre un bain ce matin... Si vous avez le moindre ébranlement... Tenez! de conduire, c'est détestable... Les chevaux vous scient la main... Je vous défie après

ça de tirer en ligne... vous avez toujours un coup de doigt... Les romans sont stupides avec leurs duels où l'on arrive en jetant les guides à son domestique... Si je vous disais qu'il y a besoin d'un système rafraîchissant? Mais c'est positif... Je n'ai jamais vu si bien tirer qu'un Anglais... mais il se couche à huit heures... jamais d'excitants... Il fait tous les soirs une petite promenade à la papa... Toutes les fois que j'ai été au tir dans une voiture dure, mes cartons s'en ressentaient... Au fait, elle est très bonne, ta voiture, Denoisel... Eh bien, le cigare, c'est la même chose: un cigare qui se fume mal, vous êtes là à le travailler, à tout moment il faut porter le bras à la bouche, ça vous tracasse la main; au lieu qu'un bon cigare, demandez à un tireur, c'est apaisant, ça vous met les nerfs en bon état... Il n'y a rien de meilleur que cette cadence du bras qui l'ôte et le remet en mesure. C'est lent, c'est régulier...»

On était arrivé. M. de Villacourt et ses témoins attendaient sur la chaussée entre les deux étangs. La terre était blanche de la neige tombée toute la matinée. Le bois dressait dans le ciel des branches dépouillées, et au loin des filées d'arbres tout noirs rayaient un rouge coucher de soleil d'hiver. On alla jusqu'au chemin du Montalet. Les pas furent comptés, les pistolets de Denoisel chargés, les adversaires mis en lignes. Deux cannes posées sur la neige marquèrent la limite des dix pas que chaque adversaire pouvait faire. Au moment où Denoisel conduisait Henri à la place que le sort lui avait désignée, comme il lui rentrait un coin de son col de chemise qui dépassait sa cravate: «Merci, lui dit Henri à voix basse, le cœur me bat un peu sous l'aisselle... mais tu seras content...» M. de Villacourt dépouillait sa redingote, arrachait sa cravate, jetait tout cela au loin. Sa chemise, largement ouverte, laissait voir sa forte et rude poitrine toute couverte de poils noirs et blancs. Les adversaires armés, les témoins s'éloignèrent et se rangèrent du même côté. «Marchez!» cria une voix. A ce mot, M. de Villacourt s'avança, marchant presque sans s'effacer. Henri, demeurant immobile, lui laissa faire cinq pas. Au sixième, il tira... M. de Villacourt tomba, assis par terre. Les témoins virent alors le blessé poser son pistolet, appuyer avec force ses deux pouces sur le double trou que la balle lui avait fait en lui labourant le ventre, puis renifler ses pouces.

«Ça ne sent pas!... Je suis raté!... A votre place, monsieur!» cria-t-il d'une voix forte à Henri qui, croyant tout fini, avait fait un mouvement pour s'en aller; et ramassant son pistolet, il se mit à faire les quatre pas qui lui restaient jusqu'à la canne, en se traînant sur les mains et les jambes. Sur la neige, derrière lui, il laissait de son sang... Arrivé à la canne, il appuya le coude à terre, ajusta lentement et longuement... «Tirez donc!» cria Dardouillet. Henri, effacé, se masquant le visage avec son pistolet, attendait. Il était pâle, avec un regard fier. Le coup partit; il oscilla une seconde, puis tomba à plat, le visage contre terre, et ses mains, au bout de ses bras étendus, un moment fouillèrent la neige de leurs doigts crispés.

(*Renée Mauperin*).

30. L'exécution de M-me du Barry.

A cette lecture, terrassée, accablée par la stupeur et l'horreur, M^me^ du Barry perdit soudainement le sangfroid et le reste de dignité qu'elle avait montrés dans ses réponses. Quand elle vit que tout était fini, qu'on allait l'emmener, et que les témoins entendus se frottaient les mains et jouissaient sans pudeur de son agonie, elle fut prise d'une telle faiblesse, que les gendarmes étaient obligés de la soutenir sous les bras, et que le public prit peur qu'elle n'eût point la force de mourir toute vivante. Le trouble, l'effroi, l'épouvante, l'anéantissement, la prostration devant la mort, et devant cette mort, furent si grands chez cette femme qui toute sa vie n'avait pensé qu'à vivre, qu'en un moment elle oublia tout, amitié, reconnaissance, dettes de cœur, engagements sacrés, le secret et le dévouement de ceux qui s'étaient compromis pour elle. Espérant sauver sa vie en vendant la vie des autres, croyant acheter sa grâce, un sursis au moins, en livrant ce qui lui reste de cachettes et de trésors, le lendemain de son jugement, le jour de sa mort, la voici, à dix heures du matin, toute pâle d'une nuit de terreur, tremblante et suppliante entre les deux guichets de la Conciergerie, jetant au bourreau qui vient, à l'heure qui presse, à la guillotine qui approche, la dénonciation précipitée et haletante de tout ce qu'elle a enfoui, dérobé, soustrait au flair de la République, aux cupidités de la patrie de l'an II. Au juge Denisot, à Claude Hoger, sub-

stitut de l'accusateur public. Mme du Barry fait le détail des objets précieux enterrés dans le jardin de Luciennes, enterrés dans les bosquets, cachés dans la resserre des instruments de jardinage, cachés dans l'escalier de la garde-robe, cachés dans les corridors, dans la cave, dans le jardin de son valet de chambre, ce fidèle Morin, qui payera de sa tête la déclaration de sa maitresse, cachés chez la femme Déliant, cachés chez le citoyen Montrouy. Sous le coup de l'épouvante, elle se rappelle, elle retrouve tout, pièce à pièce, louis à louis, jusqu'à une assiette, jusqu'à une cuiller, car c'est sa vie qu'elle croit retrouver. Dans son zèle, dans ses angoisses, craignant que tout ce trésor ne suffise pas encore à payer sa grâce, elle s'engage à écrire à Londres, si c'est le bon plaisir du tribunal, à recouvrer tous les articles du vol de 1791 déposés chez Morland, Moncelet et Ramson... Malheureuse! elle oubliait que la Révolution devait hériter d'elle! C'était le temps où le courage n'avait plus le sexe. Condamnées comme des hommes, les femmes mouraient comme des hommes. On les eût dit jalouses du droit de mourir. Celles-ci montaient à l'échafaud comme au sacrifice, celles-là comme à une tribune. Les unes paraissaient marcher à la postérité, les autres à une patrie. Chacune était digne de toutes. Les bourgeoises mouraient en Romains, les grandes dames mouraient en grands seigneurs, les Reines mouraient en Roi. Mais toutes avaient la force d'une idée, d'un principe, d'une foi, d'un devoir, d'un droit, d'une passion, d'une illusion, de quelque chose enfin qui soutient l'âme et porte l'agonie. Mme du Barry n'avait rien de cela pour l'aider à mourir, et, s'il est dans son histoire un scandale qu'on doive lui pardonner, c'est le scandale d'une mort qui attendrit la Terreur. En montant sur la charette, Mme du Barry, à laquelle le matin, lors de sa déclaration entre deux guichets, le juge Denisot avait vaguement promis sa grâce, et qui, les cheveux déjà coupés, ne croyait pas mourir, Mme du Barry devenait blanche comme la robe qu'elle portait.

La foule, la foule d'un dimanche, attendait la malheureuse femme. Et dans cette foule, au premier plan, la condamnée put apercevoir Greive, qui le soir disait: «Je n'ai jamais tant ri qu'aujourd'hui, en voyant les grimaces que faisait cette belle... pour mourir.» Les chevaux se mettaient à marcher lentement.

Le peuple se pressait pour regarder passer *la courtisane du ci-devant tyran.* Celle qu'on regardait ne voyait rien, n'entendait rien; elle ne faisait que soupirer, sangloter, étouffer. Ses compagnons de route, qui devaient être ses compagnons d'arrivée, les Vandenyver, cherchaient à la soutenir de leurs paroles, le conventionnel Noël s'efforçait de lui donner son courage: elle ne leur répondait que par des regards morts, des mouvements de lèvres inertes.

Tout à coup, auprès du Palais-Royal, à la barrière des Sergents, levant les yeux, elle apercevait le balcon d'un magasin de modes où les ouvrières s'étaient rangées pour voir une dernière fois au passage celle qui avait été Mme du Barry: ce magasin était la maison où elle avait été ouvrière en modes... Peut-être alors, dans un de ces éclairs de l'agonie, dans une de ces lucidités de la dernière heure qui précipitent le souvenir et les images de toute une vie, Mme du Barry revivait tout son passé, sa jeunesse, puis Versailles, puis Luciennes... Rêve d'une seconde dont elle sortait en poussant des cris, des cris perçants, des cris déchirants qui s'entendaient d'un bout à l'autre de la rue Saint-Honoré. L'exécuteur et ses deux aides avaient peine à maintenir la condamnée, à retenir sur la charrette la frénésie de son corps que les convulsions de la peur poussaient à se précipiter à bas. Aux violences, aux cris, succédaient les implorations mêlées de larmes; et la femme, le front et les yeux balayés de ses courts cheveux, se penchait au-dessus des curieux de sa mort pour leur dire: *Mes amis.... sauvez-moi...., je n'ai jamais fait de mal à personne; au nom du ciel, sauvez-moi!* La foule s'étonnait. On était habitué à si bien voir mourir, à voir mourir *à la bravade,* que cette femme semblait pour la première fois une femme qu'on allait tuer. Elle, cependant, toujours en larmes, répétait: *La vie! la vie!., qu'on me laisse la vie, je donne tous mes biens à la nation.* «Tes biens! mais tu ne donnes à la nation que ce qui lui appartient déjà...» Un charbonnier placé devant l'insulteur se retournait et, sans dire un mot, lui appliquait un soufflet. Il se levait dans les groupes silencieux, stupéfiés, cette première émotion qui est dans un peuple comme l'ébranlement de la pitié.

L'officier faisait fouetter les chevaux de la charrette et brusquait le spectacle... La charrette arrivait place de la Révolution à quatre heures trente minutes de relevée. Mme du Barry descendait la première. On l'entendait sur l'escalier de l'échafaud, éperdue, désespérée,

folie d'angoisse et de terreur, se débattre, supplier, demander grâce à l'exécuteur demander: *Encore une minute, monsieur le bourreau!* puis, sous le couteau, crier: *A moi! à moi!* comme une femme assassinée par des voleurs.

(*La du Barry*).

V. CHERBULIEZ.

31. **Le chirurgien.**

Il y avait cependant une chose qui lui gâtait son cher hôpital, c'était l'aîné de ses grands-oncles. Malheureusement elle était condamnée à le voir tous les jours. Chaque matin, à la même heure, en toute saison et par tous les temps, qu'il neigeât, qu'il tonnât ou qu'il grêlât, on le voyait arriver en frac noir et en cravate blanche, et l'instant d'après il commençait sa visite, enveloppé dans son grand tablier, sa calotte de velours négligemment posée sur sa tête.

Autant qu'elle pouvait haïr, sœur Marie éprouvait pour lui une insurmontable aversion. Elle avait plusieurs raisons de ne pas l'aimer. Elle ne pouvait lui pardonner d'être demeuré sourd à la prière d'un mourant et de ne lui avoir fait lire la lettre de son père que pour lui témoigner le peu de cas qu'il en faisait. Elle attribuait sa conduite à une dure insensibilité, qui prenait plaisir à s'afficher. Et puis mère Amélie lui avait révélé que ce célèbre chirurgien était un athée impénitent et résolu. Elle n'avait jamais vu d'athée, elle comprenait difficilement qu'on pût l'être. Il lui semblait que Dieu est aussi évident que le soleil et que l'athéisme annonce un obscurcissement de l'intelligence qui provient d'un monstrueux orgueil et de la dépravation du cœur. Elle en avait conclu que son grand-oncle était à la fois le plus insensible et le plus orgueilleux des hommes, et qu'il avait le cœur dépravé, si toutefois il avait un cœur.

Sa figure n'était pas faite pour la réconcilier avec lui. Puissant de carrure et de poitrine, le corps robuste et osseux, cet homme de haute taille portait sur ses larges épaules une tête altière, monumentale, qui semblait ne s'être jamais inclinée devant personne, n'avoir jamais salué ni Dieu ni la mort. Vus de profil, son grand nez crochu et son crâne chauve, qui ne conservait que quelques touffes de cheveux gris, le faisaient ressembler à un vautour déplumé. Quand on le considérait de

face, l'ampleur majestueuse du front, l'éclat extraordinaire des yeux, la profondeur du regard, sauvaient tout; ce regard tombait d'aplomb, fouillait les visages, plongeait au fond des corps et des âmes, pour leur arracher leurs secrets, aussi habile à disséquer un mensonge que la main pouvait l'être à opérer la résection d'un coude ou l'ablation d'une mâchoire. La main d'un chirurgien est un instrument de précision infiniment délicat et encore plus sujet à se détraquer que la voix d'un ténor; on ne la préserve des accidents qu'au prix d'un régime sévère. A soixante ans, M. Antonin Cantarel faisait de la sienne tout ce qu'il voulait; elle avait gardé toute sa sûreté et sa promptitude. On disait de lui que ce qui demandait à un autre trois mouvements, il le faisait en deux. Presque toujours impassible, il avait le parler brusque et n'était pas tendre pour les malades. Il en avait tant vu! Il n'écoutait pas leurs plaintes, il coupait court à leurs bavardages. Quand on lui résistait, quand les choses n'allaient pas à son gré, il entrait dans des colères terribles, les vitres de l'hôpital s'en souvenaient et tremblaient encore en y pensant.

Sœur Marie ne pouvait se dissimuler qu'il exerçait un prodigieux ascendant sur tout ce qui l'entourait. Ses élèves l'avaient surnommé le grand-prêtre et recueillaient ses moindres paroles comme des oracles. Ils parlaient de lui comme du plus habile praticien de Paris. On accordait qu'il était en général pour les moyens sommaires, on lui reprochait quelques amputations inutiles, mais d'autres affirmaient qu'il voyait plus clair que tout le monde et que, s'il amputait avec plaisir, il ne le faisait jamais qu'à bonnes enseignes. Un matin, sœur Marie, le rencontra comme il sortait de l'amphithéâtre, l'air dispos et gaillard et disant d'un ton enjoué à son interne: «Nous avons eu aujourd'hui une belle clinique.» Il avait ce jour-là pratiqué une désarticulation de la hanche, extirpé une tumeur cancéreuse d'un genre tout particulier, et accompli un véritable tour de force dans un cas bizarre de trépanation. Elle l'entendit plus tard rabrouer vertement ce même interne pour avoir disposé d'un lit vacant en faveur d'une petite lingère qui s'était cassé la jambe. «Me croit-on fait, s'écria-t-il avec humeur, pour réduire des fractures?» Il aurait voulu n'avoir dans son service que des maladies extraordinaires, vraiment dignes d'exercer son génie. Cela n'empêchait pas pourtant que chaque jour il ne vit avec soin tout son monde; il

pardonnait généreusement à ceux dont le cas n'était pas intéressant et qui s'étaient contentés de se démettre quelque membre, mais il ne leur cachait pas toujours le mépris qu'il avait pour eux.

Au dire de mère Amélie, qui le tenait dans une sainte horreur, il estimait que les hôpitaux étaient faits pour les médecins et non pour les malades. Elle prétendait aussi, dans un de ses rares moments de gaieté, que les opérations faisaient partie de l'hygiène de ce bourreau et que sa seule raison de ne pas croire en Dieu était que les hommes n'avaient que deux jambes, parce qu'il était privé ainsi du plaisir d'en couper trois à la fois. Elle l'accusait enfin de rapacité, d'avarice; elle disait que, ayant commencé avec rien, il avait acquis une immense fortune en ne soignant que les riches qui peuvent payer dix mille francs une opération. Toutefois sœur Marie, qui avait des oreilles, apprit un jour de bonne source qu'il était libéral, généreux, qu'il soignait gratis beaucoup de pauvres, qu'au surplus il ne touchait pas un sou du traitement auquel il avait droit comme chef de service, qu'il l'abandonnait out entier à ceux de ses patients qui, au sortir de l'hôpital, se trouvaient hors d'état de payer les remèdes coûteux qu'il leur ordonnait. Sœur Marie ne savait qu'en penser, mais elle se gardait de contredire sur rien son irascible tante. Un matin, mère Amélie eut une contestation assez vive avec M. Cantarel. Quand elle se retrouva en tête-à-tête avec sœur Marie, elle ne put s'empêcher de lui dire avec colère: «L'hôpital est un lieu maudit, où le diable tient Dieu en échec». Le diable, c'étaient les médecins en général et M. Antonin Cantarel en particulier; Dieu, c'étaient les augustines et peut-être mère Amélie. Selon son habitude, elle s'aperçut aussitôt qu'elle venait de lâcher un propos hasardeux, et elle fit un grand signe de croix. Sœur Marie n'était pas fille à la prendre au mot; elle se gardait le secret, mais elle n'avait jamais pu gagner sur elle de croire au diable, c'était sa seule hérésie. Cependant, qu'il en tînt ou qu'il n'en tînt pas, l'antipathie que lui inspirait son grand-oncle allait croissant de jour en jour. Il n'avait pas l'air de s'en apercevoir ni de se douter qu'il y eût au monde une sœur Marie. Six mois s'écoulèrent, pendant lesquels chaque matin elle passait plusieurs fois auprès de lui, sans qu'il parût la regarder ni même la voir; du moins elle le croyait, elle ne savait pas qu'il avait des yeux derrière la tête. Un jour arriva cependant où, tout à coup, sans préambule, il

lui adressa la parole; ce fut pour elle un grand événement, qui lui causa beaucoup de trouble. Il se disposait à faire une grave opération, il allait ouvrir une malheureuse femme pour lui enlever une tumeur du sein. Son interne lui présenta un couteau tout neuf; il y avait au manche des enjolivures; il les regarda en souriant, et dit: «Eh! vraiment, mon cher Richard, vous faites la mariée trop belle». Puis il s'avança vers la patiente. On ne l'avait pas prévenue, elle promenait autour d'elle des yeux effarés. Quand elle sut de quoi il s'agissait, elle se récria, protesta, réclama un délai qu'il lui refusa. Alors elle s'informa si l'on n'allait pas la chloroformer; il lui répondit que non, qu'il avait ses raisons pour cela. Elle ne pouvait se résigner à son sort, elle commença à se débattre. On s'était mis six pour la tenir, qui par la tête, qui par les bras, qui par les jambes. Mais elle était vigoureuse et désespérée; elle remuait toujours. M. Cantarel dit à l'externe qui s'était chargé de lui remettre au fur et à mesure les instruments dont il avait besoin: «Nous trouverons quelqu'un pour vous remplacer, attelez-vous à cette jambe». En ce moment, sœur Marie vint à passer. Devinant ce qui préparait et d'avance épouvantée des gémissements qu'elle allait entendre, elle s'empressait de gagner l'autre bout de la salle. Une voix lui cria: «Eh! petite fille, rendez-vous utile; venez nous aider». Elle demeura clouée sur la place. La même voix ajouta: «M'entendez-vous, sœur Marie?» Elle n'en pouvait plus douter, la petite fille, c'était elle. Éperdue, le front rougissant, elle approcha. M. Cantarel lui dit: «Prenez ces outils et ouvrez bien vos yeux». Elle fit ce qu'on lui disait, mais elle aurait voulu que la terre l'engloutit. Quand l'opérée, qui ne pouvait plus bouger, sentit pénétrer dans ses chairs le froid de l'acier, elle poussa un cri effroyable, et d'une voix déchirante: «Ah! mon Dieu! mon Dieu! dit-elle, vous m'arrachez le cœur». M. Cantarel lui répondit vivement: «Voici votre cœur, je n'y touche pas, je déteste les exagérations». Plus morte que vive, sœur Marie avait un nuage sur les yeux, elle se sentait près de tomber en défaillance, elle se raidissait pour rester debout. Ne sachant où elle en était, elle présenta à M. Cantarel un bistouri au lieu des pinces qu'il désirait, Il lui dit d'un ton sec: «Prenez donc garde, vous ne m'aidez pas». Heureusement la patiente ne criait plus, elle s'était évanouie, et sœur Marie ne tomba pas. Quand tout fut consommé, elle s'enfuit comme un voleur sans demander son reste et sans retour-

ner la tête. Une heure après, l'interne, qui la cherchait du regard, vint à elle et lui dit: «Ma sœur, le grand-prêtre désire vous parler, il vous attend dans son cabinet.» Elle crut à une mystification. «Mais allez donc, reprit-il en riant, il ne vous mangera pas». Toute confuse et interdite, elle courut auprès de sa tante pour lui soumettre le cas. Mère Amélie lui repartit: «Qui vous arrête? Ne comprenez-vous pas que Dieu vous offre une occasion de confesser votre foi?» Elle prit son courage à deux mains, se mit en route. Après avoir traversé un petit vestibule obscur, elle s'arrêta un instant pour souffler, la main sur le loquet de la porte. Le cœur lui battait bien fort, tant l'athée lui faisait peur. Enfin elle entra. Son grand-oncle était assis dans un fauteuil, et il tenait sa tête dans ses mains. Quand il la releva, elle fut frappée de sa pâleur. «Seriez-vous indisposé, monsieur? lui demanda-t-elle. Puis-je vous être de quelque secours?» Il parut choqué de cette question, il n'admettait pas qu'on le crût indisposé. Il se redressa et dit: «Me ferez-vous la grâce de m'apprendre ce que vous faites ici? Elle se trompa sur le sens de ses paroles et lui répondit en faisant un mouvement pour se retirer: «On m'avait dit, monsieur, que vous désiriez me parler. Cela me paraissait invraisemblable, mais je crois trop facilement ce qu'on me dit. Veuillez excuser ma méprise». Il la retint du regard et du geste. «On ne vous a pas trompée; mais ce n'est pas à sœur Marie, c'est à ma petite-nièce, M-lle Jetta Maulabret, que je désirais parler, et je la prie de vouloir bien m'expliquer par quelle raison elle a élu domicile dans un hôpital!». Elle fut un peu interloquée; mais, surmontant sa timidité, elle répondit d'une voix ferme: «Doutez-vous, monsieur, de ma vocation?—Oh! je n'aurais garde, fit-il d'un ton moitié bienveillant, moitié ironique, entre figue et raisin. J'entends partout chanter vos louanges, et moi-même je vous vois à l'œuvre... Je n'en dis pas davantage pour ne pas désobliger votre modestie... Au surplus, il suffit de regarder votre tablier pour s'assurer que vous ne vous épargnez pas, que vous mettez la main à la pâte. Celui de votre tante est d'une blancheur immaculée; le vôtre est d'une propreté douteuse et vous rend témoignage. Je n'ai qu'un reproche à vous faire, mes externes vous regardent un peu trop, vous leur causez des distractions... Et puis la vue du sang vous émeut encore. Tout à l'heure»... — L'habitude me rendra plus forte. — Eh! parbleu, oui, l'habitude!.. Mais en dépit des apparences

et quoi que vous en disiez, je ne vous crois pas faite pour vivre dans un hôpital. Je crains qu'on ne vous ait fourré dans la tête des idées romanesques... Pensez-vous donc comme mère Amélie que la religion est une société d'assurance contre les risques de l'enfer?.. Mais je vous fais de la peine.—Beaucoup, dit-elle doucement—Je suis un vilain homme... Je m'étais pourtant promis de ne pas vous chagriner. La tentation était trop forte, j'y ai succombé, et, puisque j'ai commencé, je continue en vous représentant que si vous êtes résolue à porter votre croix... vous voyez que je parle votre langage... eh! ma pauvre enfant, il n'est pas besoin pour cela de venir à l'hôpital, on trouve partout à s'occuper, à batailler et à souffrir. Le mariage aussi est une croix, et l'on pourrait vous procurer tel mari qui vous donnerait du fil à retordre... J'en connais un. Voulez-vous faire sa connaissance?» Elle le regardait avec des yeux de dépit et de reproche.

«Décidément vous ne voulez pas? C'est fâcheux... Mademoiselle, je vous plains de tout mon cœur. Elle lui en voulait de l'avoir appelée mademoiselle; elle était indignée de sa proposition, qu'elle trouvait fort inconvenante et qu'elle prenait pour une mauvaise plaisanterie; enfin son accent ironique la piquait au vif. Elle répliqua en s'animant: «Vous me plaignez, monsieur? Je vous croyais incapable de plaindre personne. — Oh! oh! dit-il gaiement, en passant sa main sur ses favoiris blancs, voilà un pavé dans mon jardin... Vous me trouvez dur pour mes malades, féroce, impitoyable?—Voilà des mots que je n'employerai jamais, dit-elle. Je sais trop bien que vous détestez toutes les exagérations». Il comprit l'allusion et dit en souriant: «Je suis bien aise de vous avoir fait venir une fois dans ma vie, on m'aura dit mon fait. Que voulez-vous? il y a deux espèces de chirurgiens, les *bijoutiers* et les *charcuteurs*. Je n'ai jamais aimé le bijou, je suis né charcuteur, je mourrai en charcutant».

Puis, d'un ton plus sérieux: «Le premier des devoirs est de bien faire son métier. Connaissez-vous Celse, sœur Marie? Il écrivait sous l'empereur Tibère. Celse déclare que le chirurgien peut être l'homme le plus doux du monde jusqu'au moment où il tient son scalpel, mais que, une fois qu'il l'a pris, il ne doit rien voir, rien entendre, qu'autrement il ferait mal ce qu'il doit faire. Il y a des chirurgiens, sœur Marie, que les hémorragies inquiètent au point de leur faire précipiter une

opération; l'homme qui n'est pas maître de lui en face d'une hémorragie n'est pas un chirurgien. J'en connais d'autres qui se laissent troubler par les cris, et cependant les cris sont une bonne chose, puisqu'ils soulagent le patient. Il en est d'autres qui, par sensibilité de cœur, abusent du chloroforme, et il est pourtant des cas où le chloroforme n'agit pas, des cas aussi où il est dangereux et nuisible. C'est un poison pour les poitrines délicates, et la malheureuse que j'opérais tantôt est poitrinaire.» Elle ne répondait rien, elle se sentait désarmée. Mais elle pensa tout à coup à la lettre de son père, et ce cœur qui était sur le point de se laisser prendre se raffermit dans ses ressentiments. Il eut l'air de deviner ce qui se passait en elle, et il lui dit: «Vous avez bien raison de me trouver dur. J'ai refusé d'être votre tuteur... Décidément je suis un monstre.» Il se tut quelques instants. Il ne la quittait pas des yeux, il prenait plaisir à contempler cette robe blanche, ce front pâle, ces joues vivement colorées, la fraîcheur de cette bouche qu'il n'avait pas encore vue sourire. «Vous n'avez rien à me demander? reprit-il d'un ton débonnaire. Je ne puis rien faire qui vous soit agréable?— Rien, monsieur. Je ne demande qu'à rester demain telle que je suis aujourd'hui, et ainsi de suite jusqu'à la fin. — Là, vous ne regrettez rien?»

Elle était comme un enfant à qui l'on a fait peur du loup et qui découvre que le loup a du bon et lui veut du bien. Elle se décida cette fois à sourire. «La seule chose que je regrette, on ne peut pas me la rendre.»—Qu'est-ce donc? — Le petit jardin que j'avais au couvent.—Ah! vous aviez un jardin? Vous aimez les fleurs. Laquelle préférez-vous? — Le chrysanthème. — Drôle de goût!» fit-il, et il ajouta: «Si vous vous ravisiez, si vous aviez quelque requête à me présenter, ne perdez pas de temps, car, je vous le dis en confidence, je suis atteint d'une maladie qui ne pardonne pas, et mes jours sont comptés.—Il n'y a pas de remède? s'écria-t-elle, profondément émue.—Je ne crois qu'à la médecine opératoire. Je vous ai cité Celse, je veux vous citer Galien. Il a dit que le plus admirable médecin est la nature, parce qu'elle guérit les trois quarts des maladies et qu'elle ne dit jamais de mal de ses confrères... La nature ne guérit pas les cancers à l'estomac, et dans trois mois je ne serai plus de ce monde... C'est peut-être pour cela que j'ai refusé d'être votre tuteur». Elle éprouva un saisissement, il se faisait une révolution dans son esprit, elle reconnaissait qu'elle s'était trompée; mais en même

temps elle se souvenait de la recommandation que lui avait faite mère Amélie, elle se sentait obligée de parler de Dieu à cet athée, qui devait mourir dans trois mois. Malheureusement les mots ne lui venaient pas, et sa modestie gênait son éloquence. Qui était-elle pour donner une leçon à cet homme qui savait tant de choses? Il devina encore ce qui se passait en elle, et il lui dit en riant: «Avouez que vous mourez d'envie de me convertir avant ma mort. C'est un peu difficile... Ce n'est que dans les romans anglais que les petites filles convertissent les vieux médecins.— Ah! monsieur, dans trois mois!...—Eh! oui, dans trois mois... Qu'est-ce que la mort? Un procès chimique.—Et après?» murmura-t-elle. Un éclair passa dans les yeux du grand-prêtre, et il s'écria d'une voix stridente: «Après?.. Rien, rien, rien». Ce mot trois fois répété glissa sur ses lèvres comme le couperet de la guillotine dans sa rainure, et c'en fut fait, tout avait disparu; il n'y avait plus rien, plus rien du tout. Elle demeura consternée, atterrée. «Allons, reprit-il, à ce que je vois, nous sommes condamnés à nous étonner l'un l'autre, à nous plaindre mutuellement, tout cela peut-être faute de nous comprendre. Mais, j'en suis sûr, il y a un point sur lequel nous nous accordons. Vous pensez comme moi qu'une belle vie est celle où l'on fait son devoir jusqu'au bout... Si je croyais en Dieu, je le fatiguerais de mes prières et je ferais plus d'une neuvaine pour qu'il m'octroyât la grâce de mourir au champ d'honneur».

Puis il se leva, enfonça son chapeau dans sa tête; mais avant de partir: «il y a des gens, dit-il, qui en mourant éprouvent le besoin d'entendre un air de musique; d'autres demandent des fleurs; quand vous en serez là, vous vous ferez apporter un chrysanthème. Il me semble qu'en mourant j'aurai beaucoup de plaisir à vous voir, sœur Marie. Obtiendrez-vous de votre terrible tante une dispense pour me rendre visite à mon lit de mort?—Je la demanderai, monsieur n'en doutez pas», répondit-elle en s'inclinant, les bras croisés sur la poitrine, et elle se retira. Elle était comme éperdue; cet entretien avait bouleversé toutes ses idées, toutes ses notions de la vie et des hommes. Elle en fit part à mère Amélie. Celle-ci, après l'avoir écoutée, haussa les épaules et murmura: «Grand comédien!» Pendant les mois qui suivirent, sœur Marie vit son grand-oncle arriver chaque jour à l'heure réglementaire et apporter à sa visite autant d'attention et de scrupule que jamais. Elle n'eut plus l'occasion de causer avec lui, il se contentait de la regarder quelquefois du coin de

l'œil. Elle était souvent frappée de sa pâleur, qui malgré lui, trahissait ses souffrances. Il ne laissait pas d'avoir l'esprit parfaitement libre, de s'occuper de ses malades comme s'il ne l'avait pas été lui-même, de se passionner pour son métier comme s'il avait eu devant lui vingt ans de vie, et pourtant il devait mourir dans trois mois, et il ne croyait à rien. Son grand-oncle était pour sœur Marie un insondable problème. Sa sérénité lui causait un étonnement profond et une sorte d'épouvante; mais, quoi qu'elle en eût, en dépit de toutes les objections qu'elle se faisait, elle ne pouvait s'empêcher de l'admirer et de se dire que dans ce comédien il y avait un héros.

(*Noirs et Rouges*).

H. DE BALZAC.

32. La mort du père Goriot.

— Elles vont venir, reprit le viellard! Je les connais. Cette bonne Delphine, si je meurs, quel chagrin je lui causerai! Nasie, aussi. Je ne voudrais pas mourir, pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Là où l'on s'en va, je m'ennuierai bien. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfants, et j'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Dites donc, si je vais en paradis, je pourrai revenir sur terre en esprit autour d'elles. J'ai entendu dire de ses choses-là. Sont-elles vraies? Je crois les voir en ce moment telles qu'elles étaient rue de la Jussienne. Elles descendaient le matin. «Bonjour, papa», disaient-elles. Je les prenais sur mes genoux, je leur faisais mille agaceries, des niches. Elles me caressaient gentiment. Nous déjeunions tous les matins ensemble, nous dînions, enfin j'étais père, je jouissais de mes enfants. Quand elles étaient rue de la Jussienne, elles ne raisonnaient pas, elles ne savaient rien du monde, elles m'aimaient bien. Mon Dieu! pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites? (Oh! je souffre, la tête me tire). Ah! ah! pardon! mes enfants! je souffre horriblement, et il faut que ce soit de la vraie douleur, vous m'avez rendu bien dur au mal. Mon Dieu! si j'avais seulement leurs mains dans les miennes, je ne sentirais point mon mal. Croyez-vous qu'elles viennent? Christophe est si bête? J'aurais dû y aller moi-même. Il va les voir, lui. Mais vous avez été hier au bal.

Dites-moi donc comment elles étaient? Elles ne savaient rien de ma maladie, n'est-ce pas? Elles n'auraient pas dansé, pauvres petites! Oh! je ne veux plus être malade. Elles ont encore trop besoin de moi. Leurs fortunes sont compromises. Et à quels maris sont-elles livrées! Guérissez-moi, guérissez-moi! (Oh! que je souffre! Ah! ah! ah!). Voyez-vous, il faut me guérir, parce qu'il leur faut de l'argent, et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguilles à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. (Oh! je souffre trop!). Goriot garda le silence pendant un moment, en paraissant faire tous ses efforts pour rassembler ses forces afin de supporter la douleur. — Si elles étaient là, je ne me plaindrais pas, dit-il. Pourquoi donc me plaindre? Un léger assoupissement survint et dura longtemps, Christophe revint. Rastignac, qui croyait le père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission.—Monsieur, dit-il, je suis d'abord allé chez madame la comtesse, à laquelle il m'a été impossible de parler, elle était dans de grandes affaires avec son mari. Comme j'insistais, monsieur de Restaud est venu lui-même, et m'a dit comme ça: Monsieur Goriot se meurt, eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à faire. J'ai besoin de madame de Restaud pour terminer des affaires importantes, elle ira quand tout sera fini. Il avait l'air en colère, ce monsieur-là. J'allais sortir, lorsque madame est entrée dans l'antichambre par une porte que je ne voyais pas, et m'a dit: Christophe, dis à mon père que je suis en discussion avec mon mari, je ne puis pas le quitter; il s'agit de la vie ou de la mort de mes enfants; mais aussitôt que tout sera fini, j'irai. Quant à madame la baronne, autre histoire! je ne l'ai point vue, et je n'ai pas pu lui parler. Ah! me dit la femme de chambre, madame est rentrée du bal à cinq heures un quart, elle dort; si je l'éveille avant midi, elle me grondera. Je lui dirai que son père va plus mal quand elle me sonnera. Pour une mauvaise nouvelle, il est toujours temps de la lui dire. J'ai eu beau prier! Ah! ouin! j'ai demandé à parler à monsieur le baron, il était sorti. — Aucune de ses filles ne viendrait! s'écria Rastignac. Je vais écrire à toutes deux. — Aucune, répondit le vieillard en se dressant sur son séant. Elles ont des affaires, elles dorment, elles ne viendront pas. Je le savais. Il faut mourir pour savoir ce que c'est que des enfants. Ah! mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants! Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Vous les faites entrer dans le

monde, ils vous en chassent. Non, elles ne viendront pas! Je sais cela depuis dix ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. Une larme roula dans chacun de ses yeux, sur la bordure rouge, sans en tomber.—Ah! si j'étais riche, si j'avais gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas donnée, elles, seraient là, elles me lècheraient les joues de leurs baisers! je demeurerais dans un hôtel, j'aurais de belles chambres, des domestiques, du feu à moi; et elles seraient tout en larmes avec leurs maris, leurs enfants. J'aurais tout cela. Mais rien. L'argent donne tout, même des filles. Oh! mon argent, où est-il? Si j'avais des trésors à laisser, elles me panseraient, elles me soigneraient; je les entendrais, je les verrais. Ah! mon cher enfant, mon seul enfant, j'aime mieux mon abandon et ma misère! Au moins quand un malheureux est aimé, il est bien sûr qu'on l'aime. Non, je voudrais être riche, je les verrais. Ma foi, qui sait? Elles ont toutes les deux des cœurs de roche. J'avais trop d'amour pour elles pour qu'elles en eussent pour moi. Un père doit être toujours riche, il doit tenir ses enfants en bride comme des chevaux sournois. Et j'étais à genoux devant elles! Les misérables! elles couronnent dignement leur conduite envers moi depuis dix ans. Si vous saviez comme elles étaient aux petits soins pour moi dans les premiers temps de leur mariage! (Oh! je souffre un cruel martyre!). Je venais de leur donner à chacune près de huit cent mille francs, elles ne pouvaient pas, ni leurs maris non plus être rudes avec moi. On me recevait: «Mon bon père, par ici: mon cher père par là». Mon couvert était toujours mis chez elles. Enfin je dînais avec leurs maris, qui me traitaient avec considération. J'avais l'air d'avoir encore quelque chose. Pourquoi ça? Je n'avais rien dit de mes affaires. Un homme qui donne huit cent mille francs à ses filles était un homme à soigner. Et l'on était aux petits soins, mais c'était pour mon argent. Le monde n'est pas beau. J'ai vu cela, moi! On me menait en voiture au spectacle, et je restais comme je voulais aux soirées. Enfin elles se disaient mes filles et elles m'avouaient pour leur père. J'ai encore ma finesse, allez, et rien ne m'est échappé. Tout a été à son adresse et m'a percé le cœur. Je voyais bien que c'étaient des frimes; mais le mal était sans remède. Je n'étais pas chez elles aussi à l'aise qu'à la table d'en bas. Je ne savais rien dire. Aussi quand quelques-uns de ces gens du monde demandaient à l'oreille de mes gendres: «Qui est-ce

que ce monsieur-là? — C'est le père aux écus, il est riche. — Ah diable!» disait-on, et l'on me regardait avec le respect dû aux écus. Mais si je les gênais quelquefois un peu, je rachetais bien mes défauts! D'ailleurs qui donc est parfait! (Ma tête est une plaie!) Je souffre en ce moment ce qu'il faut souffrir pour mourir, mon cher monsieur Eugène, eh bien! ce n'est rien en comparaison de la douleur que m'a causée le premier regard par lequel Anastasie m'a fait comprendre que je venais de dire une bêtise qui l'humiliait: son regard m'a ouvert toutes le veines. J'aurais voulu tout savoir, mais ce que j'ai bien su, c'est que j'étais de trop sur terre. Le lendemain, je suis allé chez Delphine pour me consoler, et voilà que j'y fais une bêtise qui me l'a mise en colère. J'en suis devenu comme fou. J'ai été huit jours ne sachant plus ce que je devais faire. Je n'ai pas osé les aller voir de peur de leurs reproches. Et me voilà à la porte de chez mes filles. O mon dieu! puisque tu connais les misères, les souffrances que j'ai endurées; puisque tu as compté les coups de poignard que j'ai reçus, dans ce temps qui m'a vieilli, changé, tué, blanchi, pourquoi me fais-tu donc souffrir aujourd'hui? J'ai bien expié le péché de les trop aimer. Elles se sont bien vengées de mon affection, elles m'ont tenaillé comme des bourreaux! Eh bien! les pères sont si bêtes! je les aimais tant que j'y suis retourné comme un joueur au jeu. Mes filles, c'était mon vice à moi!.. Elles avaient toutes les deux besoin de quelque chose, de parures; les femmes de chambre me le disaient, et je les donnais pour être bien reçu! Mais elles m'ont fait tout de même quelques petites leçons sur ma manière d'être dans le monde. Oh! elles n'ont pas attendu le lendemain. Elles commençaient à rougir de moi. Voilà ce que c'est que de bien élever ses enfants. A mon âge je ne pouvais pourtant pas aller à l'école. (Je souffre horriblement, mon Dieu, les médecins, les médecins! Si l'on m'ouvrait la tête, je souffrirais moins). Mes filles, mes filles, Anastasie, Delphine! je veux les voir. Envoyez-les chercher par la gendarmerie de force! la justice est pour moi, tout est pour moi, la nature, le code civil. Je proteste. La patrie périra si les pères sont foulés aux pieds. Cela est clair. La société, le monde roulent sur la paternité, tout croule si les enfants n'aiment pas leurs pères. Oh! les voir, les entendre, n'importe ce qu'elles me diront, pourvu que j'entende leur voix, ça calmera mes douleurs, Delphine surtout. Mais dites-leur, quand elles seront

là, de ne pas me regarder froidement comme elles font. Ah! mon bon ami, monsieur Eugène, vous ne savez pas ce que c'est que de trouver l'or du regard changé tout à coup en plomb gris. Depuis le jour où leurs yeux n'ont plus rayonné sur moi, j'ai toujours été en hiver ici; je n'ai plus eu que des chagrins à dévorer, et je les ai dévorés! J'ai vécu pour être humilié, insulté. Je les aime tant, que j'avalais tous les affronts par lesquels elles me vendaient une pauvre petite jouissance honteuse. Un père se cacher pour voir ses filles! Je leur ai donné ma vie, elles ne me donneront pas une heure aujourd'hui! J'ai soif, j'ai faim, le cœur me brûle, elles ne viendront pas rafraîchir mon agonie, car je meurs, je le sens. Mais elles ne savent donc pas ce que c'est que de marcher sur le cadavre de son père? Il y a un Dieu dans les cieux, il nous venge malgré nous, nous autres pères. Oh! elles viendront! Venez, mes chéries, venez encore me baiser, un dernier baiser, le viatique de votre père, qui priera Dieu pour vous, qui lui dira que vous avez été de bonnes filles, qui plaidera pour vous! Après tout, vous êtes innocentes. Elles sont innocentes, mon ami! Dites-le bien à tout le monde, qu'on ne les inquiète pas à mon sujet. Tout est de ma faute, je les ai habituées à me fouler aux pieds. J'aimais cela moi. Ça ne regarde personne, ni la justice humaine ni la justice divine. Dieu serait injuste s'il les condamnait à cause de moi. Je n'ai pas su me conduire, j'ai fait la bêtise d'abdiquer mes droits. Je me serais avili pour elles! Que voulez-vous! le plus beau naturel, les meilleures âmes auraient succombé à la corruption de cette facilité paternelle. Je suis un misérable, je suis justement puni. Moi seul ai causé les désordres de mes filles, je les ai gâtées. Elles veulent aujourd'hui le plaisir, commes elles voulaient autrefois du bonbon. Je leur ai toujours permis de satisfaire leurs fantaisies de jeunes filles. A quinze ans elles avaient voiture! Rien ne leur a résisté. Moi seul suis coupable, mais coupable par amour. Leur voix m'ouvrait le cœur. Je les entends, elles viennent. Oh! oui, elles viendront. La loi veut qu'on vienne voir mourir son père, la loi est pour moi. Puis ça ne coûtera qu'une course. Je la payerai. Écrivez-leur que j'ai des millions à leur laisser! Parole d'honneur. J'irai faire des pâtes d'Italie à Odessa. Je connais la manière. Il y a dans mon projet, des millions à gagner. Personne n'y a pensé. Ça ne se gâtera point dans le transport comme le blé ou comme la farine. Eh! eh! l'amidon! il y aura là des millions!

Vous ne mentirez pas, dites-leur des millions, et quand même elles viendraient par avarice, j'aime mieux être trompé, je les verrai. Je veux mes filles! je les ai faites! elles sont à moi: dit-il en se dressant sur son séant, en montrant à Eugène une tête dont les cheveux blancs étaient épars et qui menaçait par tout ce qui pouvait exprimer la menace.— Allons lui dit Eugène, recouchez-vous, mon bon père Goriot, je vais leur écrire. Aussitôt que Bianchon sera de retour, j'irai, si elles ne viennent pas. Si elles ne viennent pas? répéta le vieillard en sanglotant. Mais je serai mort, mort dans un accès de rage, de rage! La rage me gagne! En ce moment, je vois ma vie entière! Je suis dupe! elles ne m'aiment pas, elles ne m'ont jamais aimé! cela est clair. Si elles ne sont pas venues, elles ne viendront pas. Plus elles auront tardé, moins elles se décideront à me faire cette joie. Je les connais. Elles n'ont jamais su rien deviner de mes chagrins, de mes douleurs, de mes besoins, elles ne devineront pas plus ma mort; elles ne sont seulement pas dans le secret de ma tendresse, Oui, je le vois, pour elles, l'habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du prix à tout ce que je faisais. Elles auraient demandé à me crever les yeux, je leur aurais dit: «Crevez-les!» Je suis trop bête. Elles croient que tous les pères sont comme le leur. Il faut toujours se faire valoir. Leurs enfants me vengeront. Mais c'est dans leur intérêt de venir ici. Prévenez-les donc qu'elles compromettent leur agonie. Elles commettent tous les crimes en un seul. Mais allez donc, dites-leur donc que ne pas venir c'est un parricide! Elles en ont assez commis sans ajouter celui-là. Criez donc comme moi: «Hé! Nasie! hé! Delphine! venez à votre père qui a été si bon pour vous et qui souffre!» Rien, personne. Mourrai-je donc comme un chien? Voilà ma récompense, l'abandon. Ce sont des infâmes, des scélérates; je les abomine, les maudis; je me relèverai la nuit de mon cercueil pour les remaudire, car, enfin, mes amis, ai-je tort? elles se conduisent bien mal! hein? Qu'est-ce que je dis? Ne m'avez-vous pas averti que Delphine est là? C'est la meilleure des deux. Vous êtes mon fils, Eugène, vous! aimez-la, soyez un père pour elle. L'autre est bien malheureuse. Et leur fortune! Ah! mon Dieu! j'expire, je souffre un peu trop: Coupez-moi la tête, laissez-moi seulement le cœur. — Christophe, allez chercher Bianchon! s'écria Eugène épouvanté du caractère que prenaient les plaintes et les cris du vieillard, et ramenez-moi un cabriolet. — Je vais aller chercher vos filles,

mon bon père Goriot, je vous les ramènerai. — De force! de force! Demandez la garde, la ligne, tout! tout, dit-il en jetant à Eugène un dernier regard où brilla la raison. Dites au gouvernement, au procureur du roi qu'on me les amène, je le veux! — Mais vous les avez maudites. — Qui est-ce qui a dit cela? répondit le vieillard stupéfait. Vous savez bien que je les aime, je les adore! Je suis guéri si je les vois... Allez, mon bon voisin, mon cher enfant, allez, vous êtes bon, vous; je voudrais vous remercier, mais je n'ai rien à vous donner que les bénédictions d'un mourant... A boire! les entrailles me brûlent! Mettez-moi quelque chose sur la tête. La main de mes filles, ça me sauverait, je le sens... Mon Dieu! qui refera leurs fortunes si je m'en vais? Je veux aller à Odessa pour elles, à Odessa, y faire des pâtes. — Buvez ceci, dit Eugène en soulevant le moribond et le prenant dans son bras gauche tandis que de l'autre il tenait une tasse pleine de tisane. — Vous devez aimer votre père et votre mère, vous! dit le vieillard en serrant de ses mains défaillantes la main d'Eugène. Comprenez-vous que je vais mourir sans les voir, mes filles? Avoir soif toujours, et ne jamais boire, voilà comment j'ai vécu depuis dix ans... Mes deux gendres ont tué mes filles. Oui, je n'ai plus eu de filles après qu'elles ont été mariées. Pères, dites aux chambres de faire une loi sur le mariage! Enfin, ne mariez pas vos filles si vous les aimez. Le gendre est un scélérat qui gâte tout chez une fille, il souille tout. Plus de mariage! C'est ce qui nous enlève nos filles, et nous ne les avons plus quand nous mourons. Faites une loi sur la mort des pères. C'est épouvantable, ceci! Vengeance! Ce sont mes gendres qui les empêchent de venir. Tuez-les! A mort le Restaud, à mort l'Alsacien, ce sont mes assassins! La mort ou mes filles! Ah! c'est fini, je meurs sans elles! Elles! Nasie, Fifine, allons, venez donc! votre papa sort... — Mon bon père Goriot, calmez-vous, voyons, restez tranquille, ne vous agitez pas, ne pensez pas. — Ne pas les voir, voilà l'agonie! — Vous allez les voir. — Vrai! cria le vieillard égaré. Oh! les voir! je vais les voir, entendre leur voix. Je mourrai heureux. Eh bien! oui, je ne demande plus à vivre, je n'y tenais plus, mes peines allaient croissant. Mais les voir, toucher leurs robes, ah! rien que leurs robes, c'est bien peu; mais que je sente quelque chose d'elles! Faites-moi prendre les cheveux... veux... Il tomba la tête sur l'oreiller comme s'il recevait un coup de massue. Ses mains s'agitèrent

sur la couverture comme pour prendre les cheveux de ses filles. — Je les bénis, dit-il en faisant un effort... bénis. Il s'affaissa tout à coup. En ce moment Bianchon entra. — J'ai rencontré Christophe, dit-il, il va t'amener une voiture. Puis il regarda le malade, lui souleva de force les paupières, et les deux étudiants lui virent un œil sans chaleur et terne. — Il n'en reviendra pas, dit Bianchon, je ne crois pas. Il prit le pouls, le tâta, mit la main sur le cœur du bonhomme: — La machine va toujours; mais, dans sa position, c'est un malheur, il vaudrait mieux qu'il mourût! Ma foi, oui, dit Rastignac! Qu'as-tu donc? tu es pâle comme la mort. — Mon ami. Je viens d'entendre des cris et des plaintes. Il y a un Dieu! Oh! oui! il y a un Dieu, et il nous a fait un monde meilleur, ou notre terre est un non sens. Si ce n'avait pas été si tragique, je fondrais en larmes, mais j'ai le cœur et l'estomac horriblement serrés. — Dis donc, il va falloir bien des choses; où prendre de l'argent? Rastignac tira sa montre.

— Tiens, mets-la vite en gage. Je ne veux pas m'arrêter en route, car j'ai peur de perdre une minute, et j'attends Christophe. Je n'ai pas un liard, il faudra payer mon cocher au retour. Rastignac se précipita dans l'escalier, et partit pour aller rue du Helder, chez madame de Restaud. Pendant le chemin, son imagination, frappée de l'horrible spectacle dont il avait été témoin, échauffa son indignation. Quand il arriva dans l'antichambre et qu'il demanda madame de Restaud, on lui répondit qu'elle n'était pas visible...

(*Le père Goriot*).

P. DEROULÈDE.

33. En avant!

Le tambour bat, le clairon sonne;
Qui reste en arrière?... Personne!
C'est un peuple qui se défend.
En avant!

Gronde canon, crache mitraille!
Fiers bûcherons de la bataille,
Ouvrez-nous un chemin sanglant!
En avant!

Le chemin est fait: qu'on y passe!
Qu'on les écrase, qu'on les chasse!
Qu'on soit libre au soleil levant!
En avant!
Allons! les gars au cœur robuste,
Avançons vite et visons juste,
La France est là qui nous attend.
En avant!
Leur nombre est grand dans cette plaine:
Est-il plus grand que notre haine?
Nous le saurons en arrivant.
En avant!
Leurs canons nous fauchent! Qu'importe?
Si leur artillerie est forte!
Nous le saurons en l'enlevant.
En avant!
Où nous courons? où l'on nous mène?
Eh! si la victoire est prochaine,
Nous le saurons en la trouvant.
En avant!
En avant! tant pis pour qui tombe,
La mort n'est rien. Vive la tombe,
Quand le Pays en sort vivant!
Quand le Pays en sort vivant;
En avant!

(*Poésies Militaires*)

LAMARTINE.

34. Un village des Alpes.

Sur un des verts plateaux des Alpes de Savoie,
Oasis dont la roche a fermé toute voie,
Où l'homme n'aperçoit, sous ses yeux effrayés,
Qu'abîme sur sa tête et qu'abîme à ses pieds,
La nature étendit quelques étroites pentes
Où le granit retient la terre entre ses fentes

Et ne permet qu'à peine à l'arbre d'y germer,
A l'homme de gratter la terre et d'y semer.
D'immenses châtaigniers aux branches étendues
Y cramponnent leurs pieds dans les roches fendues,
Et pendent en dehors sur des gouffres obscurs,
Comme la giroflée aux parois des vieux murs!
On voit, à mille pieds au-dessous de leurs branches,
La grande plaine bleue avec ses routes blanches,
Les moissons jaune d'or, les bois comme un point noir,
Et les lacs renvoyant le ciel comme un miroir;
La toise de pelouse, à leur ombre abritée,
Par la dent des chevreaux et des ânes broutée,
Épaissit sous leurs troncs ses duvets fins et courts,
Dont mille filets d'onde humectent le velours,
Et pendant le printemps, qui n'est qu'un court sourire,
Enivre de ses fleurs le vent qui les respire.
De monts tout blancs de neige encadrent l'horizon,
Comme un mur de cristal de ma haute prison,
Et, quand leurs pics sereins sont sortis des tempêtes,
Laissent voir un pan bleu de ciel pur sur nos têtes.
On n'entend d'autre bruit, dans cet isolement,
Que quelques voix d'enfants, ou quelque bêlement
De génisse ou de chèvre au ravin descendues,
Dont le pas fait tinter les cloches suspendues;
Les sons entrecoupés du nocturne Angélus,
Que le père et l'enfant écoutent les fronts nus,
Et le sourd ronflement des cascades d'écume,
Auquel, en l'oubliant, l'oreille s'accoutume,
Et qui semble, fondu dans ces bruits du désert,
La basse sans repos d'un éternel concert.
Les maisons, au hasard sous les arbres perchées,
En groupes de hameaux sont partout épanchées,
Semblent avoir poussé, sans plans et sans dessein,
Sur la terre, avec l'arbre et le roc de son sein;
Les pauvres habitants, dispersés dans l'espace,
Ne s'y disputent pas le soleil et la place,

Et chacun sous son chêne, au plus près de son champ,
A sa porte au matin et son mur au couchant.

(*Jocelyn*).

35. Réveries du jeune âge.

Enfant, j'ai quelquefois passé des jours entiers
Au jardin, dans les prés, dans quelques verts sentiers
Creusés sur les coteaux par les bœufs du village,
Tout voilés d'aubénine et de mûre sauvage;
Mon chien auprès de moi, mon livre dans la main,
M'arrêtant sans fatigue et marchant sans chemin,
Tantôt lisant, tantôt écorçant quelque tige,
Suivant d'un œil distrait l'insecte qui voltige,
L'eau qui coule au soleil en petits diamants,
Ou l'oreille clouée à des bourdonnements.
Puis, choisissant un gîte à l'abri d'une haie,
Comme un lièvre tapi qu'un aboiement effraie,
Ou couché dans le pré, dont les gramens en fleurs
Me noyaient dans un lit de mystère et d'odeurs,
Et recourbaient sur moi les rideaux d'ombre obscure,
Je reprenais de l'œil et du cœur ma lecture.
C'était quelque poète au sympathique accent
Qui révèle à l'esprit ce que le cœur pressent,
Hommes prédestinés, mystérieuses vies,
Dont tous les sentiments coulent en mélodies,
Que l'on aime à porter avec soi dans les bois,
Comme on aime un écho qui répond à nos voix!
Ou bien c'était encor quelque touchante histoire
D'amour et de malheur, triste et bien dure à croire:
Virginie arrachée à son frère, et partant,
Et la mer la jetant morte au cœur qui l'attend!
Je la mouillais de pleurs et je marquais le livre,
Et je fermais les yeux et je m'écoutais vivre;
Je sentais dans mon sein monter comme une mer
De sentiment doux, fort, triste, amoureux, amer,

D'images de la vie et de vagues pensées
Dans les flots de mon âme indolemment bercées,
Doux fantômes d'espoir dont j'étais créateur,
Drames mystérieux, et dont j'étais l'acteur.
Puis, comme des brouillards après une tempête,
Tous ces drames conçus et joués dans ma tête
Se brouillaient, se croisaient, l'un l'autre s'effaçaient;
Mes pensers soulevés comme un flot s'affaissaient;
Les gouttes se séchaient au bord de ma paupière,
Mon âme transparente absorbait la lumière,
Et, sereine et brillante avec l'heure et le lieu,
D'un élan naturel se soulevait à Dieu.
Tout finissait en lui comme tout y commence,
Et mon cœur apaisé s'y perdait en silence,
Et je passais ainsi, sans m'en apercevoir,
Tout un long jour d'été, de l'aube jusqu'au soir,
Sans que la moindre chose intime, extérieure,
M'en indiquât la fuite, et sans connaître l'heure
Qu'au soleil qui changeait de pente dans les cieux,
Au soir plus pâlissant sur mon livre ou mes yeux,
Au serein qui de l'herbe humectait les calices:
Car un long jour n'était qu'une heure de délices!

(*Lectures pour tous*).

36. L'infini.

J'ai roulé des milliers de fois la pensée de l'infini dans mes yeux et dans mon esprit, en regardant du haut d'un promontoire ou du pont d'un vaisseau le soleil se coucher sur la mer, et plus encore en voyant l'*armée des étoiles* commencer, sous un beau firmament, sa revue et ses évolutions devant Dieu. Quand on pense que le télescope d'Herschell a compté déjà plus de cinq millions d'étoiles, que chacune de ces étoiles est un monde plus grand et plus important que ce globe de la terre; que ces cinq millions de mondes ne sont que les bords de cette création; que si nous parvenions sur le plus éloigné, nous apercevrions de là d'autres abimes d'espace infini comblés d'autres mondes incalculables,

et que ce voyage durerait des myriades de siècles, sans que nous pussions atteindre jamais les limites entre le néant et Dieu, on ne compte plus, on ne chante plus: on reste frappé de vertige et de silence, on adore, et l'on se tait.

(*Lectures pour tous*).

O. FEUILLET.

37. Croyance idéale.

Quand Sabine était installée momentanément au château, son tuteur y venait quelquefois dîner; il s'en retournait le plus souvent à pied, et il n'était pas rare que M. de Vaudricourt l'accompagnât pendant une partie de la route. Dans ces tête-à-tête assez fréquents et assez prolongés, leurs entretiens prenaient de plus en plus le ton de l'intimité et de la confidence amicale. Ils tombèrent plus d'une fois sur la question religieuse, et ce fut un étonnement pour Bernard de trouver le langage de M. Tallevaut sur ces matières aussi différent de la raillerie voltairienne que de la grossière fureur anticléricale. Il y apportait la gravité, le respect et la douceur d'un grand esprit qui est au-dessus de toute passion haineuse. Il y apportait même un accent profondément religieux: car il avait sa foi, et comme elle était chez lui sincère et enthousiaste, il se laissait entraîner à une certaine ardeur de prosélytisme. Ce qu'il admettait le moins, en fait de religion; c'était l'indifférence, et il essayait de faire entendre à Bernard sur ce sujet des vérités assez délicates, que celui-ci acceptait toutefois cordialement, la bonté affectueuse de la forme tempérant suffisamment l'austérité du fond.

— Il était donc, suivant M. Tallevaut, indigne d'un homme de renoncer à toute croyance idéale parce qu'il avait perdu l'idéal chrétien: il fallait, de toute nécessité, s'attacher à une croyance idéale si l'on ne voulait pas se rapprocher peu à peu de l'animalité... Un homme bien né, qui ne croit plus à rien et qui s'y résigne, se trouve encore soutenu quelque temps par l'impulsion première de son éducation, par les convenances extérieures de sa classe sociale; mais, en réalité, le sentiment du devoir et de la dignité morale, ne reposant, plus sur rien, s'efface chez lui de plus en plus: il n'a plus qu'un objectif dans la vie, celui des faciles et basses jouissances; il descend ainsi peu à peu, sous son vernis civilisé, à l'échelle morale du nègre, et dans cette chute, à mesure qu'il vieillit, il tombe plus bas... Son intelligence même se déprime et s'abaisse; il ne prend plus de choses de l'esprit que ce qu'elles ont de plus futile, de superficiel, et en quelque sorte de matériel... En fait de lecture, il ne lit plus que des romans ou des journaux; en fait de théâtre, il n'a plus de goût que pour les œuvres d'un ordre inférieur, pour les spectacles qui s'adressent presque uniquement aux sens... N'est-ce pas l'histoire des hommes ou des peuples qui ont perdu tout idéal?

— Le sentiment religieux, la croyance à un idéal pouvaient seuls donner à l'homme la volonté, la force et le goût de remplir noblement sa destinée en consacrant sa vie au culte du bien, du vrai, du beau, — et il dépendait de tout homme intelligent d'arriver à cette croyance idéale par la contemplation et l'étude de la nature, c'est-à-dire par la science. — C'était donc par la scienee qu'on devait parvenir à combler le vide effrayant que laissaient dans le monde moral les anciennes religions épuisées. C'était par la science que M. Tallevaut s'était élevé lui-même à cette foi qui le soutenait dans son rude labeur scientifique, lequel était en même temps une œuvre de propagande: le bien qu'il faisait autour de lui, c'était la science qui le lui inspirait. Quelle était, en réalité, cette religion philosophique où il puisait son courage et ses vertus? Il l'expliquait à Bernard avec une éloquence et une élévation de langage dont nous ne disposons pas, aussi devons-nous nous borner à en résumer brièvement la théorie. M. Tallevaut avait été amené, par le cours de ses études, à cette conviction que l'œuvre divine de la Création se poursuit indéfiniment dans l'univers; que tout être intelligent est appelé à contribuer et à collaborer en quelque sorte pour sa part à cette œuvre de perfection et d'harmonie progressives; que c'est son devoir de le faire, et qu'il doit trouver dans le pur accomplissement de ce devoir et dans la conscience de servir à un but supérieur la récompense et la joie de sa vie. — Mais, disait Bernard, puisqu'il s'agit de suppléer aux religions qui s'éteignent, espérez-vous donc docteur, convertir jamais la masse humaine, le peuple, en un mot, à votre religion philosophique, dont je ne nie pas la grandeur, mais qui exige une si forte initiation intellectuelle? — Je n'ai pas cette illusion, répondait le docteur Tallevaut, mais cela est inutile: il suffira de convertir une élite

une élite qui deviendra un jour assez importante pour dominer la foule et la contraindre au devoir par l'autorité morale ou par la force.— Mais, docteur, reprenait Bernard en riant, savez-vous que vous êtes un terrible aristocrate?—Assurément. M'avez-vous donc pris pour un démagogue parce que je suis un homme de science? C'est une idée singulière, quoique fort répandue. Elle est le contraire de la vérité. La science est l'ennemie naturelle de la démocratie, parce qu'elle est l'ennemie naturelle de l'ignorance, — et encore plus de la médiocrité... Or, que peut faire la démocratie, si ce n'est d'élever les ignorants au rang de médiocres? C'est un affreux progrès!—Pour moi, j'ai pitié des ignorants, des faibles, des misérables; mais, quant à flatter leurs passions ou à subir leur domination, jamais! Puis revenant à ses sentiments religieux: — Croyez-moi, mon ami, disait-il, il y a une douceur infinie à sentir qu'on est dans la vérité et qu'on marche pour ainsi dire la main dans la main de l'Éternel, parce qu'on fait son œuvre avec lui... C'est ainsi que je vis, pour mon compte, dans une sérénité qui a, je puis le dire, quelque chose de paradisiaque... Si elle est quelquefois troublée, c'est uniquement par la crainte de ne pouvoir mener jusqu'au bout l'œuvre à laquelle j'ai voué mon existence. — Pourquoi de pareilles craintes, mon cher docteur? Vous êtes dans toute la force de l'âge.—Sans doute. Mais... *Ars longa, vita brevis*... Et puis, j'ai la tête un peu grosse et le cœur aussi... de sorte que je suis forcé de limiter mes heures de travail... C'est ma seule tristesse au monde!

(*La Morte*).

38. **De la prière.**

Je sais ce qu'on dit de la prière, — qu'elle est inutile, — qu'elle est toujours et nécessairement inefficace, parce que Dieu,—s'il est et quel qu'il soit,—n'intervient jamais dans les faits de ce monde par une action particulière, qu'il ne gouverne pas par des miracles, qu'il ne dérange jamais l'ordre général pour un intérêt individuel... Sans doute, mais cela me paraît bien rigide et bien absolu. D'abord, celui qui croit en Dieu et qui le prie, doit se sentir en communication plus directe avec lui et doit trouver dans ce sentiment même un soutien et des consolations incomparables... Mais ensuite, est-il donc si certain que la prière soit toujours inefficace? Qu'en sait-on? S'il y a des prières vraiment folles, parce qu'elles ne pourraient être exaucées sans troubler l'ordre divin de l'univers, Dieu ne peut-il réserver, entre ses lois immuables, un champ libre à la prière? Sans contrevenir à ses propres lois, et sans faire de miracles, ne peut-il agir sur la pensée et sur la volonté de celui qui l'implore?... Une mère qui prie pour son enfant malade ne peut-elle donc esperer que son enfant sera sauvé, non par un miracle, mais par ses propres soins, providentiellement inspirés et dirigés?... Un homme qui demande à Dieu de lui donner la foi, de l'éclairer de sa grâce, lui demande-t-il de troubler l'ordre de la nature, et ne peut-il espérer de recevoir la lumière qu'il invoque?...

(*La Morte*).

T. GAUTIER.

39. **Le poète et la foule.**

La Plaine un jour disait à la Montagne oisive:
«Rien ne vient sur ton front des vents toujours battu».
Au Poète, courbé sur sa lyre pensive,
La Foule aussi disait: «Rêveur, à qui sers-tu?»

La Montagne en courroux répondit à la Plaine:
«C'est moi qui fais germer les moissons sur ton sol;
Du midi dévorant je tempère l'haleine;
J'arrête dans les cieux les nuages au vol.

«Je pétris de mes doigts la neige en avalanches,
Dans mon creuset je fonds les cristaux des glaciers,
Et je verse, du bout de mes mamelles blanches,
En longs filets d'argent, les fleuves nourriciers.»

Le Poète, à son tour, répondit à la Foule:
«Laisse mon pâle front s'appuyer sur ma main.
N'ai-je pas de mon flanc, dont mon âme s'écoule,
Fait jaillir une source où boit le genre humain?»

(*Poésies*).

A. DE VIGNY.

40. Les horreurs de la Guerre.

C'était en 1814; c'était le commencement de l'année et la fin de cette sombre guerre où notre pauvre armée défendait l'Empire et l'Empereur, et où la France regardait le combat avec découragement. Soissons venait de se rendre au Prussien Bulow. Les armées de Silésie et du Nord y avaient fait leur jonction. Macdonald avait quitté Troyes et abandonné le bassin de l'Yonne pour établir sa ligne de défense de Nogent à Montereau, avec trente mille hommes. Nous devions attaquer Reims que l'Empereur voulait reprendre. Le temps était sombre et la pluie continuelle. Nous avions perdu la veille un officier supérieur qui conduisait des prisonniers. Les Russes l'avaient surpris et tué dans la nuit précédente, et ils avaient délivré leurs camarades. Notre colonel, qui était ce qu'on nomme un *dur à cuire*, voulut reprendre sa revanche. Nous étions près d'Épernay et nous tournions les hauteurs qui l'environnent. Le soir venait, et, après avoir occupé le jour entier à nous refaire, nous passions près d'un joli château blanc à tourelles, nommé Boursault, lorsque le colonel m'appela. Il m'emmena à part, pendant qu'on formait les faisceaux, et me dit de sa vieille voix enrouée: «Vous voyez bien là-haut une grange sur cette colline coupée à pic, là où se promène ce grand nigaud de factionnaire russe avec son bonnet d'évêque? — Oui, oui, dis-je, je vois parfaitement le grenadier et la grange. — Eh bien, vous qui êtes un ancien, il faut que vous sachiez que c'est là le point que les Russes ont pris avant-hier et qui occupe le plus l'Empereur, pour le quart d'heure. Il me dit que c'est la clef de Reims, et ça pourrait bien être. En tout cas, nous allons jouer un tour à Woronçoff. A onze heures du soir, vous prendrez deux cents de vos lapins, vous surprendrez le corps de garde qu'ils ont établi dans cette grange. Mais, de peur de donner l'alarme, vous enlèverez ça à la baïonette.» Il prit et m'offrit une prise de tabac, et, jetant le reste peu à peu, comme je fais là, il me dit, en prononçant un mot à chaque grain semé au vent: «Vous sentez bien que je serai par là, derrière vous, avec ma colonne. — Vous n'aurez guère perdu que soixante hommes, vous aurez les six pièces qu'ils ont placées là.... Vous les tournerez du côté de Reims.... A onze heures,... onze heures et demie,

la position sera à nous. Et nous dormirons jusqu'à trois heures pour nous reposer un peu... de la petite affaire de Craonne, qui n'était pas, comme on dit, piquée des vers. — Ça suffit, lui dis-je; et je m'en allai, avec mon lieutenant en second, préparer un peu notre soirée. L'essentiel, comme vous voyez, était de ne pas faire de bruit. Je passai l'inspection des armes et je fis enlever, avec le tire-bourre, les cartouches de toutes celles qui étaient chargées. Ensuite, je me promenai quelque temps avec mes sergents, en attendant l'heure. A dix heures et demie, je leur fis mettre leur capote sur l'habit et le fusil caché sous la capote; car, quelque chose qu'on fasse, la baïonnette, la nuit, se voit toujours, et, quoiqu'il fit autrement sombre qu'à présent, je ne m'y fiais pas. J'avais observé les petits sentiers bordés de haies qui conduisaient au corps de garde russe, et j'y fis monter les plus déterminés gaillards que j'aie jamais commandés. — Il y en a encore là, dans les rangs, deux qui y étaient et s'en souviennent bien. — Ils avaient l'habitude des Russes, et savaient comment les prendre. Les factionnaires que nous rencontrâmes en montant disparurent sans bruit, comme des roseaux que l'on couche par terre avec la main. Celui qui était devant les armes demandait plus de soin. Il était immobile, l'arme au pied et le menton sur son fusil; le pauvre diable se balançait comme un homme qui s'endort de fatigue et va tomber. Un de mes grenadiers le prit dans ses bras en le serrant à l'étouffer, et deux autres, l'ayant bâillonné, le jetèrent dans les broussailles. J'arrivai lentement et je ne pus me défendre, je l'avoue, d'une certaine émotion que je n'avais jamais éprouvée au moment des autres combats. C'était la honte d'attaquer des gens couchés. Je les voyais, roulés dans leurs manteaux, éclairés par une lanterne sourde, et le cœur me battit violemment. Mais tout à coup, au moment d'agir, je craignis que ce ne fût une faiblesse qui ressemblât à celle des lâches, j'eus peur d'avoir senti la peur une fois, et, prenant mon sabre caché sous mon bras, j'entrai le premier, brusquement, donnant l'exemple à mes grenadiers. Je leur fis un geste qu'ils comprirent, ils se jetèrent d'abord sur les armes, puis sur les hommes, comme des loups sur un troupeau. Oh! ce fut une boucherie sourde et horrible! la baïonnette perçait, la crosse assommait, le genou étouffait, la main étranglait. Tous les cris à peine poussés étaient éteints sous les pieds de nos soldats, et nulle tête ne se soule-

vait sans recevoir le coup mortel. En entrant, j'avais frappé au hasard un coup terrible, devant moi, sur quelque chose de noir que j'avais traversé d'outre en outre: un vieil officier, homme grand et fort, la tête chargée de cheveux blancs, se leva comme un fantôme, jeta un cri affreux en voyant ce que j'avais fait, me frappa à la figure d'un coup d'épée violent, et tomba mort à l'instant sous les baïonnettes. Moi, je tombai assis à côté de lui, étourdi du coup porté entre les yeux, et j'entendis sous moi la voix mourante et tendre d'un enfant qui disait: «Papa...»

Je compris alors mon œuvre, et j'y regardai avec un empressement frénétique. Je vis un de ces officiers de quatorze ans, si nombreux dans les armées russes qui nous envahirent à cette époque, et que l'on traînait à cette terrible école. Ses longs cheveux bouclés tombaient sur sa poitrine, aussi blonds, aussi soyeux que ceux d'une femme, et sa tête s'était penchée comme s'il n'eût fait que s'endormir une seconde fois. Ses lèvres roses, épanouies comme celles d'un nouveau-né, semblaient encore engraissées par le lait de la nourrice, et ses grands yeux bleus entr'ouverts avaient une beauté de forme candide, féminine et caressante. Je le soulevai sur un bras, et sa joue tomba sur ma joue ensanglantée, comme s'il allait cacher sa tête entre le menton et l'épaule de sa mère pour se réchauffer. Il semblait se blottir sous ma poitrine pour fuir ses meurtriers. La tendresse filiale, la confiance et le repos d'un sommeil délicieux reposaient [1]) sur sa figure morte, et il paraissait me dire: «Dormons en paix».

«Était-ce là un ennemi?» m'écriai-je. Et ce que Dieu a mis de paternel dans les entrailles de tout homme s'émut et tressaillit en moi; je le serrais contre ma poitrine, lorsque je sentis que j'appuyais sur moi la garde de mon sabre qui traversait son cœur et qui avait tué cet ange endormi. Je voulus pencher ma tête sur sa tête, mais mon sang le couvrit de larges taches; je sentis la blessure de mon front, et je me souvins qu'elle m'avait été faite par son père. Je regardai honteusement de côté, et je ne vis qu'un amas de corps que mes grenadiers tiraient par les pieds et jetaient dehors, ne leur prenant que des car-

[1]) *Repos... reposaient*, petite négligence de style.

touches. En se moment, le colonel entra suivi de la colonne, dont j'entendis le pas et les armes.

«Bravo! mon cher, me dit-il, vous avez enlevé ça lestement. Mais vous êtes blessé?

— Regardez cela, dis-je; quelle différence y a-t-il entre moi et un assassin?

— Eh! sacredié, mon cher, que voulez-vous? c'est le métier.

— C'est juste, répondis-je, et je me levai pour aller reprendre mon commandement. L'enfant retomba dans les plis de son manteau dont je l'enveloppai, et sa petite main ornée de grosses bagues laissa échapper une canne de jonc, qui tomba sur ma main comme s'il me l'eût donnée. Je la pris; je résolus, quels que fussent mes périls à venir, de n'avoir plus d'autre arme, et je n'eus pas l'audace de retirer de sa poitrine mon sabre d'égorgeur.

Je sortis à la hâte de cet antre qui puait le sang, et quand je me trouvai au grand air, j'eus la force d'essuyer mon front rouge et mouilé. Mes grenadiers étaient à leurs rangs; chacun essuyait froidement sa baïonnette dans le gazon et raffermissait sa pierre à feu dans la batterie. Mon sergent-major, suivi du fourrier, marchait devant les rangs, tenant sa liste à la main, et lisant à la lueur d'un bout de chandelle planté dans le canon de son fusil comme dans un flambeau, il faisait paisiblement l'appel. Je m'appuyai contre un arbre, et le chirurgien major vint me bander le front. Une large pluie de mars tombait sur ma tête et me faisait quelque bien. Je ne pus m'empêcher de pousser un profond soupir;

«Je suis las de la guerre», dis-je au chirurgien.

(*Grandeur et Servitude militaires*).

SULLY PRUDHOMME.

41. L'agonie.

Vous qui m'aiderez dans mon agonie,
Ne me dites rien;
Faites que j'entende un peu d'harmonie,
Et je mourrai bien.

La musique apaise, enchante et délie
Des choses d'en bas:
Bercez ma douleur; je vous en supplie,
Ne lui parlez pas.

Je suis las des mots, je suis las d'entendre
Ce qui peut mentir;
J'aime mieux les sons, qu'au lieu de comprendre
Je n'ai qu'à sentir;

Une mélodie où l'âme se plonge
Et qui, sans effort,
Me fera passer du délire au songe,
Du songe à la mort.

Vous qui m'aiderez dans mon agonie,
Ne me dites rien.
Pour allégement un peu d'harmonie
Me fera grand bien.

Vous irez chercher ma pauvre nourrice.
Qui mène un troupeau,
Et vous lui direz que c'est un caprice,
Au bord du tombeau,

D'entendre chanter, tout bas, de sa bouche,
Un air d'autrefois,
Simple et monotone, un doux air qui touche
Avec peu de voix.

Vous la trouverez; les gens des chaumières
Vivent très longtemps;
Et je suis d'un monde où l'on ne vit guère
Plusieurs fois vingt ans.

Vous nous laisserez tous les deux ensemble:
Nos cœurs s'uniront;
Elle chantera d'un accent qui tremble,
La main sur mon front.

Lors elle sera peut-être la seule
Qui m'aime toujours,
Et je m'en irai dans son chant d'aïeule
Vers mes premiers jours,

Pour ne pas sentir, à ma dernière heure,
Que mon cœur se fend,
Pour ne plus penser, pour que l'homme meure
Comme est né l'enfant,

Vous qui m'aiderez dans mon agonie,
Ne me dites rien;
Faites que j'entende un peu d'harmonie.
Et je mourrai bien.

(*Les Solitudes*).

PIERRE LOTI.

42. **Le quart à bord du «Primauguet».**

La nuit est claire et délicieuse... Le temps du quart se passe à veiller au milieu de ces grandes paix étranges des mers australes. Tout est d'un bleu vert, d'un *bleu nuit*, d'une couleur de profondeur; la lune qui se tient d'abord très haut, jette sur la mer des petits reflets qui dansent comme si partout sur les immenses plaines vides, des mains mystérieuses agitaient sans bruit des milliers de petits miroirs. Les demi-heures s'en vont l'une après l'autre tranquilles, la brise égale, les voiles très légèrement tendues. Les matelots de quart, en vêtements de toile dorment à plat pont, par rangées, couchés sur le même côté tous, emboîtés les uns dans les autres, comme des séries de momies blanches. A chaque demi-heure, on tressaille en entendant la cloche qui vibre; et alors deux voix viennent de l'avant du navire, chantant l'une après l'autre sur une sorte de rythme lent: «Ouvre l'œil au bossoir... tribord!» dit l'une. «Ouvre l'œil au bossoir... bâbord!» répond l'autre. On est surpris par ce bruit qui paraît une clameur effrayante dans tout ce silence, et puis les vibrations des voix et de la cloche tombent et on n'entend plus rien.

Cependant la lune s'abaisse lentement, et sa lumière bleue se ternit:

maintenant elle est plus près des eaux et y dessine une grande lueur allongée qui traîne. Elle devient plus jaune, éclairant à peine, comme une lampe qui meurt. Lentement elle se met à grandir, démesurée, et puis elle devient rouge, se déforme, s'enfonce, étrange, effrayante. On ne sait plus ce qu'on voit: à l'horizon, c'est un grand feu terne, sanglant. C'est trop grand pour être la lune, et puis maintenant des choses lointaines se dessinent devant en grandes ombres noires: des tours colossales, des montagnes éboulées, des palais, des Babels!

On sent comme un voile de ténèbres s'appesantit sur les sens; la notion du réel est perdue. Il vous vient comme l'impression de cités apocalyptiques, de nuées lourdes de sang, de malédictions suspendues. C'est la conception des épouvantes gigantesques, des anéantissements chaotiques, des fins de monde...... Une minute de sommeil intérieure qui vient de passer malgré toute volonté, un rêve de dormeur debout qui s'est envolé très vite. Mirage... A présent, c'est fini, et la lune est couchée. Il n'y avait rien là-bas que la mer infinie et les vapeurs errantes, annonçant l'approche du matin; maintenant que la lune n'est plus derrière, on ne les distingue même pas. Tout vient de s'évanouir, et on retrouve la nuit, la vraie nuit, toujours pure et tranquille. Ils sont bien loin de nous, ces pays de l'Apocalypse: car nous sommes dans la mer de Corail, sur l'autre face du monde, et il n'y a rien ici que le cercle immense, le miroir illimité des eaux... Un timonier est allé regarder l'heure à la montre. Par déférence pour la lune, il doit noter, sur ce grand registre toujours ouvert, qui est le *journal du bord*, l'instant très précis auquel elle s'est couchée. Puis il revient pour me dire: «Capitaine, il est l'heure de *réveiller au quart*». Déjà! déjà finies mes quatre heures de nuit,—et l'officier de relève qui va bientôt paraître. Je commande: «Chefs et chargeurs à réveiller au quart»! Alors quelques-uns de ceux qui dormaient à plat pont, comme des momies blanches, se lèvent, en éveillant quelques autres; ils partent toute une bande, et descendent. Et puis on entend en bas, dans le faux-pont, une vingtaine de voix chanter l'une après l'autre,—en cascade comme on fait pour *Frère Jacques*—une sorte d'air très ancien, qui est joyeux et moqueur. Ils chantent: «As-tu entendu, les tribordais, debout au quart, debout, debout, debout!.. as-tu entendu, les tribordais, debout au quart, debout, debout, debout!..»

Ils vont et viennent, courbés sous les hamas suspendus, et en passant, secouent les dormeurs à grands coups d'épaule. Après, je commande, inexorable: «En haut, les tribordais à l'appel!» Et ils montent deminus; il y en a qui bâillent, d'autres qui s'étirent, qui trébuchent. Ils se rangent par groupes à leur poste, pendant, qu'un hamme, avec un fanal. les regardant sous le nez, les compte. Les autres, qui dormaient sur le pont, vont aller en bas se coucher à leur place.

(*Mon Frère Yves*).

43. La mort de Sylvestre.

A bord de ce transport qui allait partir, on le coucha dans l'un des petits lits de fer alignés à l'hôpital, et il recommença en sens inverse sa longue promenade à travers les mers. Seulement, cette fois, au lieu de vivre comme un oiseau dans le plein vent des hunes, c'était dans les lourdeurs d'en bas, au milieu des exhalaisons de remèdes, de blessures et de misères. Les premiers jours, la joie d'être en route avait amené en lui un peu de mieux. Il pouvait se tenir soulevé sur son lit avec des oreillers, et de temps en temps il demandait sa boîte. Sa boîte de matelot était le coffret de bois blanc, acheté à Paimpol pour mettre ses choses précieuses; on y trouvait les lettres de grand' mère Yvonne, celles d'Yann et de Gaud, un cahier où il avait copié des chansons du bord, et un livre de Confucius en chinois, pris au hasard d'un pillage, sur lequel, au revers blanc des feuillets, il avait inscrit le journal naïf de sa campagne. Le mal pourtant ne s'améliorait pas et, dès la première semaine, les médecins pensèrent que la mort ne pouvait plus être évitée. Près de l'équateur maintenant; dans l'excessive chaleur des orages. Le transport s'en allait toujours vite, sur une mer remuée, tourmentée encore comme au renversement de moussons. Depuis le départ d'Ha-Long, il en était mort plus d'un, qu'il avait fallu jeter dans l'eau profonde, sur ce grand chemin de France; beaucoup de ces petits lits s'étaient débarrassés déjà de leur pauvre contenu. Et ce jour-là, dans l'hôpital mouvant, il faisait très sombre: on avait été obligé, à cause de la houle, de fermer les mantelets de fer des sabords, et cela rendait plus horrible cet étouffoir de malades.

Il allait plus mal, lui; c'était la fin. Couché toujours sur son côté

percé, il le comprimait des deux mains, avec tout ce qui lui restait de force, pour immobiliser cette eau, cette décomposition liquide dans ce poumon droit, et tâcher de respirer seulement avec l'autre. Mais cet autre aussi, peu à peu s'était pris par voisinage, et l'angoisse suprême était commencée. Toutes sortes de visions du pays hantaient son cerveau mourant; dans l'obscurité chaude, des figures aimées ou affreuses venaient se pencher sur lui; il était dans un perpétuel rêve d'halluciné, où passaient la Bretagne et l'Islande.

Le matin il avait fait appeler le prêtre, et celui-ci, qui était un vieillard habitué à voir mourir des matelots, avait été surpris de trouver sous cette enveloppe si virile la pureté d'un petit enfant. Il demandait de l'air, de l'air; mais il n'y en avait nulle part; les manches à vent n'en donnaient plus; l'infirmier qui l'éventait tout le temps avec un éventail à fleurs chinoises, ne faisait que remuer sur lui des buées malsaines, des fadeurs déjà cent fois respirées, dont les poitrines ne voulaient plus. Quelquefois, il lui prenait des rages désespérées pour sortir de ce lit, où il sentait si bien la mort venir; d'aller au plein vent là-haut, essayer de revivre... Oh! les autres, qui couraient dans les haubans, qui habitaient dans les hunes!... Mais tout son grand effort pour s'en aller n'aboutissait qu'à un soulèvement de sa tête et de son cou affaibli,—quelque chose comme ces mouvements incomplets que l'on fait pendant le sommeil.—Eh! non, il ne pouvait plus, il retombait dans les mêmes creux de son lit défait, déjà englué là par la mort; et chaque fois, après la fatigue d'une telle secousse, il perdait pour un instant conscience de tout. Pour lui faire plaisir, on finit par ouvrir un sabord, bien que ce fût encore dangereux, la mer n'étant pas assez calmée. C'était le soir, vers six heures. Quand cet auvent de fer fut soulevé, il entra de la lumière seulement, de l'éblouissante lumière rouge. Le soleil couchant apparaissait à l'horizon avec une extrême splendeur, dans la déchirure d'un ciel sombre; sa lueur aveuglante se promenait au roulis et il éclairait cet hôpital en vacillant, comme une torche que l'on balance. De l'air, non, il n'en vint point; le peu qu'il y en avait dehors était impuissant à entrer ici, à chasser les senteurs de la fièvre. Partout, à l'ifini, sur cette mer équatoriale, ce n'était qu'humidité chaude, que lourdeur irrespirable. Pas d'air nulle part, pas même pour les mourants qui haletaient... Une dernière vision l'agita beaucoup: sa vieille

grand'mère, passant sur un chemin, très vite, avec une expression d'anxiété déchirante; la pluie tombait sur elle, de nuages bas et funèbres; elle se rendait à Paimpol, mandée au bureau de la marine pour y être informée qu'il était mort. Il se débattait maintenant; il râlait. On épongeait aux coins de sa bouche de l'eau et du sang, qui étaient remontés de sa poitrine à flots, pendant ses contorsions d'agonie. Et le soleil magnifique l'éclairait toujours; au couchant, on eût dit l'incendie de tout un monde, avec du sang plein les nuages; par le trou de ce sabord ouvert entrait une large bande de feu rouge, qui venait finir sur le lit de Sylvestre, faire un nimbe autour de lui. A ce moment, ce soleil se voyait aussi, lui bas, en Bretagne où midi allait sonner. Il était bien le même soleil, et au même instant précis de la durée sans fin; là, pourtant, il avait une couleur très différente; il éclairait d'une douce lumière blanche la grand'mère Yvonne, qui travaillait à coudre, assise sur sa porte. En Islande, où c'était le matin, il paraissait aussi à cette même minute de mort. Pâli davantage, on eût dit qu'il ne parvenait à être vu là que par une sorte de tour de force d'obliquité. Il rayonnait tristement, dans un fiord où dérivait la *Marie*, et son ciel était cette fois d'une de ces puretés hyperboréennes qui éveillent des idées de planètes refroidies n'ayant plus d'atmosphère. Avec une netteté glacée il accentuait les détails de ce chaos de pierres qui est l'Islande: tout ce pays, vu de la *Marie*, semblait plaqué sur un même plan et se tenir debout. Yann, qui était là, éclairé un peu étrangement lui aussi, pêchait comme d'habitude au milieu de ces aspects lunaires. Au moment où cette traînée de feu rouge, qui entrait par ce sabord de navire, s'éteignit, où le soleil équatorial disparut tout à fait dans les eaux dorées, on vit les yeux du petit-fils mourant se chavirer, se retourner vers le front comme pour disparaître dans la tête. Alors on abaissa dessus les paupières avec leurs longs cils et Sylvestre redevint très beau et calme, comme un marbre couché......

(Pêcheur d'Islande).

44. Une Aurore boréale.

La plaine de glace s'étend de tous côtés à perte de vue. La lumière boréale embrase et colore superbement cette nuit et ce desert. A travers le cristal étincelant des glaçons qui nous entourent, les reflets

d'en haut se décomposent en tant d'arcs-en-ciel, que nous croyons marcher au milieu d'un monde fait tout entier de gemmes précieuses. Au-dessus de nos têtes, les nuages qui planent sont d'un rouge sombre d'une intense couleur de sang.

Et de grands rayons pâles traversent le ciel comme des queues de comètes; il y en a des milliers et des milliers, qui divergent tous d'une sorte de centre mystérieux, perdus au fond de l'immensité noire: le pôle magnétique. Des faisceaux, des gerbes de rayons, s'élancent et se déforment, reparaissent et puis s'éteignent. Cette étrange magnificence change et remue. C'est la splendeur de cette force insaisissable, inconnue qu'on a appelée magnétisme. Cette puissance occulte se donne ce soir une grande fête, par cette nuit d'hiver, là-bas dans les régions hyperborées. Elle rayonne, elle éblouit, elle inquiète! elle jette son épouvante de chose inexpliquée, incompréhensible, spectrale. Une sorte de tremblement continu agite toute cette lumière. On croit l'entendre bruire et crépiter;—on écoute,—rien... Ce n'est qu'une grande fantasmagorie silencieuse. Ce feu est froid et mort, dans le ciel et sur cette mer gelée, c'est le silence absolu... Les nuages, qui d'abord ressemblaient à du sang vu par transparence, ont peu à peu changé de couleur. Les uns sont devenus d'un rouge sombre, les autres d'un rose triste et mourant,

Les grands rayons pâles s'en vont à la débandade dans le ciel immense; on dirait qu'ils ont perdu leur centre; on dirait qu'on les en a détachés en les tranchant: du côté du pole, leurs sections sont nettes comme des sections faites à coup de ciseaux.

Seulement ils se tiennent encore entre eux, les rayons pâles, juxtaposés en longues séries mouvantes et tremblantes. Cela semble des bandes d'une gaze lumineuse plissée à petits plis. Des souffles mystérieux, qu'on ne sent pas sur terre, des souffles magnétiques, agitent doucement ces étoffes de feu blême; elles s'enroulent en spirales légères ou se déploient comme des banderoles impalpables, en s'éteignant toujours. De dernières rougeurs, presque livides, paraissent encore çà et là sur les nuages. Des derniers lambeaux de cette gaze lumineuse traînent au hasard dans l'espace, en tremblant toujours. Il deviennent de plus en plus diaphanes. Ils sont si vagues qu'on a peine à les suivre. Ils sont si ténus, que l'œil les perd. Ils ne sont plus rien. La lumière polaire est éteinte? L'aurore boréale vient de mourir. La nuit noire et glacée nous enveloppe et nous n'y voyons plus, au milieu de ce chaos déchiqueté, qui est une mer figée...

(*Fleurs d'ennui*).

L. A. THIERS.

45. Discours sur la déclaration de guerre à la Prusse.

(15 juillet 1870).

M. Thiers. — S'il y a eu un jour, une heure, où l'on puisse dire sans exagération que l'histoire nous regarde, c'est cette heure et cette journée, et il me semble que tout le monde devrait y penser sérieusement. Quand la guerre sera déclarée, il n'y aura personne de plus zélé, de plus empressé que moi à donner au gouvernement les moyens dont il aura besoin pour la rendre victorieuse. (*Très bien! Très bien! à gauche*) Ce n'est donc pas assaut de patriotisme que nous faisons ici. Je soutiens que mon patriotisme est, non pas supérieur, mais égal à celui de tous ceux qui sont ici. (*Approbation à gauche.*) De quoi s'agit-il? De donner ou de refuser au gouvernement les moyens qu'il demande? Non, je proteste contre cette pensée. De quoi s'agit-il? D'une déclaration de guerre faite à cette tribune par le ministère, et je m'exprime constitutionnellement, on le reconnaîtra. Eh bien, est-ce au ministère à lui seul de déclarer la guerre? Ne devons-nous pas, nous aussi, avoir la parole? Et, avant de la prendre, ne nous faut-il pas un instant de réflexion!... Je vous ai dit que l'histoire nous regarde, j'ajoute que la France aussi et le monde nous regardent. On ne peut pas exagérer la gravité des circonstances; sachez que de la décision que vous allez émettre peut résulter la mort de milliers d'hommes. (*Exclamations au centre et à droite. — Très bien! à gauche. — Le bruit couvre la voix de l'orateur.*) Et, si je vous demande un instant de réflexion, c'est qu'en ce moment un souvenir assiège mon esprit!... Avant de prendre une résolution aussi grave, une résolution de laquelle dépendra, je le répète, le sort du pays et de l'Europe, rappelez-vous, messieurs, le 6 mai 1866. Vous m'avez refusé la parole, alors que je vous signalais les dangers qui se préparaient. (*Approbation à gauche. — Exclamations à droite.*) Quand je vous montrais ce qui se préparait, vous m'avez écouté un jour;

le lendemain, au jour décisif, vous avez refusé de m'écouter. Il me semble que ce souvenir seul, ce souvenir devrait vous arrêter un moment, et vous inspirer le désir de m'écouter une minute sans m'interrompre. (*Très bien! à gauche.* — *Parlez!*) Laissez-moi vous dire une chose. Vous allez vous récrier, mais je suis fort décidé à écouter vos murmures, et, s'il le faut, à les braver. (*Oui! Très bien! à gauche.*) Vous êtes comme vous étiez en 1866. Eh bien, vous n'avez pas alors voulu m'entendre et rappelez-vous ce qu'il en a coûté à la France!... (*Rumeurs au centre et à droite.*) Mais aujourd'hui la demande principale qu'on adressait à la Prusse, celle qui devait être la principale et que le ministère nous a assuré être la seule, cette demande a reçu une réponse favorable. (*Dénégations sur un grand nombre de bancs.*) Vous ne me lasserez pas. — A GAUCHE. Très bien! Très bien! — M. THIERS. J'ai le sentiment que je représente ici...... non pas les emportements du pays, mais ses intérêts réfléchis. J'ai la certitude, la conscience au fond de moi-même, de remplir un devoir difficile, celui de résister à des passions, patriotiques, si l'on veut, mais imprudentes. Soyez convaincus que, quand on a vécu quarante ans... (*interruptions*) au milieu des agitations et des vicissitudes politiques, et qu'on remplit son devoir, et qu'on a la certitude de le remplir, rien ne peut vous ébranler, rien, pas même les outrages. Il me semble que, sur un sujet si grave, n'y eût-il qu'un seul individu, le dernier dans le pays, s'il avait un doute, vous devriez l'écouter; oui, n'y en eût-il qu'un; mais je ne suis pas seul. Je serais seul... (*interruptions*), je serais seul, que, pour la gravité du sujet, vous devriez m'entendre. (*Parlez! Parlez!*) Eh bien, messieurs, est-il vrai, oui ou non, que, sur le fond, c'est-à-dire sur la candidature du prince de Hohenzollern, votre réclamation a été écoutée, et qu'il y a été fait droit? Est-il vrai que vous rompez sur une question de susceptibilité, très honorable, je le veux bien, mais que vous rompez sur une question de susceptibilité? (*Mouvement.*) Eh bien, voulez-vous qu'on dise, voulez-vous que l'Europe tout entière dise que le fond était accordé et que, pour une question de forme, vous vous êtes décidés à verser des torrents de sang! (*Réclamations bruyantes à droite et au centre.* — *Approbation à gauche.*) Ici, Messieurs, chacun de nous doit prendre la responsabilité qu'il croit pouvoir porter. Je ne voudrais pas qu'on pût dire (*interruptions*) que j'ai pris la responsabilité d'une guerre fondée

sur de tels motifs!... Le fond était accordé, et c'est pour un détail de forme que vous rompez! (*Non! Non! Si! Si!*) Vous me répondrez. Je demande donc à la face du pays qu'on nous donne connaissance des dépêches d'après lesquelles on a pris la résolution qui vient de nous être annoncée; car, il ne faut pas nous le dissimuler, c'est une déclaration de guerre! (*Certainement!* — *Mouvement prolongé.*) Messieurs, je connais ce dont les hommes sont capables sous l'empire de vives émotions. Pour moi, si j'avais eu l'honneur de diriger, dans cette circonstance, les destinées de mon pays... (*nouvelle interruption*)... Vous savez bien, par ma présence sur ces bancs, que ce n'est pas un regret que j'exprime; mais je répète que, si j'avais été placé dans cette circonstance douloureuse, mais grande, j'aurais voulu ménager à mon pays quelques instants de réflexion avant de prendre pour lui une résolution aussi grave. Quant à moi, laissez-moi vous dire en deux mots, pour vous expliquer et ma conduite et mon langage, laissez-moi vous dire que je regarde cette guerre comme souverainement imprudente. Cette déclaration vous blesse, mais j'ai bien le droit d'avoir une opinion sur une question pareille. J'aime mon pays, j'ai été affecté plus douloureusement que personne des événements de 1866; plus que personne j'en désire la réparation; mais dans ma profonde conviction, et, si j'ose le dire, selon mon expérience, l'occasion est mal choisie (*Interruption.*) Plus que personne, je le répète, je désire la réparation des événements de 1866; mais je trouve l'occasion détestablement choisie. (*Réclamations.*) Sans aucun doute, la Prusse s'était mise gravement dans son tort, très gravement. Depuis longtemps, en effet, elle nous disait qu'elle ne s'occupait que des affaires de l'Allemagne, de la destinée de la patrie allemande, et nous l'avons trouvée tout à coup, sur les Pyrénées, préparant une candidature que la France devait ou pouvait regarder comme une offense à sa dignité et une entreprise contre ses intérêts. (*Très bien! Très bien! au centre et à droite.*) Vous vous êtes adressés à l'Europe, et l'Europe, avec un empressement qui l'honore elle-même, a voulu qu'il nous fût fait droit sur le point essentiel. Sur ce point, en effet, vous avez eu satisfaction, la candidature du prince de Hohenzollern a été retirée. — AU CENTRE ET A DROITE. Mais non! mais non! — A GAUCHE. Très bien! parlez! — M. THIERS. Vous avez exprimé votre opinion, laissez-moi dire la mienne en quelques mots. Cette urgence de laquelle

vous êtes si pressé d'user, elle est à vous, elle est votée, vous allez en jouir, vous allez avoir la faculté de vous livrer à toute l'ardeur de vos sentiments; laissez-moi vous exprimer les miens, tout douloureux qu'ils soient, et, si vous ne comprenez pas que, dans ce moment, je remplis un devoir et le plus pénible de ma vie, je vous plains. (*Très bien! très bien! à gauche. — Réclamations au centre et à droite.*) Oui, quant à moi, je suis tranquille pour ma mémoire, je suis sûr de ce qui lui est réservé pour l'acte auquel je me livre en ce moment; mais, pour vous, je suis certain qu'il y aura des jours où vous regretterez votre précipitation. (*Allons donc! Allons donc!*) Eh bien, quant à moi... M. le marquis de Piré, avec violence. — Vous êtes la trompette antipatriotique du désastre. (*N'interrompez pas.*) Allez à Coblentz! — M. Thiers. Offensez-moi... Insultez-moi... je suis prêt à tout subir pour défendre le sang de mes concitoyens que vous êtes prêts à verser si imprudemment! Je souffre, croyez-le, d'avoir à parler ainsi. Dans ma conviction, je vous le répète en deux mots, car, si je voulais vous le démontrer, vous ne m'écouteriez pas, vous choisissez mal l'occasion de la réparation que vous désirez et que je désire comme vous. — M. Gambetta. Très bien! — M. Thiers. Plein de ce sentiment, lorsque je vois que, cédant à vos passions, vous ne voulez pas prendre un instant de réflexion, que vous ne voulez pas demander la connaissance des dépêches sur lesquelles votre jugement pourrait s'appuyer, je dis, messieurs, permettez-moi cette expression, que vous ne remplissez pas dans toute leur étendue les devoirs qui vous sont imposés. — M. le baron Jérome David. Gardez vos leçons; nous les récusons. — M. Thiers. Dites ce que vous voudrez, mais il est bien imprudent à vous de laisser soupçonner au pays que c'est une résolution de parti que vous prenez aujourd'hui. (*Vives et nombreuses réclamations.*) Je suis prêt à voter tous les moyens nécessaires quand la guerre sera définitivement déclarée; mais je désire connaître les dépêches sur lesquelles on fonde cette déclaration de guerre. La Chambre fera ce qu'elle voudra; je m'attends à ce qu'elle va faire, mais je décline, quant à moi, la responsabilité d'une guerre aussi peu justifiée.

PAUL MARGUERITTE.

46. **Un moment de félicité.**

— N'est-ce pas, nous sommes bien? Cette voix où l'émotion mêlait un charme voilé, Jacques ne l'entendit pas sans trouble. Le clair de lune baignait le parc; et, dans les allées blanches, des reflets de feuillages dansaient comme une eau d'ombre. Ils se tenaient par le bras, et l'enchantement de cette heure les pénétrait. — Tu n'es pas trop las? murmura-t-elle. — Non, et toi? Elle secoua la tête avec grâce, son visage dans la clarté bleuâtre, s'imprégnait de mystère, la longue et flottante robe noire qu'elle avait revêtue dans l'appartement l'enveloppait de mollesse, une écharpe de soie blanche lui couvrait les épaules. Jacques s'arrêta, relevant le fin tissu pour lui couvrir la tête, lui protéger le cou. — N'aie pas froid, dit-il, cette jolie brume bleue est perfide. — Tu es bon, dit-elle, — et d'un geste spontané et si prompt qu'il ne put se défendre, elle lui prit les mains et les baisa, en esclave tendre, humblement. Il voulut les retirer, par pudeur virile. — Non, laisse, laisse, dit-elle. — Et il dut subir la douceur de ces baisers fervents qui lui caressaient tièdement les doigts. Il se dégagea, étreignant la jeune femme, et lui baisa les paupières. — Cher, cher, balbutia-t-elle d'une voix étouffée. Oh! vois, toutes ces étoiles! Le ciel était d'une pureté claire, il fourmillait d'astres blancs et bleus, d'étranges prunelles de diamant qui clignaient. Le parc, sans perspective dans l'ombre, paraissait aussi vaste qu'une forêt. Des allées d'eau serpentant aboutissaient à un étang, sur la gauche. Les pelouses moelleuses avaient l'air de tapis géants. De grands vieux arbres répandaient, sous leurs branches solennelles, une paix grave et enchantée. Jacques, qui cependant connaissait bien les Flouves, ne les reconnaissait plus ce soir, jamais elles n'avaient encore pris cet aspect de décor de *Belle au bois dormant*, jamais leur âme de rêve et de silence ne s'était exaltée pour lui d'une façon aussi douce et caressante. Une langueur fluide flottait, qu'il n'avait point soupçonnée encore; et la voix secrète des vieux enclos où les pierres, l'eau lente, les arbres, ne sont jamais troublés par l'agitation du dehors, lui soufflait bien bas qu'il ne serait jamais mieux, en plus paisible et plus lointaine retraite, pour oublier sûrement, se laisser

vivre dans cet engourdissement de l'âme qui guérit peu à peu les plus incurables plaies. Tout aidait à cet ensorcellement, qui, dès l'arrivée, l'avait capté et lié de chaînes subtiles: le bain d'air frais, le beau paysage déroulé des deux côtés de la route, la présence de l'aimée à son côté, dans la molle voiture, la rivière, reflètant le ciel et les nuages du couchant, les Flouves aperçues au haut du coteau avec les feux d'ors des vitres miroitant au soleil, enfin la lente montée, dans l'avenue des peupliers blancs. Se retrouver chez soi, dans un chez-soi nouveau et cependant connu dans tous ses détails, avec le plaisir de revoir des êtres aimés comme M. Forget, de sentir circuler autour de soi les ombres muettes et familières des domestiques, lui avait été reposant et bon; la possession des choses et des âmes, tout ce qui agrandissait sa personnalité et faisait en quelque sorte partie de lui-même, l'avait repris: jus'qu'au bain dans lequel il s'était plongé pour se nettoyer de la poussière du voyage, jusqu'au dîner fin et substantiel qui l'avait réconforté de son harassement, jusqu'à l'allégement de porter des vêtements lâches et souples, des bottines de drap moelleuses comme des pantoufles; oui, la complicité de l'habitude, la traîtrise du bien-être, l'avaient plongé en une sorte d'hébétude heureuse, qui n'était pas la lâche sécurité des aises retrouvées, mais une douceur de halte après les jours de fièvre, une détente d'âme et de corps heureux de s'épanouir en une joie sans pensée presque végétale, dans ce paysage lunaire, à moitié irréel, tenant de la rêverie éveillée et du songe de dormeur. État de grâce singulier, tout physique, auquel il devait de voir les choses avec d'autres yeux, ne trouvait plus rien à reprendre, savait même bon gré à M. Forget de s'être excusé, rejetant sur l'impatience de Thérèse cet achat de voiture, auquel il marquait l'intention de prendre part pour moitié, par une de ces délicatesses généreuses qu'il savait trouver, à point nommé. — Tu n'as pas froid? demanda-t-il avec insistance. — Non. Le silence retomba; la nuit pure les baigna de ses souffles: une allée d'eau côtoyait leur allée de sable, entre deux bordures de gazon: cette eau dormait, paresseuse, sur un lit d'herbes et de gros iris à lames d'épée; des étoiles, çà et là, trempaient; un pont de bois de loin en loin projetait une barre d'ombre noire, des bancs de pierre sous la lune ressemblaient à des corps couchés. — Il n'y a personne, murmura Trérèse, avec le vague frisson d'une peur contenue, au milieu de cette solitude magique. — Personne, dit-il. Ils aperçurent entre les arbres, au loin, le pavillon où habitait Gerbaud; tout y était noir, sans lumières. La ferme, plus loin, se taisait, bêtes et gens endormis. — On se couche tôt, à la campagne, fit Thérèse. Ils rentrèrent lentement, débouchèrent devant la grande pelouse; la façade des Flouves, blême de lune, se dressait devant eux, avec ses larges fenêtres dont les carreaux verdis semblaient boire les rayons pâles. — La belle nuit! dit Jacques. — Le cœur rempli d'une tendresse grave et fervente, il comprenait qu'il lui serait impossible d'exprimer cet état par des mots; à quoi bon d'ailleurs! La beauté du ciel et le merveilleux décor parlaient pour lui, et il savait bien que Thérèse entendait cette voix des choses, y répondait. Elle se faisait plus lourde à son bras et sa respiration s'entendait, oppressée de langueur, plus forte et plus lente. Qui eût osé nier, pensait-il, l'influence qu'exerçaient sur eux ce parc solennel, ce château de silence, la féerique atmosphère? Certes, on est malheureux partout, mais n'eussent-ils pas été exposés à souffrir bien davantage, si au lieu d'errer en oisifs luxueux dans ce jardin, ils avaient dû, en quelque pièce étroite d'un pauvre appartement de Paris, subir en plus les mesquines préoccupations du labeur quotidien, du pain à gagner? N'y eût-il pas eu, de la part de Jacques, hypocrisie à le prendre de haut avec ce luxe qui mettait autour de lui une ouate de bien-être, lui permettait de souffrir de façon moins vulgaire, de s'entourer d'une illusion de poésie et de beauté? Pourquoi se mentir à soi-même, comme il lui était arrivé plus d'une fois, feindre une âme détachée et au-dessus de ces vanités? Qu'il eût le courage de se l'avouer: il jouissait pleinement de se retrouver en ce beau et aristocratique domaine, de le savoir à soi; et il ne rachetait l'égoïsme de cette pensée que par le plaisir qu'il goûtait à associer Thérèse à cette possession. Ce lui était même un attendrissement de songer qu'elle ne tenait que de sa générosité son titre et son rang de châtelaine des Flouves; il l'en avait investie à nouveau, par le pardon: la vision de la femme séparée ou divorcée, vivant seule, mal jugée, livrée sans défense aux hasards et aux duretés de la vie, passa devant ses yeux et lui fit mal. Il eût mieux aimé Thérèse morte que de la savoir vouée à des liaisons douteuses, à d'inférieures tendresses. Il éprouvait une satisfaction d'amour-propre, mais aussi de bonté, à s'affirmer qu'il ne la punirait qu'à force de soins, de prévenances, qu'en

l'entourant de délicatesses raffinées: ces procédés auraient quelques noblesse, et à défaut de respect commanderaient l'estime et la reconnaissance. Pourquoi l'eût-elle, d'ailleurs, nécessairement méprisé? Comme c'était pour lui l'idée la plus pénible, et qu'il eût supporté d'être ou de paraître avili aux yeux de bien des gens, mais non à ceux de Thérèse, il s'efforçait de l'écarter, cette obsession cuisante, en s'affirmant que sa conduite haute et tendre, — hélas! méritait-elle bien cet éloge? — était le plus sûr moyen pour reconquérir la confiance et l'affection de sa femme. Que serait l'avenir, il n'en pouvait décider; mais ce dont il ne pouvait douter, c'est que cette minute Thérèse l'aimât, fût toute à lui, rien qu'à lui. Il lui en savait une gratitude infinie, tout en estimant que cela lui était bien dû, peut-être; mais pour rien au monde, il n'eût voulu lui faire sentir la supériorité de sa situation, la générosité, prétendue ou réelle, de son âme; et il fut payé de la délicatesse qui le condamnait à se taire, par l'intuition qu'eut Thérèse de ce qu'il pensait en ce moment: magnétiquement avertie, elle alla au-devant, murmura: — Comme nous serons bien ici, loin de tout, tous deux seuls!

(*La Tourmente*).

ANATOLE FRANCE.

47. L'étoile.

Suzanne a accompli ce soir le douzième mois de son âge, et, depuis un an qu'elle est sur cette vieille terre, elle a fait bien des expériences. Un homme capable de découvrir en douze ans autant de choses et de si utiles que Suzanne en a découverts en douze mois serait un mortel divin. Les petits enfants sont des génies méconnus; ils prennent possession du monde avec une énergie surhumaine. Rien ne vaut cette première poussée de la vie, ce premier jet de l'âme. Concevez-vous que ces petits êtres voient, touchent, parlent, observent, comparent, se souviennent? Concevez-vous qu'ils marchent, qu'ils vont et viennent? Concevez-vous qu'ils jouent? Cela surtout est merveilleux qu'ils jouent, car le jeu est le principe de tous les arts. Des poupées et des chansons, c'est déjà presque tout Shakespeare. Suzanne a une grande corbeille pleine de joujoux, dont quelques-uns seulement sont des joujoux par nature et

par destination, tels qu'animaux en bois blanc et bébés en caoutchouc. Les autres ne sont devenus des jouets que par un tour particulier de leur fortune: ce sont de vieux porte-monnaie, des chiffons, des fonds de boîte, un mètre, un étui à ciseaux, une bouillotte, un indicateur des chemins de fer et un caillou. Ils sont les uns et les autres pitoyablement avariés. Chaque jour, Suzanne les tire un par un de la corbeille pour les donner à sa mère. Elle n'en remarque aucun d'une façon spéciale, et elle ne fait généralement aucune distinction entre ce petit bien et le reste des choses. Le monde est pour elle un immense joujou découpé et peint.

Si on voulait se pénétrer de cette conception de la nature et y rapporter tous les actes, toutes les pensées de Suzanne, on admirerait la logique de cette petite âme; mais on la juge d'après nos idées, non d'après les siennes. Et, parce qu'elle n'a pas *notre* raison, on décide qu'elle n'a pas de raison. Quelle injustice! Moi qui sais me mettre au vrai point de vue, je découvre un esprit de suite là où le vulgaire n'aperçoit que des façons incohérentes. Pourtant je ne m'abuse pas; je ne suis pas un père idolâtre; je reconnais que ma fille n'est pas beaucoup plus admirable qu'un autre enfant. Je n'emploie pas en parlant d'elle, des expressions exagérées. Je dis seulement à sa mère: — Chère amie, nous avons là une bien jolie petite fille. Elle me répond à peu près ce que madame Primerose répondait quand ses voisins lui faisaient un semblable compliment. — Mon ami, Suzanne est ce que Dieu l'a faite: assez belle, si elle est assez bonne. Et, en disant cela, elle répand sur Suzanne un long regard magnifique et candide, où l'on devine, sous les paupières abaissées, des prunelles brillantes d'orgueil et d'amour. J'insiste, je dis: — Convenez qu'elle est jolie. Mais elle a pour n'en pas convenir, plusieurs raisons que je découvre mieux encore qu'elle ne le ferait elle-même. Elle veut s'entendre dire encore et toujours que sa petite enfant est jolie. En le disant elle-même, elle croirait manquer à certaine bienséance, et ne pas montrer toute la délicatesse qu'il faut. Elle craindrait surtout d'offenser on ne sait quelle puissance invisible, obscure, qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle sent là, dans l'ombre, prête à punir sur leurs bébés les mamans qui s'enorgueillissent. Et quel heureux ne le craindrait pas, ce spectre si certainement caché dans les rideaux de la chambre? Qui donc, le soir, pressant

dans ses bras sa femme et son enfant, oserait dire en présence du monde invisible: «Mes cœurs, où en sommes-nous de notre part de joie et de beauté?» C'est pourquoi je dis à ma femme: — Vous avez raison, chère amie, vous avez toujours raison. Le bonheur repose ici, sous ce petit toit. Chut! Ne faisons pas de bruit: il s'envolerait. Les mères athéniennes craignaient Némésis, cette déesse toujours présente, jamais visible, dont elles ne savaient rien, sinon qu'elle était la jalousie des dieux. Némésis, hélas! dont le doigt se reconnaissait partout, à toute heure, dans cette chose banale et mystérieuse: l'accident. Les mères athéniennes!... J'aime à me figurer une d'elles endormant au cri des cigales, sous le laurier, au pied de l'autel domestique, son nourrisson nu comme un petit dieu.

«J'imagine qu'elle se nommait Lysilla, qu'elle craignait Némésis comme vous la craignez, mon amie, et que, comme vous, loin d'humilier les autres femmes par l'éclat d'un faste oriental, elle ne songeait qu'à se faire pardonner sa joie et sa beauté... Lysilla, Lysilla! avez-vous donc passé sans laisser sur la terre une ombre de votre forme, un souffle de votre âme charmante? Êtes-vous donc comme si vous n'aviez jamais été?» La maman de Suzanne coupe le fil capricieux de ces pensées. — Mon ami, dit-elle, pourquoi parlez-vous ainsi de cette femme? Elle eut son temps comme nous avons le nôtre. Ainsi va la vie. — Vous concevez donc, mon âme, que ce qui a été puisse n'être plus? — Parfaitement. Je ne suis pas comme vous qui vous étonnez de tout, mon ami. — Et ces paroles, elle les prononce d'un ton tranquille en préparant la toilette de nuit de Suzanne. Mais Suzanne refuse obstinément de se coucher. Ce refus passerait dans l'histoire romaine pour un beau trait de la vie d'un Titus, d'un Vespasien ou d'un Alexandre Sévère. Ce refus fait que Suzanne est grondée. Justice humaine, te voilà! A vrai dire, si Suzanne veut rester debout, c'est, non pas pour veiller au salut de l'Empire, mais pour fouiller dans le tiroir d'une vieille commode hollandaise à gros ventre et à massives poignées de cuivre.

Elle y plonge; elle se tient d'une main au meuble, et, de l'autre, elle empoigne des bonnets, des brassières, des robes qu'elle jette, avec un grand effort, à ses pieds, en poussant des petits cris changeants, légers et sauvages. Son dos, couvert d'un fichu en pointe, est d'un ridicule attendrissant; sa petite tête, qu'elle tourne par moments vers moi, exprime une satisfaction plus touchante encore. Je n'y puis tenir. J'oublie Némésis, je m'écrie: — Voyez-la: elle est adorable dans son tiroir! — D'un geste à la fois mutin ou craintif, sa maman me met un doigt sur la bouche. Puis elle retourne auprès du tiroir saccagé. Cependant je poursuis ma pensée: — Chère amie, si Suzanne est admirable par ce qu'elle sait, elle est non moins admirable par ce qu'elle ne sait pas. C'est dans ce qu'elle ignore qu'elle est pleine de poésie. A ces mots, la maman de Suzanne tourna ses yeux vers moi en souriant un peu de côté, ce qui est un signe de moquerie, puis elle s'écria: — La poésie de Suzanne! la poésie de votre fille! Mais elle ne se plaît qu'à la cuisine, votre fille! Je la trouvai l'autre jour radieuse au milieu des épluchures. Vous appelez cela de la poésie, vous? — Sans doute, chère amie, sans doute. La nature tout entière se reflète en elle avec une si magnifique pureté, qu'il n'y a rien au monde de sale pour elle, pas même le panier aux épluchures. C'est pourquoi vous la trouvâtes perdue, l'autre jour, dans l'enchantement des feuilles de chou, des pelures d'oignon et des queues de crevettes. C'était un ravissement, madame. Je vous dis qu'elle transforme la nature avec une puissance angélique, et que tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle touche s'empreint pour elle de beauté. Pendant ce discours, Suzanne quitta sa commode et s'approcha de la fenêtre. Sa mère l'y suivit et la prit dans ses bras. La nuit était tranquille et chaude. Une ombre transparente baignait la fine chevelure de l'acacia dont nous voyions les fleurs tombées former des traînées blanches dans notre cour. Le chien dormait, les pattes hors de sa niche. La terre était trempée au loin d'un bleu céleste. Nous nous taisions tous trois. Alors, dans le silence, dans l'auguste silence de la nuit, Suzanne leva le bras aussi haut qu'il lui fut possible, et, du bout de son doigt, qu'elle ne peut jamais ouvrir tout à fait, elle montra une étoile. Ce doigt, qui est d'une petitesse miraculeuse, se courbait par intervalles comme pour appeler. Et Suzanne parla à l'étoile! Ce qu'elle disait n'était pas composé de mots. C'était un parler obscur et charmant, un chant étrange, quelque chose de doux et de profondément mystérieux, ce qu'il faut enfin pour exprimer l'âme d'un bébé quand un astre s'y reflète. Elle est drôle, cette petite, dit sa mère en l'embrassant.

(*Le livre de mon ami*).

G. FLAUBERT.

48. L'éducation d'Emma Bovary.

Elle avait lu *Paul et Virginie* et elle avait rêvé la maisonnette de bambous, le nègre Domingo, le chien Fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelque bon petit frère, qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d'oiseau. Lorsqu'elle eut treize ans, son père l'amena lui-même à la ville pour la mettre au couvent. Ils descendirent dans une auberge du quartier Saint-Gervais, où ils eurent à leur souper des assiettes peintes qui représentaient l'histoire de M-lle de la Vallière. Les explications légendaires, coupées çà et là par l'égratignure des couteaux, glorifiaient toutes la religion, les délicatesses du cœur et les pompes de la Cour. Loin de s'ennuyer au couvent les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs qui, pour l'amuser, la conduisaient dans la chapelle, où l'on pénétrait du réfectoire par un long corridor. Elle jouait fort peu durant les récréations, comprenait bien le catéchisme, et c'est elle qui répondait toujours à M. le vicaire, dans les questions difficiles. Vivant donc sans jamais sortir de la tiède atmosphère des classes et parmi ces femmes au teint blanc portant des chapelets à croix de cuivre, elle s'assoupit doucement à la langueur mystique qui s'exhale des parfums de l'autel, de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges. Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur, et elle aimait la brebis malade, le sacré cœur percé de flèches aiguës, ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sur sa croix. Elle essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait dans sa tête quelque vœu à accomplir. Quand elle allait à confesse, elle inventait de petits péchés, afin de rester là plus longtemps, à genoux dans l'ombre, les mains jointes, le visage à la grille sous le chuchotement du prêtre. Les comparaisons de fiancé, d'époux, d'amant céleste et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était, pendant la semaine, quelque résumé d'histoire sainte ou les *Conférences* de l'abbé Frayssinous, et, le

dimanche, des passages du *Génie du christianisme*, par récréation. Comme elle écouta, les premières fois, la lamentation sonore des mélancolies romantiques se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité! Si son enfance se fût écoulée dans l'arrière-boutique d'un quartier marchand, elle se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature, qui, d'ordinaire, ne nous arrivent que par la traduction des écrivains. Mais elle connaissait trop la campagne; elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait, au contraire, vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il fallait qu'elle pût retirer des choses une sorte de profit personnel; et elle rejetait comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur,— étant, de tempérament, plus sentimentale qu'artiste, cherchant des émotions et non des paysages. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant huit jours, travailler à la lingerie. Protégée par l'archevêché comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés sous la Révolution, elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs, et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. Souvent les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, quelque roman qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres dans les intervalles de sa besogne. Ce n'étaient qu'amours, amants, amantes, dames persécutées s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, *messieurs* braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard elle s'éprit de choses historiques, rêva bahuts, salle des gardes et mé-

nestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage, qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours, le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir. Elle eut dans ce temps-là le culte de Marie Stuart, et des vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées. Jeanne Darc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle Ferronnière et Clémence Isaure, pour elle, se détachaient comme des comètes sur l'immensité ténébreuse de l'histoire, où saillissaient encore çà et là, mais plus dans l'ombre et sans aucun rapport entre eux, saint Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de Saint-Barthélemy, le panache du Béarnais, et toujours le souvenir des assiettes peintes où Louis XIV était vanté. A la classe de musique, dans les romances qu'elle chantait, il n'était question que de petits anges aux ailes d'or, de madones, de lagunes, de gondoliers, pacifiques compositions qui lui laissaient entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Quelques-unes de ses camardes apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en étrennes. Il les fallait cacher, c'était une affaire; on les lisait au dortoir. Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent comtes ou vicomtes, au bas de leurs pièces. Elle frémissait, en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures, qui se levait à demi plié et retombait doucement contre la page. C'était, derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche, portant une aumônière à sa ceinture; ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalées dans des voitures, glissant au milieu des parcs, où un lévrier sautait devant l'attelage que conduisaient au trot deux petits postillons en culotte blanche. D'autres rêvant sur des sofas près d'un billet décacheté, contemplaient la lune, par la fenêtre entr'ouverte, à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves, une larme sur la joue, becquetaient une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou, souriant la tête sur l'épaule, effeuillaient une marguerite de leurs doigts pointus, retrous-

sés, comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi, sultans à longues pipes, pâmés sous des tonnelles aux bras des bayadères, djiaours, sabres turcs, bonnets grecs, et vous surtout, paysages blafards des contrées dithyrambiques, qui souvent nous montrez à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à droite, un lion à gauche, des minarets tartares à l'horizon, au premier plan des ruines romaines, puis des chameaux accroupis; — le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée, et avec un grand rayon de soleil perpendiculaire tremblotant dans l'eau, où se détachent en écorchures blanches, sur un fond d'acier gris, de loin en loin, des cygnes qui nagent. Et l'abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde, qui passaient devant elle les uns après les autres, dans le silence du dortoir et au bruit lointain de quelque fiacre attardé qui roulait encore sur les boulevards. Quand sa mère mourut, elle pleura beaucoup les premiers jours. Elle se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte, et, dans une lettre qu'elle envoyait aux Bertaux, toute pleine de réflexions tristes sur la vie, elle demandait qu'on l'ensevelît plus tard dans le même tombeau. Le bonhomme la crut malade et vint la voir. Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arrivée du premier coup à ce rare idéal des existences pâles, où ne parviennent jamais les cœurs médiocres. Elle se laissa donc glisser dans les méandres lamartiniens, écouta les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants, toutes les chutes de feuilles, les vierges pures qui montent au ciel, et la voix de l'Éternel discourant dans les vallons. Elle s'en ennuya, n'en voulut point convenir, continua par habitude, ensuite par vanité, et fut enfin surprise de se sentir apaisée, et sans plus de tristesse au cœur que de rides sur son front. Les bonnes religieuses, qui avaient si bien présumé de sa vocation, s'aperçurent avec de grands étonnements que M-lle Rouault semblait échapper à leur soin. Elles lui avaient, en effet, tant prodigué les offices, les retraites, les neuvaines et les sermons, si bien prêché le respect que l'on doit aux saints et aux martyrs, et donné tant de bons conseils pour la modestie du corps et le salut de son âme qu'elle fit comme les chevaux que l'on tire par la bride: elle s'arrêta court et le mors lui sortit des dents. Cet esprit, positif au milieu de ses enthousiasmes, qui avait aimé l'église pour ses fleurs, la musique pour les paroles des romances, et la littérature pour

ses excitations passionnelles, s'insurgeait devant les mystères de la foi, de même qu'elle s'irritait davantage contre la discipline, qui était quelque chose d'antipathique à sa constitution. Quand son père la retira de pension, on ne fut point fâché de la voir partir. La supérieure trouvait même qu'elle était devenue, dans les derniers temps, peu révérencieuse envers la communauté. Emma, rentrée chez elle, se plut d'abord au commandement des domestiques, prit ensuite la campagne en dégoût et regretta son couvent. Quand Charles vint aux Bertaux pour la première fois, elle se considérait comme fort désillusionnée, n'ayant plus rien à apprendre, ne devant plus rien sentir.

(*Madame Bovary*).

CHATEAUBRIAND.

49. Une profession de foi.

Je ne démens pas une syllabe de ce que j'ai écrit dans les *Génie du Christianisme;* jamais un mot n'échappera à ma bouche, une ligne à ma plume, qui soit en opposition avec les opinions religieuses que j'ai professées depuis vingt-cinq ans.

Voilà ce que je suis.

Voici ce que je ne suis pas.

Je ne suis point chrétien par patente et trafiquant en religion: mon brevet n'est que mon extrait de baptême. J'appartiens à la communion générale, naturelle et publique de tous les hommes qui depuis la création se sont entendus d'un bout de la terre à l'autre pour prier Dieu. Je ne fais point métier et marchandise de mes opinions. Indépendant de tout, fors de Dieu, je suis chrétien sans ignorer mes faiblesses, sans me donner pour modèle, sans être persécuteur, inquisiteur, délateur, sans espionner mes frères, sans calomnier mes voisins.

Je ne suis point un incrédule déguisé en chrétien, qui propose la religion comme un frein utile aux peuples. Je n'explique point l'Évangile au profit du despotisme, mais au profit du malheur. Si je n'étais pas chrétien, je ne me donnerais pas la peine de le paraître: toute contrainte me pèse, tout masque m'étouffe; à la seconde phrase, mon caractère l'emporterait et je me trahirais. J'attache trop peu d'importance à la vie pour m'ennuyer à la parer d'un mensonge. Se conformer

en tout à l'esprit d'élévation et de douceur de l'Évangile, marcher avec le temps, soutenir la liberté avec l'autorité de la religion, prêcher l'obéissance à la charte comme la soumission au roi, faire entendre du haut de la chaire des paroles de compassion pour ceux qui souffrent, quels que soient leur pays et leur culte, réchauffer la foi par l'ardeur de la charité, voilà, selon moi, ce qui pouvait rendre au clergé la puissance légitime qu'il doit obtenir: par le chemin opposé, sa ruine est certaine. La société ne peut se soutenir qu'en s'appuyant sur l'autel; mais les ornements de l'autel doivent changer selon les siècles, et en raison des progrès de l'esprit humain. Si le sanctuaire de la divinité est beau à l'ombre, il est encore plus beau à la lumière: la croix est l'étendard de la civilisation. Je ne redeviendrai incrédule que quand on m'aura démontré que le christianisme est incompatible avec la liberté; alors je cesserai de regarder comme véritable, une religion opposée à la dignité de l'homme. Comment pourrais-je croire émané du ciel un culte qui étoufferait les sentiments nobles et généreux, qui rapetisserait les âmes, qui couperait les ailes du génie, qui maudirait les lumières au lieu d'en faire un moyen de plus pour s'élever à l'amour et à la contemplation des œuvres de Dieu? Quelle que fût ma douleur, il faudrait bien reconnaître malgré moi que je me repaissais de chimères: j'approcherais avec horreur de cette tombe où j'avais espéré trouver le repos, et non le néant.

Mais tel n'est point le caractère de la vraie religion, le christianisme porte pour moi deux preuves manifestes de sa céleste origine: par sa morale, il tend à nous délivrer des passions; par sa politique, il a aboli l'esclavage. C'est donc une religion de liberté: c'est la mienne...

Deux espèces d'hommes sont aujourd'hui [1]) le fléau de la société: d'une part, ce sont ces vieux écoliers de Diderot et de d'Alembert, qui se plaisent encore aux moqueries sur la Bible, aux déclamations de l'athéisme, aux insultes au chergé; de l'autre, ce sont ces esprits bornés et violents, qui disent la religion en péril parce que nous avons une Charte, parce que les divers cultes chrétiens sont reconnus par l'État, et surtout parce que nous jouissons de la liberté de la presse. Les premiers

[1]) En 1826. La date explique l'allure militante de ce morceau. «Chateaubriand, dit Sainte-Beuve, fut un journaliste incomparable.»

nous ramèneraient les misérables mœurs du siècle de Louis XV ou les persécutions irréligieuses de la fin de ce siècle; les seconds nous replongeraient dans la crasse et dans l'ignorance du bon vieux temps; ceux-là extermineraient philosophiquement les prêtres; ceux-ci brûleraient charitablement les philosophes. Ces impies et ces fanatiques acharnés à se détruire, s'ils étaient les maîtres, ne s'arrêteraient qu'au dernier bourreau et à la dernière victime, faute de pouvoir occuper à la fois le dernier échafaud et le dernier autodafé.

(*Essai, Préface de 1826.*)

VICTOR HUGO.

50. Après la bataille.

Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d'une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit.
C'était un Espagnol de l'armée en déroute,
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route.
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu'à moitié,
Et qui disait: «A boire, à boire, par pitié!»
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit: «Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé».
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l'homme, une espèce de Maure,
Saisit un pistolet qu'il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant: «Caramba!»
Le coup passa si près que le chapeau tomba,
Et que le cheval fit un écart en arrière.
«Donne-lui tout de même à boire», dit mon père.

(*Légende des siècles*).

51. La mort de Gavroche.

La scène se passe pendant l'insurrection dite «de la rue Transnonain», en 1832. Les insurgés, parmi lesquels a pris place un gamin de Paris, Gavroche, sont armés et serrés de près par la garde nationale et la troupe. Les munitions commencent à leur manquer.

Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret, était sorti par la coupure [1]), et était paisiblement occupé à vider dans son panier les gibernes pleines de cartouches des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute. «Qu'est-ce que tu fais là?» dit Courfeyrac [2]). Gavroche leva le nez: «Citoyen, j'emplis mon panier. — Tu ne vois donc pas la mitraille?» Gavroche répondit: «Eh bien, il pleut. Après?» Courfeyrac cria: «Rentre! — Tout à l'heure», fit Gavroche. Et d'un bond il s'enfonça dans la rue. On se souvient que la compagnie Fannicot, en se retirant, avait laissé derrière elle une traînée de cadavres. Une vingtaine de morts gisaient çà et là, dans toute la longueur de la rue sur le pavé. Une vingtaine de gibernes pour Gavroche, une provision de cartouches pour la barricade. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Quiconque a vu un nuage tombé dans une gorge de montagnes entre deux escarpements à pic peut se figurer cette fumée resserrée et comme épaissie par deux sombres lignes de hautes maisons. C'est à peine si d'un bout à l'autre de la rue, pourtant fort courte, les combattants s'apercevaient. Cet obscurcissement, probablement voulu et calculé par les chefs qui devaient diriger l'assaut de la barricade, fut utile à Gavroche. Dans les plis de ce voile de fumée et grâce à sa petitesse, il put s'avancer assez loin dans la rue sans être vu. Il dévalisa les sept ou huit premières gibernes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à quatre pattes, prenait son panier aux dents, se tordait, glissait, ondulait, serpentait d'un mort à l'autre, et vidait la giberne ou la cartouchière comme un singe vide une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on n'osait lui crier de revenir, de peur d'appeler l'attention sur lui. Sur un cadavre, qui était un caporal, il trouva une poire à poudre. «Pour la soif», dit-il en la mettant dans sa poche. A force d'aller en avant, il parvint au point

[1]) *La coupure*, passage pratiqué dans la barricade.
[2]) *Confeyrac*, le chef des insurgés dans le roman de Victor Hugo.

où le brouillard devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne rangés et à l'affût derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue [1]) massés à l'angle de la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. «Fichtre! fit Gavroche, voilà qu'on me tue mes morts.» Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. Gavroche regarda et vit que cela venait de la banlieue [2]). Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient, et il chanta:

On est laid à Nanterre,
C'est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C'est la faute à Rousseau.

Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombées, et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne. Là, une quatrième balle le manqua encore. Gavroche chanta:

Je ne suis pas notaire,
C'est la faute à Voltaire;
Je suis petit oiseau,
C'est la faute à Rousseau.

Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet:

Joie est mon caractère,
C'est la faute à Voltaire
Misère est mon trousseau,
C'est la faute à Rousseau.

Cela continua ainsi quelque temps. Le spectacle était épouvantable et charmant. — Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse,

[1]) *Les tirailleurs de la banlieue*, les tirailleurs de la garde nationale de la banlieue, c'est-à-dire des environs de Paris.

[2]) *De la banlieue.* Il s'agit encore ici des tirailleurs de la banlieue, que Gavroche semble traiter ici avec dédain, comme n'étant pas de vrais Parisiens.

on le manquait toujours. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait; lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme; c'était un étrange gamin-fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort; chaque fois que la face camarde du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu-follet. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri; mais Gavroche n'était tombé que pour se redresser; il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup, et se mit à chanter:

Je suis tombé par terre,
C'est la faute à Voltaire,
Le nez dans le ruisseau,
C'est la faute à....

Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois il s'abattit la face contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler.

(*Les Misérables*).

52. Waterloo.

Waterloo (18 juin 1815) fut la dernière bataille de Napoléon. Prenant l'offensive après son retour de l'île d'Elbe, il avait pénétré en Belgique, attaqué et vaincu, le 16 juin à Fleurus, l'armée prussienne, commandée par Blücher. Deux jours après, il attaquait à Waterloo l'armée anglaise, commandée par Wellington. On sait comment, à la fin de la journée du 18 juin, l'armée prussienne, échappant à Grouchy qui était chargé de la surveiller, arriva sur le champ de bataille de Waterloo et amena la défaite de l'empereur.

Le soir tombait; la lutte était ardente et noire.
Il avait l'offensive et presque la victoire;
Il tenait Wellington acculé sur un bois.
Sa lunette à la main, il observait parfois

Le centre du combat, point obscur où tressaille
La mêlée, effroyable et vivante broussaille,
Et parfois l'horizon, sombre comme la mer.
Soudain, joyeux, il dit: Grouchy! — C'était Blücher.
L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme,
La mêlée en hurlant grandit comme une flamme.
La batterie anglaise écrasa nos carrés.
La plaine où frissonnaient les drapeaux déchirés
Ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge,
Qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge;
Gouffre où les régiments, comme des pans de murs,
Tombaient, où se couchaient comme des épis murs
Les hauts tambours-majors aux panaches énormes,
Où l'on entrevoyait des blessures difformes!
Carnage affreux! moment fatal! L'homme inquiet
Sentit que la bataille entre ses mains pliait.
Derrière un mamelon la garde était massée.
La garde, espoir suprême et suprême pensée!
«Allons! faites donner la garde», cria-t-il.
Et lanciers, grenadiers aux guêtres de coutil,
Dragons que Rome eût pris pour des légionnaires,
Cuirassiers, cannoniers qui traînaient des tonnerres,
Portant le noir colback ou le casque poli.
Tous, ceux de Friedland et ceux de Rivoli,
Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête,
Saluèrent leur dieu, debout dans la tempête.
Leur bouche, d'un seul cri, dit: Vive l'empereur!
Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur,
Tranquille, souriant à la mitraille anglaise,
La garde impériale entra dans la fournaise.
Hélas! Napoléon, sur sa garde penché,
Regardait, et, sitôt qu'ils avaient débouché
Sous les sombres canons crachant des jets de soufre,
Voyait, l'un après l'autre, en cet horrible gouffre,
Fondre ces régiments de granit et d'acier,
Comme fond une cire au souffle d'un brasier.

Ils allaient, l'arme au bras, front haut, graves, stoïques,
Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques!
Le reste de l'armée hésitait sur leurs corps
Et regardait mourir la garde. — C'est alors
Qu'élevant tout à coup sa voix désespérée,
La Déroute, géante à la face effarée,
Qui, pâle, épouvantant les plus fiers bataillons,
Changeant subitement les drapeaux en haillons,
A de certains moments, spectre fait de fumées,
Se lève grandissante au milieu des armées,
La Déroute apparut au soldat qui s'émeut,
Et, se tordant les bras, cria: Sauve qui peut!
Sauve qui peut! affront! horreur! toutes les bouches
Criaient; à travers champs, fous, éperdus, farouches,
Comme si quelque souffle avait passé sur eux,
Parmi les lourds caissons et les fourgons poudreux,
Roulant dans les fossés, se cachant dans les seigles,
Jetant shakos, manteaux, fusils, jetant les aigles,
Sous les sabres prussiens, ces vétérans, ô deuil!
Tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient! — En un clin d'œil,
Comme s'envole au vent une paille enflammée,
S'évanouit ce bruit qui fut la Grande Armée,
Et cette plaine, hélas, où l'on rêve aujourd'hui,
Vit fuir ceux devant qui l'univers avait fui!
Quarante ans sont passés, et ce coin de la terre,
Waterloo, ce plateau funèbre et solitaire,
Ce champ sinistre où Dieu mêla tant de néants,
Tremble encor d'avoir vu la fuite des géants!

(*Les Châtiments*).

53. L'asile.

Personne n'avait encore remarqué, dans la galerie des statues des rois, sculptée immédiatement au-dessus des ogives du portail, un spectateur étrange qui avait tout examiné jusqu'alors avec une telle impassibilité, avec un cou si tendu, avec un visage si difforme, que, sans son

accoutrement mi-parti rouge et violet, on eût pu le prendre pour un de ces monstres de pierre par la gueule desquels se dégorgent depuis six cents ans les longues gouttières de la cathédrale. Ce spectateur n'avait rien perdu de ce qui s'était passé depuis midi devant le portail de Notre-Dame. Et, dès les premiers instants, sans que personne songeât à l'observer, il avait fortement attaché à l'une des colonnettes de la galerie une grosse corde à nœuds, dont le bout allait traîner en bas sur le perron. Cela fait, il s'était mis à regarder tranquillement, et à siffler de temps en temps quand un merle passait devant lui. Tout à coup, au moment où les valets du maître des œuvres se disposaient à exécuter l'ordre flegmatique de Charmolue, il enjamba la balustrade de la galerie, saisit la corde des pieds, des genoux et des mains; puis on le vit couler sur la façade, comme une goutte de pluie qui glisse le long d'une vitre, courir vers les deux bourreaux avec la vitesse d'un chat, tombé d'un toit, les terrasser sous deux poings énormes, enlever l'Égyptienne d'une main comme un enfant sa poupée, et d'un seul élan rebondir, jusque dans l'église, en élevant la jeune fille au-dessus de sa tête, et en criant d'une voix formidable: «Asile!» Cela se fit avec une telle rapidité que, si c'eût été la nuit, on eût pu tout voir à la lumière d'un seul éclair. «Asile! asile!» répéta la foule; et dix mille battements de mains firent étinceler de joie et de fierté l'œil unique de Quasimodo. Cette secousse fit revenir à elle la condamnée. Elle souleva sa paupière, regarda Quasimodo, puis la referma subitement, comme épouvantée de son sauveur. Charmolue resta stupéfait, et les bourreaux, et toute l'escorte. En effet, dans l'enceinte de Notre-Dame, la condamnée était inviolable. La cathédrale était un lieu de refuge. Toute justice humaine expirait sur le seuil. Quasimodo s'était arrêté sous le grand portail. Ses larges pieds semblaient aussi solides sur le pavé de l'église que les lourds piliers romans. Sa grosse tête chevelue s'enfonçait dans ses épaules comme celle des lions, qui eux aussi, ont une crinière et pas de cou. Il tenait la jeune fille toute palpitante, suspendue à ses mains calleuses, comme une draperie blanche; mais il la portait avec tant de précaution, qu'il paraissait craindre de la briser ou de la faner. On eût dit qu'il sentait que c'était une chose délicate, exquise et précieuse, faite pour d'autres mains que les siennes. Par moments, il avait l'air de n'oser la toucher, même du souffle. Puis, tout à coup, il la serrait avec étreinte dans ses

bras, sur sa poitrine anguleuse, comme son bien, comme son trésor, comme eût fait la mère de cette enfant. Son œil de gnome, abaissé sur elle, l'inondait de tendresse, de douleur et de pitié, et se relevait subitement, plein d'éclairs. Alors les femmes riaient et pleuraient, la foule trépignait d'enthousiasme, car en ce moment-là Quasimodo avait vraiment sa beauté. Il était beau, lui, cet orphelin, cet enfant trouvé, ce rebut, il se sentait auguste et fort, il regardait en face cette société dont il était banni, et dans laquelle il intervenait si puissamment, cette justice humaine à laquelle il avait arraché sa proie, tous ces tigres forcés de mâcher à vide, ces sbires, ces juges, ces bourreaux, toute cette force du roi qu'il venait de briser, lui infime, avec la force de Dieu. Et puis c'était une chose touchante que cette protection tombée d'un être si difforme sur un être si malheureux, qu'une condamnée à mort sauvée par Quasimodo. C'étaient les deux misères extrêmes de la nature et de la société, qui se touchaient et qui s'entr'aidaient.

Cependant, après quelques minutes de triomphe, Quasimodo s'était brusquement enfoncé dans l'église avec son fardeau. Le peuple amoureux de toute prouesse le cherchait des yeux, sous la sombre nef, regrettant qu'il se fût si vite dérobé à ses acclamations. Tout à coup on le vit reparaître à l'une des extrémités de la galerie des rois de France; il la traversa en courant comme un insensé, en élevant sa conquête dans ses bras et en criant: «Asile!» La foule éclata de nouveau en applaudissements. La galerie parcourue, il se replongea dans l'intérieur de l'église. Un moment après il reparut sur la plate-forme supérieure, toujours l'Égyptienne dans ses bras, toujours courant avec folie, toujours criant; «Asile!» Et la foule applaudissait. Enfin, il fit une troisième apparition sur le sommet de la tour du bourdon; de là il sembla montrer avec orgueil à toute la ville celle qu'il avait sauvée, et sa voix tonnante, cette voix qu'on entendait si rarement et qu'il n'entendait jamais, répéta trois fois avec frénésie jusque dans les nuages: «Asile! asile! asile!» — Noël! Noël! criait le peuple de son côté; et cette immense acclamation étonnait sur l'autre rive la foule de la grève.

(Notre Dame de Paris).

54. Coup-d'œil de celui qui est hors de tout.

L'homme a une pensée, se venger du plaisir qu'on lui fait. De là le mépris pour le comédien. Cet être me charme, me divertit, me distrait, m'enseigne, m'enchante, me console, me verse l'idéal, m'est agréable et utile, quel mal puis-je lui rendre? L'humiliation. Le dédain, c'est le soufflet à distance. Souffletons-le. Il me plaît, donc il est vil. Il me sert, donc je le hais. Où y a-t-il une pierre que je la lui jette? Prêtre, donne la tienne. Philosophe, donne la tienne. Bossuet, excommunie-le. Rousseau insulte-le. Orateur, crache-lui les cailloux de ta bouche. Ours, lance-lui ton pavé. Lapidons l'arbre, meurtrissons le fruit, et mangeons-le. Bravo! et à bas! Dire les vers des poëtes, c'est être pestiféré. Histrion, va! mettons-le au carcan dans son succès. Achevons-lui son triomphe en huée. Qu'il amasse la foule et qu'il crée la solitude. Et c'est ainsi que les classes riches, dites hautes classes, ont inventé pour le comedien cette forme d'isolement, l'applaudissement. La populace est moins féroce. Elle ne haïssait point Gwynplaine. Elle ne le méprisait pas non plus. Seulement le dernier calfat du dernier équipage de la dernière caraque amarrée dans le dernier des ports d'Angleterre se considérait comme incommensurablement supérieur à cet amuseur de «la canaille», et estimait qu'un calfat est autant au-dessus d'un saltimbanque qu'un lord est au-dessus d'un calfat. Gwynplaine était donc, comme tous les comédiens, applaudi et isolé. Du reste, ici-bas tout succès est crime et s'expie. Qui a la médaille a le revers. Pour Gwynplaine il n'y avait point de revers. En ce sens que les deux côtés de son succès lui agréaient. Il était satisfait de l'applaudissement et content de l'isolement. Par l'applaudissement, il était riche; par l'isolement, il était heureux. Être riche, dans ces bas fonds, c'est n'être plus misérable. C'est n'avoir plus de trous à ses vêtements, plus de froid dans son âtre, plus de vide dans son estomac. C'est manger à son appétit et boire à sa soif. C'est avoir tout le nécessaire, y compris un sou à donner à un pauvre. Cette richesse indigente, suffisante à la liberté, Gwynplaine l'avait. Du côté de l'âme, il était opulent. Il avait l'amour. Que pouvait-il désirer? Il ne désirait rien. La difformité de moins, il semble que ce pouvait être là une offre à lui faire. Comme il l'eût repoussée! Quitter ce masque

et reprendre son visage, redevenir ce qu'il avait été peut-être, beau et charmant, certes il n'eût pas voulu! Et avec quoi eût-il nourri Dea? que fût devenue la pauvre et douce aveugle qui l'aimait? Sans ce rictus qui faisait de lui un clown unique, il ne serait plus qu'un saltimbanque comme un autre, le premier équilibriste venu, un ramasseur de liards entre les fentes des pavés, et Dea n'aurait peut-être pas du pain tous les jours! Il se sentait avec un profond orgueil de tendresse le protecteur de cette infirme céleste. Nuit, Solitude, Dénûment, Impuissance, Ignorance, Faim et Soif, les sept gueules béantes de la misère se dressaient autour d'elle, et il était le Saint-Georges combattant ce dragon. Et il triomphait de la misère. Comment? par sa difformité. Par sa difformité, il était utile, secourable, victorieux, grand. Il n'avait qu'à se montrer, et l'argent venait. Il était le maître des foules; il se constatait le souverain des populaces. Il pouvait tout pour Dea. Ses besoins, il y pourvoyait; ses désirs, ses envies, ses fantaisies, dans la sphère limitée des souhaits possibles à un aveugle, il les contentait. Gwynplaine et Dea étaient, nous l'avons montré déjà, la providence l'un de l'autre, Il se sentait enlevé sur ses ailes, elle se sentait portée dans ses bras. Protéger qui vous aime, donner le nécessaire à qui vous donne les étoiles, il n'est rien de plus doux. Gwynplaine avait cette félicité suprême. Et il la devait à sa difformité. Cette difformité le faisait supérieur à tout. Par elle il gagnait sa vie et la vie des autres; par elle il avait l'indépendance, la liberté, la célébrité, la satisfaction intime, la fierté. Dans cette difformité il était inaccessible. Les fatalités ne pouvaient rien contre lui au-delà de ce coup où elles s'étaient épuisées, et qui lui avait tourné en triomphe. Ce fond du malheur était devenu un sommet élyséen. Gwynplaine était emprisonné dans sa difformité, mais avec Dea. C'était, nous l'avons dit, être au cachot dans le paradis. Il y avait entre eux et le monde des vivants une muraille. Tant mieux. Cette muraille les parquait, mais les défendait. Que pouvait-on contre Dea, que pouvait-on contre Gwynplaine, avec une telle fermeture de la vie autour d'eux? Lui ôter le succès? impossible. Il eût fallu lui ôter sa face. Lui ôter l'amour? impossible. Dea ne le voyait point. L'aveuglement de Dea était divinement incurable. Quel inconvénient avait pour Gwynplaine sa difformité? Aucun. Quel avantage avait-elle? Tous. Il était aimé malgré cette horreur, et peut-être

à cause d'elle. Infirmité et difformité s'étaient, d'instinct, rapprochées et accouplées. Être aimé, est-ce que ce n'est pas tout? Gwynplaine ne songeait à sa défiguration qu'avec reconnaissance. Il était béni dans cestigmate. Il le sentait avec joie imperdable et éternel. Quelle chance que ce bienfait fût irrémédiable! Tant qu'il y aurait des carrefours, des champs de foire, des routes où aller devant soi, du peuple en bas, du ciel en haut, on serait sûr de vivre, Dea ne manquerait de rien, on aurait l'amour! Gwynplaine n'eût pas changé de visage avec Apollon. Être monstre était pour lui la forme du bonheur. Aussi disions-nous en commençant que la destinée l'avait comblé. Ce réprouvé était un préféré. Il était si heureux qu'il en venait à plaindre les hommes autour de lui. Il avait de la pitié de reste. C'était d'ailleurs son instinct de regarder un peu dehors, car aucun homme n'est tout d'une pièce et une nature n'est pas une abstraction; il était ravi d'être muré, mais de temps en temps il levait la tête par-dessus le mur. Il n'en rentrait qu'avec plus de joie dans son isolement près de Dea, après avoir comparé. Que voyait-il autour de lui? Qu'était-ce que ces vivants dont son existence nomade lui montrait tous les échantillons, chaque jour remplacés par d'autres? Toujours de nouvelles foules, et toujours la même multitude. Toujours de nouveaux visages et toujours les mêmes infortunes. Une promiscuité de ruines. Chaque soir toutes les fatalités sociales venaient faire cercle autour de sa félicité. La Green-Box était populaire. Le bas prix appelle la basse classe. Ce qui venait à lui c'étaient les faibles, les pauvres, les petits. On allait à Gwynplaine comme on va au gin. On venait acheter pour deux sous d'oubli. Du haut de son tréteau, Gwynplaine passait en revue le sombre peuple. Son esprit s'emplissait de toutes ces apparitions successives de l'immense misère. La physionomie humaine est faite par la conscience et par la vie, et est la résultante d'une foule de creusements mystérieux. Pas une souffrance, pas une colère, pas une ignominie, pas un désespoir, dont Gwynplaine ne vit la ride. Ces bouches d'enfants n'avaient pas mangé. Cet homme était un père, cette femme était une mère, et derrière eux on devinait des familles en perdition. Tel visage sortait du vice et entrait au crime; et l'on comprenait le pourquoi? ignorance et indigence. Tel autre offrait une empreinte de bonté première raturée par l'accablement social et devenue haine. Sur ce front de vieille femme on

voyait la famine; sur ce front de jeune fille on voyait la prostitution. Le même fait, offrant chez la jeune la ressource, et plus lugubre là. Dans cette cohue il y avait des bras, mais pas d'outils; ces travailleurs ne demandaient pas mieux, mais le travail manquait. Parfois près de l'ouvrier un soldat venait s'asseoir, quelquefois un invalide, et Gwynplaine apercevait ce spectre, la guerre. Ici Gwynplaine lisait chômage, là exploitation, là servitude. Sur certains fronts il constatait on ne sait quel refoulement vers l'animalité, et ce lent retour de l'homme à la bête produit en bas par la pression des pesanteurs obscures du bonheur d'en haut. Dans ces ténèbres, il y avait pour Gwynplaine un soupirail. Ils avaient, lui et Dea, du bonheur par un jour de souffrance. Tout le reste était damnation. Gwynplaine sentait au-dessus de lui le piétinement inconscient des puissants, des opulents, des magnifiques, des grands, des élus du hasard; au-dessous, il distinguait le tas de faces pâles des déshérités; il se voyait, lui et Dea, avec leur tout petit bonheur, si immense, entre deux mondes; en haut le monde allant et venant, libre, joyeux, dansant, foulant aux pieds; en haut, le monde qui marche; en bas, le monde sur qui l'on marche. Chose fatale, et qui indique un profond mal social, la lumière écrase l'ombre! Gwynplaine constatait ce deuil. Quoi! une destinée si reptile! L'homme se traînant ainsi! une telle adhérence à la poussière et à la fange, un tel dégoût, une telle abdication, et une telle abjection, qu'on a envie de mettre le pied dessus! de quel papillon cette vie terrestre est-elle donc la chenille? Quoi! dans cette foule qui a faim et qui ignore, partout, devant tous, le point d'interrogation du crime ou de la honte! l'inflexibilité des lois produisant l'amollissement des consciences! pas un enfant qui ne croisse pour le rapetissement! pas une vierge qui ne grandisse pour l'offre! pas une rose qui ne naisse pour la bave! Ses yeux parfois, curieux d'une curiosité émue, cherchaient à voir jusqu'au fond de cette obscurité où agonisaient tant d'efforts inutiles et où luttaient tant de lassitudes, familles dévorées par la société, mœurs torturées par les lois, plaies faites gangrènes par la pénalité, indigences rongées par l'impôt, intelligences à vau l'eau dans un engloutissement d'ignorance, radeaux en détresse couverts d'affamés, guerres, disettes, râles, cris, disparitions! et il sentait le vague saisissement de cette poignante angoisse universelle. Il avait la vision de toute cette écume du malheur sur le sombre pêle-mêle humain.

Lui, il était au port, et il regardait autour de lui ce naufrage. Par moments, il prenait dans ses mains sa tête défigurée, et songeait.

Quelle folie que d'être heureux! comme on rêve! il lui venait des idées. L'absurde lui traversait le cerveau. Parce qu'il avait autrefois secouru un enfant, il sentait des velléités de secourir le monde. Des nuages de rêverie lui obscurcissaient parfois sa propre réalité: il perdait le sentiment de la proportion jusqu'à se dire: Que pourrait-on faire pour ce pauvre peuple? Quelquefois son absorption était telle qu'il le disait tout haut. Alors Ursus haussait les épaules et le regardait fixement. Et Gwynplaine continuait de rêver: — Oh! si j'étais puissant, comme je viendrais en aide aux malheureux! Mais que suis-je? un atome. Que puis-je? rien. Il se trompait. Il pouvait beaucoup pour les malheureux. Il les faisait rire. Et, nous l'avons dit, faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre, qu'un distributeur d'oubli!

(*L'homme qui rit*).

EDOUARD ROD.

55. **Religion.**

Paris, février.

Eh bien! oui, je me suis trompé, quand j'ai cru que c'était assez d'ouvrir les yeux sur les maux des autres pour savoir aimer, et que cet amour, à peine installé dans le cœur, créait l'homme nouveau, — d'action, d'énergie et de cœur — dans l'homme ancien, — d'indifférence et d'égoisme. Je me suis fait illusion sur moi-même: mes rêves d'humanitarisme, d'apostolat, de charité se sont déchirés en chemin et des lambeaux en pendent à tous les coins de route...... Il m'a suffi de voir quelques assemblées publiques pour comprendre qu'il y a peu à espérer des foules, que seul l'individu peut être grand, et que cette diminution des forces qui se massent condamne tout notre effort collectif. Il m'a suffi de peu d'observation pour voir quelles impossibilités se dressent devant les pas de celui qui poursuit le bien de son espèce, et comment la bonne volonté vient fatalement se briser contre le scepticisme des autres et contre le sien propre. Il m'a suffi d'avoir à sacrifier un rien de mes aises pour comprendre que j'étais plus impuissant encore au dévouement qu'à l'action: nous avons renvoyé Rose; la pauvre fille est

partie en pleurant; et comme son sort immédiat est assuré, j'ai chassé loin de moi l'importune question: «que deviendra-t-elle?» — Si je pousse plus loin cet examen de conscience, à mesure que j'apprends à mieux me connaître, je me trouve plus loin de l'idéal qu'un instant j'ai cru poursuivre. Je cherche, par exemple, jusqu'où peut s'étendre ma puissance de compassion (souffrir avec ceux qui souffrent): eh bien! le cri d'un chien dont une roue écrase la patte me fait aussi mal que celui du maçon tombant d'un échafaudage, et je ne suis pas plus ému par la lecture d'un fait divers racontant une catastrophe que par le récit détaillé de la mort de quelque animal: la description de l'agonie du singe, dans *Mariette Salomon,* me touche autant, peut être plus, que celle de la *Dame aux Camélias.* Pour qu'un malheur étranger m'atteigne et me cause un frisson, il faut que je puisse croire qu'il aurait pu me frapper moi-même: ainsi d'un accident de chemin de fer ou de l'incendie d'un théâtre; le «si j'avais été là» me secoue l'esprit à chaque détail atroce, mon imagination me met à la place des victimes, et si je m'apitoie sur les membres cassés, les têtes fendues, les corps carbonisés devant des portes barrées par des cadavres, c'est que je sens dans ma chair, dans mes os et dans ma tête leurs angoisses, leurs meurtrissures, leur asphyxie. Mais quand je plains des êtres dont les maux sont permanents et ne sauraient être miens, les mineurs dans leur fosse les ouvriers qui chôment, les pauvres dont les enfants ont faim, c'est sans participer *de fait* à ce qu'ils souffrent, c'est à l'aide d'un effort de compréhension, par un acte de volonté: pour échauffer mon cœur, il faut le raisonner; les Autres me restent étrangers, un frisson de pitié désintéressée et profonde ne me secoue point au spectacle de leurs maux, et je ne saurais pour les soulager faire abnégation de moi-même.

Oui, il faut le reconnaitre, les romans russes m'ont trompé, et m'ont fait faire quelques pas dans une voie qui n'est pas la mienne. Voici, j'imagine, comment le tour s'est joué dans les chambres obscures de l'inconscience où s'élaborent ou se déforment nos idées: en constatant la puissanee du sentiment qui inspire les Tolstoï et les Dostoiewsky, je me suis dit qu'il serait beau de l'éprouver comme eux, et je l'ai cherché, et je me suis soumis aux spéciales excitations d'esprit qui auraient pu le faire naître: il n'est pas venu; j'ai voulu faire comme s'il était là: en vain; n'est pas qui veut dupe de soi... Hélas! la «Re-

ligion de la souffrance humaine» n'est pas plus à notre portée qu'une autre religion, et les mêmes motifs nous l'interdisent : nous pouvons nous l'imposer par le raisonnement et la mettre en pratique, — comme des gens comme il faut qui fréquentent l'église sans croire et «pour l'exemple», — nous ne pouvons la connaître dans ce qu'elle a de vivifiant et de sain. Pareils à ces froids théologiens qui, dans le christianisme, ne savent voir que le dogme, nous ne trouvons en nous-mêmes que la théorie de la pitié. Ouvrez un de ces romans qu'ont inspirés les Russes, — et vous toucherez du doigt la différence. Le fleuve débordant, aux flots généreux, qui roule des eaux sanglotantes et troublées, — nos écrivains l'ont filtré et canalisé pour la consommation courante. Leur pitié est de fabrique, — de bonne marque quelquefois — mais indifférente au fond, d'une navrante indifférence, et tristement stérile, ergotant sur les malheurs des hommes qu'elle tient à distance avec prudence et dédain. C'est la pitié du Pharisien qui passe en fermant les yeux devant le voyageur blessé. C'est la pitié du curieux et du dilettante, qui veut la connaître pour la connaître ou parce qu'il la trouve belle, et qui en jongle comme d'un autre hochet, — art, amour, vice ou vertu...

(*Le Sens de la vie*).

56. **La Mort.**

Que l'agonie soit rapide, ou lente, il y aura un déchirement de notre être, — puis nous tomberons dans un vide infini, sans forme, sans bruit, sans couleur, où rien ne troublera le silence absolu de nos sens.

A l'instant précis de cette chute, le monde entier s'écroulera avec nous: les images que nos yeux ont mirées, les sons qui ont vibré dans nos oreilles, et tous les parfums qui ont dilaté nos narines, et tous les corps que nos mains ont touchés, perdront leur réalité comme nous, et les contours des choses s'effaceront avec les nôtres.

En même temps encore, s'éteindront nos chères pensées, les plus tristes et les plus hautes, nos sentiments si bien enracinés en nous qu'ils étaient plus réels que des objets tangibles, et se taront les vivaces espérances dont l'amical essaim nous entoure jusqu'à la dernière heure, et s'envoleront les rêves, les mystérieux rêves, dans les chimériques regions qui nous les envoient.

Et les rêves, les espérances, les pensées et les sentiments qui ont flotté dans notre air sans que nous ayons su les enfermer dans nos formules, resteront inexprimés à jamais.

Cependant les images enfuies se mireront autrement dans d'autres yeux; les pensées éteintes se rallumeront en autres lueurs dans d'autres esprits, le joyeux essaim des espérances voltigeront autour d'autres fronts, les sentiments jetteront dans d'autres cœurs leurs tenaces racines; et nos rêves, nos pensées, nos espérances, nos sentiments, comme s'ils n'avaient pas disparu avec nous continueront leur existance irréelle, — spectrale floraison des cerveaux passagers...

Et vainement, je cherche à me représenter cet anéantissement de mon être; vainement je me figure le jeu du monde, quand je n'en serai plus l'axe; vainement j'appelle à mon aide ces mots dont le sens est fixé, ces mots affreux de mort et de néant, qui traduisent avec une si redoutable précision la «Chose» incompréhensible, vainement je cherche à concevoir l'obscurité, le vide et le silence noir où j'aurai disparu.

Mais je suis secoué d'un frisson de révolte, quand je parviens un instant à serrer de près cette tyrannique idée: ma volonté, tendue, raidie et crispée, se brisera contre l'Irrevocable, dont je ne pourrai choisir l'heure, qu'il faudra subir sous la forme qu'il lui plaira de prendre, et je recule d'horreur quand je me représente ces «formes», — les fièvres qui vous consument dans leurs feux où dansent des fantômes, les consomptions qui vous boivent le sang goutte à goutte, les souffrances qui vous tordent, vous déforment et vous font crier.....

Cependant, pour que l'horreur soit complète, il faut que ces tortures aient un Après gardé par des incertitudes; on nous a trop dit que ce vide n'était qu'un abîme, un abîme à deux rives, en sorte que l'Au-delà se dresse et nous menace, redouté par nos lâches cœurs, — qui sait? espéré peut — être, tant nous répugne cette totale destruction qui nous guette...

Ah! combien heureux les croyants, dans leur rêve innocent de Cité Sainte où de beaux anges blancs les attendent en agitant des palmes, sous l'éclat de soleils mystiques dans la contemplation de Dieu!..

Et chaque jour, l'heure se reproche... Nous la voyons venir; elle plane et pèse sur nous; et il suffit que notre pensée rencontre une de ses effluves, pour que périssent à l'instant nos joies brèves.

Pourquoi donc aimer, puisque le gouffre attend nos affections? Hélas! au moment même où je sens la plus vivante tendresse, au moment où mon cœur s'élance vers un des deux êtres chers qui rayonnent en moi l'angoissante obsession me les vole d'avance, et je sens la fin qui les prend.

Et c'est toujours la Mort, qui dans toutes les coupes jette sa goutte putride, qui se cache dans toutes les fleurs et rit de son hideux rire dans les sourires de tous les yeux...

(*Le Sens de la vie*).

EMILE ZOLA.

57. La Mort de Miette.

Quand les têtes des soldats apparurent au bord de l'esplanade, Silvère, d'un mouvement instinctif, se tourna vers Miette. Elle était là, grandie, le visage rose, dans les plis du drapeau rouge; elle se haussait sur la pointe des pieds, pour voir la troupe; une attente nerveuse faisait battre ses narines, montrait ses dents blanches de jeune loup dans la rougeur de ses lèvres. Silvère lui sourit. Et il n'avait pas tourné la tête, qu'une fusillade éclata. Les soldats dont on ne voyait encore que les épaules, venaient de lâcher leur premier feu. Il lui sembla qu'un vent passait sur sa tête, tandis qu'une pluie de feuilles coupées par les balles, tombaient des ormes. Un bruit sec, pareil à celui d'une branche morte qui se casse, le fit regarder à sa droite. Il vit par terre le grand bûcheron, celui dont la tête dépassait celles des autres, avec un petit trou noir au milieu du front. Alors il déchargea sa carabine devant lui, sans viser, puis il la chargea, tira de nouveau. Et cela toujours, comme un furieux, comme une bête qui ne pense à rien, qui se dépêche de tuer. Il ne distinguait même plus les soldats; les fumées flottaient sous les ormes, pareilles à des lambeaux de mousseline grise. Les feuilles continuaient à pleuvoir sur les insurgés, la troupe tirait trop haut. Par instants, dans les bruits déchirants de la fusillade, le jeune homme entendait un soupir, un râle sourd; et il y avait dans la petite bande une poussée, comme pour faire de la place au malheureux qui tombait en se cramponnant aux épaules de ses voisins. Pendant dix minutes, le feu dura.

Puis, entre deux décharges, un homme cria: «Sauve qui peut!» avec un accent de terreur. Il y eut des grondements, des murmures de rage, qui disaient: «Les lâches! oh! les lâches;» Des phrases sinistres couraient: le général avait fui; la cavalerie sabrait les tirailleurs dispersés dans la plaine des Nores. Et les coups de feu ne cessaient pas, ils partaient irréguliers, rayant la fumée de flammes brusques. Une voix rude répétait qu'il fallait mourir là. Mais la voix affolée, la voix de terreur, criait plus haut: «Sauve qui peut! sauve qui peut!» Des hommes s'enfuirent, jetant leurs armes, sautant par-dessus les morts. Les autres serrèrent les rangs. Il resta une dizaine d'insurgés. Deux prirent encore la fuite et, sur les huit autres, trois furent tués d'un coup. Les deux enfants étaient restés machinalement, sans rien comprendre. A mesure que le bataillon diminuait. Miette élevait le drapeau davantage; elle le tenait, comme un grand cierge, devant elle, les poings fermés. Il était criblé de balles. Quand Silvère n'eut plus de cartouches dans les poches, il cessa de tirer, il regarda sa carabine d'un air stupide. Ce fut alors qu'une ombre lui passa sur la face, comme si un oiseau colossal eût effleuré son front d'un battement d'aile. Et, levant les yeux, il vit le drapeau qui tombait des mains de Miette. L'enfant, les deux poings serrés sur la poitrine, la tête renversée, avec une expression atroce de souffrance, tournait lentement sur elle-même. Elle ne poussa pas un cri; elle s'affaissa en arrière, sur la nappe rouge du drapeau. «Relève-toi, viens vite», dit Silvère lui tendant la main, la tête perdue. Mais elle resta par terre, les yeux tout grands ouverts, sans dire un mot. Il comprit, il se jeta à genoux. «Tu es blessée, dis? Où es-tu blessée?» Elle ne disait toujours rien; elle étouffait; elle le regardait de ses yeux agrandis, secouée par de courts frissons. Alors il lui écarta les mains. «C'est là, n'est-ce pas? c'est là». Et il déchira son corsage, mit à nu sa poitrine. Il chercha, il ne vit rien. Ses yeux s'emplissaient de larmes. Puis, sous le sein gauche, il aperçut un petit trou rose; une seule goutte de sang tachait la plaie. «Ça ne sera rien, balbutia-t-il; je vais aller chercher Pascal, il te guérira. Si tu pouvais te relever... Tu ne peux pas te relever?» Les soldats ne tiraient plus; ils s'étaient jetés à gauche, sur les contingents emmenés par l'homme au sabre. Au milieu de l'esplanade vide, il n'y avait que Silvère agenouillé devant le corps de Miette. Avec l'entêtement du désespoir, il

l'avait prise dans ses bras. Il voulait la mettre debout; mais l'enfant eut une telle secousse de douleur qu'il la recoucha. Il la suppliait. «Parle-moi, je t'en prie. Pourquoi ne me dis-tu rien?» Elle ne pouvait pas. Elle agita ses mains, d'un mouvement doux et lent, pour dire que ce n'était pas sa faute. Ses lèvres serrées s'amincissaient déjà sous le doigt de la mort. Les cheveux dénoués, la tête roulée dans les plis sanglants du drapeau, elle n'avait plus que ses yeux de vivants, des yeux noirs, qui luisaient dans son visage blanc. Silvère sanglota. Les regards de ces grands yeux navrés lui faisaient mal. Il y voyait un immense regret de la vie. Miette lui disait qu'elle partait seule, avant les noces, qu'elle s'en allait sans être sa femme; elle lui disait encore que c'était lui qui avait voulu cela... A son agonie, dans cette lutte rude que sa nature sanguine livrait à la mort, elle pleurait.... Mais lui ne pouvait croire qu'elle allait mourir. Il disait: «Non, tu vas voir, ça n'est rien... Ne parle pas, si tu souffres... Attends, je vais te soulever la tête; puis je te réchaufferai, tu as les mains glacées». La fusillade reprenait, à gauche, dans les champs d'oliviers. Des galops sourds de cavalerie montaient de la plaine des Nores. Et, par instants, il y avait de grands cris d'hommes qu'on égorge. Des fumées épaisses arrivaient, traînaient sous les ormes de l'esplanade. Mais Silvère n'entendait plus, ne voyait plus. Pascal, qui descendait en courant vers la plaine, l'aperçut, vautré à terre, et s'approcha, le croyant blessé. Dès que le jeune homme l'eut reconnu, il se cramponna à lui. Il lui montrait Miette. «Voyez donc, disait-il, elle est blessée, là, sous le sein... Ah! que vous êtes bon d'être venu vous la sauverez»... A ce moment, la mourante eut une légère convulsion. Une ombre douloureuse passa sur son visage, et, de ses lèvres serrées qui s'ouvrirent, sortit un petit souffle. Ses yeux, tout grands ouverts, restèrent fixés sur le jeune homme. Pascal, qui s'était penché, se releva en disant à demi-voix: «Elle est morte». Morte! ce mot fit chanceler Silvère. Il s'était remis à genoux; il tomba assis, comme renversé par le petit souffle de Miette. «Morte! morte! répéta-t-il, ce n'est pas vrai, elle me regarde... Vous voyez bien qu'elle me regarde». Et il saisit le médecin par son vêtement, le conjurant de ne pas s'en aller, lui affirmant qu'il se trompait, qu'elle n'était pas morte, qu'il la sauverait, s'il voulait. Pascal lutta doucement, disant de sa voix affectueuse: «Je ne puis rien, d'autres m'attendent... Laisse,

mon pauvre enfant; elle est bien morte, va». Il lâcha prise, il retomba, Morte! morte! encore ce mot, qui sonnait comme un glas dans sa tête vide! Quand il fut seul, il se traîna auprès du cadavre. Miette le regardait toujours... Il sentait ce corps inerte s'abandonner dans ses bras. Il fut pris d'épouvante; il s'accroupit, la face bouleversée, les bras pendants, et il resta là stupide, répétant: «Elle est morte, mais elle me regarde; elle ne ferme pas les yeux, elle me voit toujours.»

Cette idée l'emplit d'une grande douceur. Il ne bougea plus. Il échangea avec Miette un long regard, lisant encore, dans ces yeux que la mort rendait plus profonds, les derniers regrets de l'enfant... Cependant, la cavalerie sabrait toujours les fuyards, dans la plaine des Nores; les galops des chevaux, les cris des mourants, s'éloignaient, s'adoucissaient comme une musique lointaine, apportée par l'air limpide. Silvère ne savait plus qu'on se battait. Il ne vit pas son cousin, qui remontait la pente et qui traversait de nouveau le cours. En passant, Pascal ramassa la carabine de Macquart, que Silvère avait jetée; il la connaissait pour l'avoir vue pendue à la cheminée de tante Dide, il songeait à la sauver des mains des vainqueurs. Il était à peine entré dans l'hôtel de la Mule-Blanche, où l'on avait porté un grand nombre de blessés, qu'un flot d'insurgés, chassés, par la troupe comme une bande de bêtes, envahit l'esplanade. L'homme au sabre avait fui; c'étaient les derniers contingents des campagnes que l'on traquait. Il y eut là un effroyable massacre. Le colonel Masson et le préfet, M. de Blériot, pris de pitié, ordonnèrent vainement la retraite. Les soldats, furieux, continuaient à tirer dans le tas, à clouer les fuyards contre la muraille à coups de baïonnettes. Quand ils n'eurent plus d'ennemis devant eux, ils criblèrent de balles la façade de la Mule-Blanche. Les volets partaient en éclats; une fenêtre, laissée entr'ouverte, fut arrachée, avec un bruit retentissant de verre cassé. Des voix lamentables criaient à l'intérieur: «Les prisonniers! les prisonniers!» Mais la troupe n'entendait pas elle tirait toujours. On vit, à un moment, le commandant Sicardot, exaspéré, paraître sur le seuil, parler en agitant les bras. A côté de lui, le receveur particulier, M. Peirotte, montra sa taille mince, son visage effaré. Il y eut encore une décharge. Et M. Peirotte tomba par terre, le nez en avant, comme une masse. Silvère et Miette se regardaient. Le jeune homme était resté penché sur la morte, au

milieu de la fusillade et des hurlements d'agonie, sans même tourner la tête. Il sentit seulement des hommes autour de lui, et il fut pris d'un sentiment de pudeur: il ramena les plis du drapeau rouge sur Miette, sur sa gorge nue. Puis ils continuèrent à se regarder. Mais la lutte était finie. Le meurtre du receveur particulier avait assouvi les soldats. Des hommes couraient, battant tous les coins de l'esplanade, pour ne pas laisser échapper un seul insurgé. Un gendarme, qui aperçut Silvère sous les arbres, accourut; et voyant qu'il avait affaire à un enfant: «Que fais-tu là, galopin?» lui demanda-t-il. Silvère, les yeux sur les yeux de Miette, ne répondit pas. «Ah! le bandit, il a les mains noires de poudre! s'écria l'homme qui s'était baissé. Allons, debout, canaille! Ton compte est bon.» Et comme Silvère, souriant vaguement, ne bougeait pas, l'homme s'aperçut que le cadavre qui se trouvait là dans le drapeau, était un cadavre de femme: «Une belle fille, c'est dommage!» murmura-t-il... Puis il ajouta avec un rire de gendarme: «Allons, debout!...» Il tira violemment Silvère, il le mit debout, il l'emmena comme un chien qu'on traîne par une patte. Silvère se laissa traîner, sans une parole, avec une obéissance d'enfant. Il se retourna, il regarda Miette. Il était désespéré de la laisser toute seule, sous les arbres. Il la vit de loin, une dernière fois. Elle restait là, chaste, dans le drapeau rouge, la tête légèrement penchée, avec ses grands yeux qui regardaient en l'air.

(*La fortune des Rougon*).

58. Le Paradou.

Albine et Serge entrèrent dans le parterre. Elle le regardait avec une sollicitude inquiète, craignant qu'il ne se fatiguât. Mais lui, la rassura d'un légerrire. Il se sentait fort à la porter partout où elle voudrait aller. Quand il se retrouva en plein soleil, il eut un soupir de joie. Enfin, il vivait! il n'était plus cette plante soumise aux agonies de l'hiver. Aussi quelle reconnaissance attendrie! Il aurait voulu éviter aux petits pieds d'Albine la rudesse des allées; il rêvait de la pendre à son cou, comme une enfant que sa mère endort. Déjà, il la protégeait en gardien jaloux, écartait les pierres et les ronces, veillait à ce que le vent ne volât pas sur ses cheveux adorés des caresses qui n'appartenaient qu'à lui. Elle s'était blottie contre son épaule, elle s'abandonnait pleine de sérénité.

Ce fut ainsi qu'Albine et Serge marchèrent dans le soleil, pour la première fois. Le couple laissait une bonne odeur derrière lui. Il donnait un frisson au sentier, tandis que le soleil déroulait un tapis d'or sous ses pas. Il avançait, pareil à un ravissement, entre les grands buissons fleuris, si désirable que les allées écartées, au loin, l'appelaient, le saluaient d'un murmure d'admiration, comme les foules saluent les rois longtemps attendus. Ce n'était qu'un être, souverainement beau. La peau blanche d'Albine n'était que la blancheur de la peau brune de Serge. Ils passaient lentement, vêtus de soleil; ils étaient le soleil lui-même. Les fleurs, penchées, les adoraient.

Dans le parterre, ce fut alors une longue émotion. Le vieux parterre leur faisait escorte. Vaste champ poussant à l'abandon depuis un siècle, coin de paradis où le vent semait les fleurs les plus rares. L'heureuse paix du Paradou, dormant au grand soleil, empêchait la dégénérescence des espèces. Il y avait là une température égale, une terre que chaque plante avait longuement engraissée pour y vivre dans le silence de sa force. La végétation y était énorme, superbe, puissamment inculte, pleine de hasards qui étalaient des floraisons monstrueuses, inconnues à la bêche et aux arrosoirs des jardiniers. Laissée à elle-même, libre de grandir sans honte, au fond de cette solitude que des abris naturels protégeaient, la nature s'abandonnait davantage à chaque printemps, prenait des ébats formidables, s'égayait à s'offrir en toutes saisons des bouquets étranges, qu'aucune main ne devait cueillir. Et elle semblait mettre une rage à bouleverser ce que l'effort de l'homme avait fait; elle se révoltait, lançait des débandades de fleurs au milieu des allées, attaquait les rocailles du flot montant de ses mousses, nouait au cou les marbres qu'elle abattait à l'aide de la corde flexible de ses plantes grimpantes; elle cassait les dalles des bassins, des escaliers, des terrasses, en y enfonçant des arbustes; elle rampait jusqu'à ce qu'elle possédât les moindres endroits cultivés, les pétrissait à sa guise, y plantait comme drapeau de rébellion quelque graine ramassée en chemin, une verdure humble dont elle faisait une gigantesque verdure. Autrefois, le parterre, entretenu pour un maître qui avait la passion des fleurs, montrait en plates-bandes, en bordures soignées, un merveilleux choix de plantes. Aujourd'hui, on retrouvait les

mêmes plantes, mais perpétuées, élargies en familles si innombrables, courant une telle pretentaine aux quatre coins du jardin, que le jardin n'était plus qu'un tapage, une école buissonnière battant les murs, un lieu suspect où la nature ivre avait des hoquets de verveine et d'œillet.

C'était Albine qui conduisait Serge, bien qu'elle parût se livrer à lui, faible, soutenue à son épaule. Elle le mena d'abord à la grotte. Au fond d'un bouquet de peupliers et de saules, une rocaille se creusait, effondrée, des blocs de rochers tombés dans une vasque, des filets d'eau coulant à travers les pierres. La grotte disparaissait sous l'assaut des feuillages. En bas, des rangées de roses trémières semblaient barrer l'entrée d'une grille des fleurs rouges, jaunes, mauves, blanches, dont les bâtons se noyaient dans des orties colossales, d'un vert de bronze, suant tranquillement les brûlures de leur poison. Puis, c'était un élan prodigieux, grimpant en quelques bonds: les jasmins, étoilés de leurs fleurs suaves; les glycines, aux feuilles de dentelle tendre; les lierres épais, découpés comme de la tôle vernie; les chèvrefeuilles souples, criblés de leurs brins de corail pâle; les clématites amoureuses, allongeant les bras, pomponnées d'aigrettes blanches. Et d'autres plantes, plus frêles, s'enlaçaient encore à celles-ci, les liaient davantage, les tissaient d'une trame odorante. Des capucines, aux chairs verdâtres et nues, ouvraient des bouches d'or rouge. Des haricots d'Espagne, forts comme des ficelles minces, allumaient de place en place l'incendie de leurs étincelles vives. Des volubilis élargissaient le cœur découpé de leurs feuilles, sonnaient de leurs milliers de clochettes un silencieux carillon de couleurs exquises. Des pois de senteur, pareils à des vols de papillons posés, repliaient leurs ailes fauves, leurs ailes roses, prêts à ce laisser emporter plus loin par le premier souffle de vent. Chevelure immense de verdure, piquée d'une pluie de fleurs, dont les mèches débordaient de toutes parts, s'échappaient en un échevèlement fou... dans un ruissellement de crins superbes, étalés comme une mare de parfums.

«Jamais je n'ai osé entrer dans tout ce noir», dit Albine à l'oreille de Serge.

(La faute de l'abbé Mouret).

59. Après le conseil des ministres.

Le conseil était terminé. Les ministres repoussèrent leurs fauteuils se mirent debout, saluant l'empereur qui se retirait à petits pas. Mais Sa Majesté se retourna, en murmurant: «Monsieur Rougon, un mot, je vous prie». Alors, pendant que le souverain attirait Rougon dans l'embrasure d'une fenêtre, Leurs Excellences, à l'autre bout de la pièce, s'empressèrent autour de Delestang. Elles le félicitaient discrètement, avec des clignements d'yeux, des sourires fins, tout un murmure étouffé d'approbation élogieuse. Le ministre d'État, un homme d'un esprit très délié et d'une grande expérience, se montra particulièrement plat; il avait pour principe que l'amitié des imbéciles porte bonheur. Delestang, modeste, grave, s'inclinait à chaque compliment. «Non, venez», dit l'empereur à Rougon. Et il se décida à le mener dans son cabinet, une pièce assez étroite, encombrée de journaux et de livres jetés sur les meubles. Là, il alluma une cigarette, puis il montra à Rougon le modèle réduit d'un nouveau canon, inventé par un officier; le petit canon ressemblait à un jouet d'enfant. Il affectait un ton très bienveillant, il paraissait chercher à prouver au ministre qu'il lui continuait toute sa faveur. Cependant, Rougon flairait une explication. Il voulut parler le premier. «Sire, dit-il, je sais avec quelle violence je suis attaqué auprès de Votre Majesté». L'empereur sourit sans répondre. La cour, en effet, s'était de nouveau mise contre lui. On l'accusait maintenant d'abuser du pouvoir, de compromettre l'empire par ses brutalités. Les histoires les plus extraordinaires couraient sur son compte, les corridors du palais étaient pleins d'anecdotes et de plaintes, dont les échos, chaque matin, arrivaient dans le cabinet impérial. «Asseyez-vous, monsieur Rougon, asseyez-vous», dit enfin l'empereur avec bonhomie. Puis, s'asseyant lui-même, il continua: On me bat les oreilles d'une foule d'affaires. J'aime mieux en causer avec vous... Qu'est-ce donc que ce notaire qui est mort à Niort, à la suite d'une arestation? Un M. Martineau, je crois»? Rougon donna tranquillement des détails. Ce Martineau était un homme très compromis, un républicain dont l'influence dans le département pouvait offrir de grands dangers. On l'avait arrêté. Il était mort.

«Oui, justement, il est mort, c'est cela qui est fâcheux, reprit le souverain. Les journaux hostiles se sont emparés de l'événement, ils

le racontent d'une façon mystérieuse, avec des réticences d'un effet déplorable... Je suis très chagrin de tout cela, monsieur Rougon». Il n'insista pas. Il resta quelques secondes, la cigarette collée aux lèvres. «Vous êtes allé dernièrement dans les Deux-Sèvres, continua-t-il, vous avez assisté à une solennité... Êtes-vous bien sûr de la solidité financière de M. Kahn? — Oh! absolument sûr!» s'écria Rougon. Et il entra dans de nouvelles explications. M. Kahn s'appuyait sur une société anglaise fort riche; les actions du chemin de fer de Niort à Angers faisaient prime à la Bourse; c'était la plus belle opération qu'on pût imaginer — L'empereur paraissait incrédule. «On a exprimé devant moi des craintes, murmura-t-il. Vous comprenez combien il serait malheureux que votre nom fût mêlé à une catastrophe... Enfin, puisque vous m'affirmez le contraire»... Il abandonna ce second sujet pour passer à un troisième. «C'est comme le préfet des Deux-Sèvres, on est très mécontent de lui, m'a-t-on assuré. Il aurait tout bouleversé, là-bas. Il serait en outre le fils d'un ancien huissier dont les allures bizarres font causer le département... M. Du Poizat est votre ami, je crois? — Un de mes bons amis, sire». Et, l'empereur s'étant levé, Rougon se leva également. Le premier marcha jusqu'à une fenêtre, puis revint en soufflant de légers filets de fumée. «Vous avez beaucoup d'amis», monsieur Rougon, dit-il d'un air fin». — «Oui, sire, beaucoup»! répondit carrément le ministre.

Jusque-là, l'empereur avait évidemment répété les commérages du château, les accusations portées par les personnes de son entourage. Mais il devait savoir d'autres histoires, des faits ignorés de la cour, dont ses agents particuliers l'avaient informé, et auxquels il accordait un intérêt bien plus vif; il adorait l'espionnage, tout le travail souterrain de la police. Pendant un instant, il regarda Rougon, la face vaguement souriante; puis, d'une voix confidentielle, en homme qui s'amuse: «Oh! je suis renseigné, plus que je ne le voudrais... Tenez, un autre petit fait. Vous avez accepté dans vos bureaux un jeune homme, le fils d'un colonel, bien qu'il n'ait pu présenter le diplôme de bachelier. Cela n'a pas d'importance, je le sais. Mais si vous vous doutiez du tapage que ces choses soulèvent!... On fâche tout le monde avec ces bêtises. C'est de la bien mauvaise politique». Rougon ne répondit rien. Sa Majesté n'avait pas fini. Elle ouvrait les lèvres, cherchait une

phrase; mais ce qu'elle avait à dire paraissait la gêner, car elle hésita un instant à descendre jusque-là. Elle balbutia enfin: «Je ne vous parlerai pas de cet huissier, un de vos protégés, un nommé Merle, n'est-ce pas? Il se grise, il est insolent, le public et les employés s'en plaignent... Tout cela est très fâcheux, très fâcheux». Puis, haussant la voix, concluant brusquement: «Vous avez trop d'amis, monsieur Rougon. Tous ces gens vous font du tort. Ce serait vous rendre un service que de vous fâcher avec eux... Voyons, accordez-moi la destitution de M. Du Poizat et promettez-moi d'abandonner les autres». Rougon était resté impassible. Il s'inclina, il dit d'un accent profond: «Sire, je demande au contraire à Votre Majesté le ruban d'officier pour le préfet des Deux-Sèvres... J'ai également plusieurs faveurs à solliciter»...

Il tira un agenda de sa poche, il continua:

«M. Béjuin supplie en grâce Votre Majesté de visiter sa cristallerie de Saint-Florent, lorsqu'elle ira à Bourges... Le colonel Jobelin désire une situation dans les palais impériaux... L'huissier Merle rappelle qu'il a obtenu la médaille militaire et souhaite un bureau de tabac pour une de ses sœurs... — Est-ce tout? demanda l'empereur qui s'était remis à sourire. Vous êtes un patron héroïque. Vos amis doivent vous adorer. — «Non, sire, ils ne m'adorent pas, ils me soutiennent», dit Rougon avec sa rude franchise. Le mot parut frapper beaucoup le souverain. Rougon venait de livrer tout le secret de sa fidélité; le jour où il aurait laissé dormir son crédit, son crédit serait mort; et, malgré le scandale, malgré le mécontentement et la trahison de sa bande, il n'avait qu'elle, il ne pouvait s'appuyer que sur elle, il se trouvait condamné à l'entretenir en santé, s'il voulait se bien porter lui-même. Plus il obtenait pour ses amis, plus les faveurs semblaient énormes et peu méritées, et plus il était fort. Il ajouta respectueusement, avec une intention marquée: «Je souhaite de tout mon cœur que Votre Majesté, pour la grandeur de son règne, garde longtemps autour d'elle les serviteurs dévoués qui l'ont aidée à restaurer l'empire». L'empereur ne souriait plus. Il fit quelques pas, les yeux voilés, songeur; et il semblait avoir blêmi, effleuré d'un frisson. Dans cette nature mystique, les pressentiments s'imposaient avec une force extrême. Il coupa court à la conversation pour ne pas conclure, remettant à plus tard l'accomplissement de sa volonté. De nouveau, il se montra très affectueux. Même, revenant sur la discussion

qui avait eu lieu dans le conseil, il parut donner raison à Rougon, maintenant qu'il pouvait parler sans trop s'engager. Le pays n'était certainement pas mûr pour la liberté. Longtemps encore, une main énergique devait imprimer aux affaires une marche résolue, exempte de faiblesse. Et il termina en renouvelant au ministre l'assurance de son entière confiance; il lui donnait une pleine liberté d'agir, il confirmait toutes ses instructions précédentes. Cependant, Rougon crut devoir insister. «Sire, dit-il, je ne saurais être à la merci d'un propos malveillant, j'ai besoin de stabilité pour achever la lourde tâche dont je me trouve aujourd'hui responsable». — «Monsieur Rougon, répondit l'empereur, marchez sans crainte, je suis avec vous». Et, rompant l'entretien, il se dirigea vers la porte du cabinet, suivi du ministre. Ils sortirent, ils traversèrent plusieurs pièces, pour gagner la salle à manger. Mais, au moment d'entrer, le souverain se retourna, emmena Rougon dans le coin d'une galerie. «Alors, demanda-t-il à demi-voix, vous n'approuvez pas le système d'anoblissement proposé par M. le garde des sceaux? J'aurais vivement désiré vous voir favorable à ce projet. Étudiez la question». Puis, sans attendre la réponse, il ajouta de son air tranquillement entêté: «Rien ne presse. J'attendrai. Dans dix ans, s'il le faut».

(Son Excellence Eugène Rougon).

PAUL BOURGET.

60. Angoisse.

Avec son intelligence aiguë, avec son imagination rare, avec tous les outils de supériorité que la fortune lui avait mis aux mains, quelle besogne accomplissait-il depuis sa jeunesse? Et tout cela pour finir par l'assassinat moral d'une femme qui avait cru en lui!... Le poids augmentait de lourdeur alors, et il se débattait de nouveau. «La vie et la mort de l'âme! Des mots! des mots!.. Une légère altération cérébrale, et l'âme est changée... Au microscope, on découvrirait la petite disposition de cellules qui veut que je n'aie jamais aimé... Mais pourquoi, ajoutait-il, cette âme vit-elle par certaines idées et meurt-elle par d'autres? Pourquoi? Je n'en sais rien, il y a tant d'autres choses que je ne sais pas. Je parle du cerveau. Qu'est-ce que le cerveau? C'est de la matière. Et qu'est-ce que la matière?.. On ne connaît rien, on ne comprend rien. A quoi bon demander: Pourquoi ceci, et pourquoi cela? Il n'y a qu'une seule question: Pourquoi tout? Et la seule chose que nous sachions véritablement, c'est que nous ne saurons jamais la réponse à cette question-là»... Il apercevait le gouffre de mystère, l'abîme d'inconnaissable que la science constate à la base de toute pensée et de toute existence. Par-dessous le problème de sa destinée particulière, il touchait au problème de toute destinée, et sa douleur morale était si intense qu'il éprouvait la tentation d'interpréter dans un sens consolateur ce mystère où il se sentait noyé. Pourquoi le mot de cette énigme de la vie, indéchiffrable par la raison, de l'aveu même de cette raison, ne serait-il pas un mot sauveur, un mot qui réparerait l'universelle détresse d'ici-bas, qui rendrait la vie aux âmes mortes, comme son âme, la paix profonde aux consciences bourrelées, comme sa conscience? Pourquoi n'y aurait-il pas un cœur pareil à notre cœur et capable de nous plaindre au centre de cette nature, qui nous a produits cependant, nous, avec notre façon amère ou tendre de sentir, nous, avec notre appétit d'idéal et nos défaillances, avec notre grandeur et notre bassesse?.. «Mais alors, songeait-il; Dieu existerait!... Je pourrais me jeter à genoux à cette heure où je souffre, et dire: «Notre Père qui êtes aux cieux... Notre Père!..» Quand le jeune homme en arrivait à ce point de son raisonnement, les larmes lui montaient aux yeux. Lui qui n'avait connu ni son père ni sa mère, cette seule phrase de la sublime oraison lui causait une émotion inexprimable... Puis il se raidissait aussitôt. Des idées lui venaient, plus fortes que cette mystique effusion. Il discutait contre son cœur avec son esprit, et son esprit l'emportait toujours. Les objections contre Dieu, tirées de l'existence du mal, prenaient corps devant lui. Comment concilier une bonté de père avec cette loi de reversibilité qui veut que les fautes des uns retombent sans cesse sur les autres? Entre Hélène et lui, lequel était coupable? Lui... Lequel des deux avait commis un crime d'amour? Lui, en séduisant cette femme sans l'aimer, uniquement pour satisfaire un caprice d'orgueil, d'ennui et de sensualité... Qui était puni? Hélène. Entre cette dernière et Alfred, qui était coupable? Hélène. Qui souffrait? Alfred. Ainsi le péché de chacun, s'il y a péché, porte son fruit empoisonné dans l'âme d'un autre, et la même solidarité gouverne tous

les rapports des hommes entre eux. Les fils expient pour les pères, les justes pour les méchants, les innocents pour les coupables! Ah! comment croire, en présence de cette transmission ininterrompue de misères, à l'existence d'un principe de justice et de bonté dans cet obscur au delà des jours. «Non, se disait Armand, de même que les fautes sont produites par les nécessités combinées des circonstances et des tempéraments, les conséquences des actes sont distribuées au hasard, — du moins ici-bas»... L'effusion mystique reprenait alors: «Ici-bas? Y aurait-il donc un autre monde dont celui-ci ne serait que la figure ou la préparation? Mais comment aucun lieu entre celui-ci et l'autre? Comment aucun secours aux heures de détresse? Ah! s'il était un père céleste, toute souffrance ne serait-elle pas pour lui une prière?... A travers le tumulte de tant d'idées contradictoires, cet homme malheureux apercevait le grand, l'unique problème de la vie humaine, et que la religion seule résout, celui de savoir s'il y a par delà nos jours bornés, nos sensations courtes, nos actions passagères, quelque chose qui ne passe pas et qui puisse contenter notre faim et notre soif d'infini. Armand devait peut-être redevenir religieux un jour; à l'heure présente il ne l'était pas, et il se répondait à lui-même: «S'il n'y a rien, pourquoi ces affreux remords? S'il y a quelque chose, pourquoi ne puis-je ni le concevoir avec mon esprit, ni le ressentir avec mon cœur? Comment finir cette intolérable angoisse? Comment soulever ce poids dont j'étouffe?»...

(*Un Crime d'Amour*).

61. Prêtre et sceptique.

Les premières minutes durant lesquelles les deux hommes marchèrent ensemble furent silencieuses. L'abbé Taconet en avait toujours imposé à Larcher par un de ces caractères irréprochables qui contrastent trop avec la bassesse des mœurs courante pour que leur seule existence ne constitue pas un blâme constant au regard d'un enfant du siècle, comme était l'écrivain, perdu de vices et affamé d'idéal. Encore maintenant et tandis que l'abbé allait auprès de lui de son pas un peu lourd, il le regardait, en songeant aux abîmes moraux qui le séparaient de ce prêtre. Le directeur de l'école Saint-André était un homme grand et fort, de cinquante ans environ. A première vue, rien,

dans sa robuste corpulence, n'annonçait l'ascétisme de sa vie. La grosseur de ses joues et la coloration de son teint lui auraient même donné un air poupin, si le pli sérieux de sa bouche et surtout la beauté de son regard n'eussent corrigé cette première apparence. La sorte d'imagination propre aux artistes, qui, élaborée par l'hérédité, avait produit la mélancolie morbide de la mère de René, le talent du poète et son attrait pour toutes les choses brillantes, comme la tendresse désordonnée d'Émilie à l'égard de son frère; cette imagination qui empêche l'esprit de s'arrêter au fait présent et positif, mais qui teinte sans cesse les objets de couleurs trop brillantes ou trop sombres; cette dangereuse, cette toute puissante faculté allumait aussi ses éclairs dans les yeux bleus du prêtre. Seulement la discipline catholique en avait corrigé l'excès, comme la foi profonde en avait sanctifié l'emploi. Il y avait une sérénité dans cet ardent regard, celle de l'homme qui s'est endormi chaque soir et réveillé chaque matin, durant des années, sur une idée de dévouement. Cette idée à laquelle la conversation avec l'abbé Taconet revenait toujours, Claude en connaissait la formule si précise et si définie: reconstituer l'âme française par le Christianisme. Telle était, d'après ce robuste ouvrier de la vie morale la tâche réservée dans notre époque à tous les hommes de bonne volonté. Claude n'ignorait pas non plus quelles espérances ce prêtre, vraiment supérieur, avait placées sur son neveu. Que de fois il l'avait entendu qui disait: «La France a besoin de talents chrétiens!...» Aussi le regardait-il avec une curiosité singulière, étudiant sur ce visage si calme d'habitude un passage d'anxiété, — il aurait presque voulu de doute. Ils marchaient sur le trottoir de la rue d'Assas, et ils allaient franchir la rue de Rennes, quand l'abbé s'arrêta pour interroger son compagnon.

— «Ma nièce m'a dit que vous connaissiez cette femme qui a poussé mon neveu à cet acte de désespoir. Dieu n'a pas permis que ce pauvre enfant disparût ainsi. Le corps guérira, mais il ne faut pas que l'esprit retombe... Qui est-elle?» — «Ce que sont toutes les femmes,» répondit l'écrivain qui ne put résister au plaisir d'étaler devant le prêtre sa prétendue connaissance du cœur humain. — «Si vous aviez confessé, vous ne diriez pas toutes les femmes,» interrompit le prêtre. «Vous ne savez pas ce que c'est que la Chrétienne et jusqu'où elle peut aller dans le sacrifice...»

— «Ce que sont presque toutes les femmes, soit,» reprit Claude avec une nuance d'ironie, et il commença de raconter ce qu'il savait de l'histoire de René, puis il esquissa de Suzanne un portrait assez exact, à grand renfort d'expressions psychologiques, parlant de la multiplicité de sa personne, d'une condition première de son moi et d'une condition seconde: «Il y a en elle,» disait-il, «une femme qui veut jouir du luxe, et elle garde un amant qui la paie; il y a une femme qui veut jouir de l'amour, et elle a pris un amant tout jeune; une femme assoiffée de considération, et elle vit avec un mari qu'elle ménage. Et l'amant d'argent, l'amant d'amour, le mari de décor, je parierais qu'elle les aime tous les trois, — d'une manière différente. Certaines natures sont ainsi, comme ces boîtes chinoises qui en contiennent six ou sept autres... C'est un animal très compliqué!...»

— «Compliqué?» fit l'abbé en hochant la tête. Je sais: vous avez de ces mots, pour n'en pas prononcer d'autres bien simples. C'est tout simplement une malheureuse qui vit à la merci de ses sensations... Tout cela, c'est de grandes saletés.» Son noble visage exprima un dégoût profond, tandis qu'il prononçait cette phrase brutale. Il était visible que l'idée des choses de la chair lui causait l'espèce de répugnance irritée qu'elle donne aux prêtres qui ont dû lutter contre l'énergie d'un tempérament fait pour l'amour. Ce dégoût céda aussitôt la place à une tristesse profonde et l'abbé continua: «Ce qui m'épouvante pour René, ce n'est pas cette femme. D'après ce que vous m'en dites, son caprice assouvi, elle l'aurait laissé. Malade, elle n'y pensera plus. C'est l'état moral dont cette aventure témoigne chez ce pauvre garçon... Avoir vingt-cinq ans, avoir été élevé comme il l'a été, se sentir si nécessaire à la meilleure des sœurs, posséder en soi ce don incomparable que l'on appelle le talent, et qui peut, mis au service de convictions fortes, produire de grandes choses, l'avoir reçu, ce don divin, à un moment tragique de l'histoire de son pays, savoir que demain ce pays peut sombrer à jamais dans une tempête nouvelle, oui, savoir que son salut, c'est notre œuvre à tous, à vous, à lui, à moi, à ces passants...» Il montrait devant eux quelques gens sur le trottoir, «et que tout cela ne pèse pas dans la balance contre le chagrin d'être trompé pas une coquine! Mais...» et il insista, comme si son discours s'adressait à Claude autant qu'au blessé qu'il venait de quitter «qu'espérez-vous donc rencontrer dans cette redoutable région des sens où vous vous engagez, sous prétexte d'aimer, sinon le péché avec son infinie tristesse?... Vous parlez de complication. Elle est bien simple la vie humaine. Elle tient tout entière dans les dix commandements de Dieu. Trouvez-moi un cas, je dis un seul, auquel ils n'aient pas répondu d'avance?... Y a-t-il donc un aveuglement sur les hommes de cet âge, qu'un enfant, que j'ai connu si pur, en soit arrivé là en si peu de temps, pour avoir seulement respiré la vapeur du siècle?... Ah! monsieur,» ajouta-t-il avec l'accent déchirant d'un père trahi par son fils, «j'étais si fier de lui! J'en espérais tant!...»

— «Vous en parlez comme s'il était mort,» interrompit Claude, qui se sentait tout ensemble attendri et irrité à l'égard de son interlocuteur. D'une part, il le plaignait de sa visible souffrance, de l'autre, il ne pouvait supporter les idées que venait d'énoncer le prêtre, quoiqu'elles fussent aussi les siennes dans ses crises de remords. Comme beaucoup de sceptiques de nos jours, il soupirait sans cesse vers la simplicité de la foi, seul principe de la suite dans le vouloir, et sans cesse le goût des complexités intellectuelles ou sentimentales lui montrait dans une foi, quelle qu'elle fût, une mutilation, il n'osait ajouter: une bêtise. Il éprouva subitement le besoin irrésistible de contredire l'abbé Taconet et de défendre ce René sur lequel, en arrivant rue Coëtlogon, il se lamentait lui-même: «Et pensez-vous,» continua-t-il, «que cet enfant ne sortira pas de cette épreuve plus fort, plus capable d'exercer et de développer ce talent d'écrire auquel vous croyez, vous, du moins, monsieur l'abbé?... Ah! écrire, si ce n'était que découvrir des idées en chambre, comme un géomètre devant son tableau noir, pour les énoncer, là, posément, tranquillement, en termes bien choisis, bien nets, mais le premier venu pourrait s'établir écrivain, comme on s'établit ingénieur ou notaire. Il n'y faudrait que de la patience, de la méthode et du loisir!... Écrire, c'est bien autre chose...» Et, s'exaltant à mesure qu'il parlait: «c'est vivre d'abord, et avoir de la vie un goût à soi, une saveur unique, une sensation, là, dans la gorge... C'est se transformer soi-même en champ d'expériences, en sujet auquel inoculer la passion. Ce que Claude Bernard faisait avec ses chiens, ce que Pasteur fait avec ses lapins, nous devons le faire, nous, avec notre cœur, et lui injecter tous les virus de l'âme humaine. Nous devons avoir éprouvé, ne fût-ce

qu'une heure, les mille émotions dont peut vibrer l'homme, notre semblable, — et tout cela pour qu'un inconnu, dans dix ans, dans cent ans, dans deux cents, lise de nous un livre, un chapitre, une phrase peut-être, qu'il s'arrête et qu'il dise: Voilà qui est vrai, et qu'il reconnaisse le mal dont il souffre... Oui, c'est un jeu terrible que celui-là, et l'on court le risque d'y rester. Avec cela que le médecin qui dissèque ne court pas le risque de se couper avec son scalpel, et, quand il visite un hôpital de cholériques, de tomber foudroyé... C'est vrai, René a failli disparaître, mais quand il écrira sur l'amour maintenant, sur la jalousie, sur la trahison de la femme, il y aura un peu de son sang sur ses phrases, du sang rouge et qui a battu dans une artère, et non pas de l'encre prise dans l'encrier des autres. Et voilà une belle page de plus à joindre au patrimoine littéraire de cette France que vous nous accusez d'oublier. Nous la servons à notre manière. Ce n'est pas la vôtre, mais elle a sa grandeur. Savez-vous que c'est un martyre aussi que de souffrir ce qu'il faut souffrir pour s'arracher des entrailles *Adolphe* ou *Manon?...*»

«*Beati pauperes spiritu...*» répondit le prêtre, «je crois bien avoir entendu soutenir quelque chose d'approchant à l'École normale, il y a quelque trente ans, quand je me promenais dans le préau avec des camarades qui ont fait du bruit dans le monde. Ils avaient moins de métaphores et plus d'abstraction que vous, ils appelaient cela l'antinomie de l'art et de la morale... Les mots sont des mots, et les faits sont des faits... Puisque vous parlez de science, que diriez-vous d'un médecin qui, sous le prétexte d'étudier sur lui-même une maladie contagieuse, se la donnerait et avec lui à toute une ville? Ces grands écrivains que vous enviez, songez-vous quelquefois à la tragique responsabilité qu'ils ont prise en propageant leur misère intime? Je n'ai pas lu ces deux romans que vous avez nommés, mais le *Werther* de Gœthe, mais le *Rolla* de Musset, je me les rappelle. Croyez-vous que dans le coup de pistolet que vient de se tirer René, il n'y ait pas un peu de l'influence de ces deux apologies du suicide? Savez-vous que c'est une chose effrayante de penser que Gœthe est mort, que Musset est mort, et que leur œuvre peut encore mettre une arme à la main d'un enfant qui souffre?... Non! les maladies de l'âme veulent qu'on ne les touche que pour les soulager, et cette espèce de dilettantisme de la misère humaine, sans pitié, sans bienfaisance, que je connais bien, me fait horreur... Croyez-moi,» conclut-il en montrant à l'écrivain la croix dressée au-dessus de la porte de l'église du couvent des Carmes, «personne n'en dira plus que celui-là sur la souffrance et sur les passions, et vous ne trouverez pas le remède ailleurs.»

— «Il trompe comme le reste,» dit Claude, que la certitude du prêtre achevait d'irriter: «c'est en son nom que vous avez élevé René et vous avouez vous-même que votre espérance a été déçue.»

— «Les voies de Dieu sont impénétrables,» répondit l'abbé Taconet, dans le regard duquel passa un muet reproche qui fit rougir Claude. Il avait cédé à un vilain mouvement, dont il eut honte, en cherchant à toucher l'oncle de René à une place douloureuse, parce que la discussion tournait contre lui. Les deux hommes dépassèrent sans parler le coin de la rue de Vaugirard et de la rue Cassette, et ils arrivèrent devant la porte de l'école Saint-André au moment où une division d'enfants y rentrait, venant du lycée. C'étaient des garçons de quinze à seize ans, au nombre de quarante environ, tous bien tenus, tous l'air heureux, avec cette physionomie franche et pure de l'adolescence que de précoces désordres ne flétrissent pas. Leur salut, lorsqu'ils passèrent devant le directeur, trahissait une telle déférence, une telle affection personnelle, que l'influence profonde de ce rare éducateur aurait été reconnaissable à ce seul signe; mais Claude savait, par expérience, avec quelle minutie l'abbé Taconet s'acquittait de sa noble tâche; il savait que tous ces enfants étaient suivis, par ses yeux vigilants et doux, de journées, en journées, presque d'heure en heure, et, prenant la main du prêtre avec une soudaine émotion, il lui dit:

— «Vous êtes un juste, monsieur l'abbé, c'est encore là le plus beau talent et le plus sûr!...»

(*Mensonges*).

62. Psychologue criminel.

Toute l'aventure de Robert Greslou lui montrait dans ses livres les complices d'un hideux orgueil et d'une abjecte sensualité, lui qui n'avait jamais travaillé que pour servir la psychologie, en modeste ouvrier d'un travail qu'il croyait bienfaisant, et dans l'ascétisme le plus

sévère, afin que jamais les ennemis de ses doctrines ne pussent arguer de son exemple contre ses principes. Cette impression fut d'autant plus violente qu'elle fut plus subite. Un médecin de grand cœur éprouverait une angoisse d'un ordre analogue si, ayant établi la théorie d'un remède, il apprenait qu'un de ses internes en a essayé l'application et que toute une salle d'hôpital est à l'agonie. Avoir fait le mal le sachant et le voulant, c'est très amer pour un homme qui vaut mieux que ses actes. Mais avoir dévoué trente années à une œuvre, avoir cru cette œuvre utile, l'avoir poursuivie sincèrement, simplement, avoir repoussé, comme injurieuses les accusations d'immoralité lancées par des adversaires passionnés, s'être tendu à ne jamais douter de son esprit et, tout d'un coup, à la lumière d'une révélation foudroyante, tenir une preuve indiscutable, une preuve réelle comme la vie elle-même, que cette œuvre a empoisonné une âme, qu'elle portait en elle un principe de mort, qu'elle répand à l'heure présente ce principe dans tous les coins du monde, — ah! la cruelle secousse à recevoir, et la cruelle blessure, quand la secousse ne devrait durer qu'une heure et la blessure se fermer aussitôt!

Tous les penseurs révolutionnaires ont connu de ces heures d'angoisse. Mais la plupart les traversent vite. Voici pourquoi. Il est rare qu'un homme soit lancé dans la bataille des idées sans bien vite devenir le comédien de ses premières sincérités. On soutient son rôle. On a des partisans, et surtout on arrive bientôt, par le frottement avec la vie, à cette conception de l'à peu près qui vous fait admettre comme inévitable un certain déchet de votre Idéal. On se dit que l'on fait du mal ici, du bien ailleurs, et quelquefois qu'au demeurant le monde et les gens iront toujours de même. Chez Adrien Sixte, la sincérité était trop entière pour qu'un pareil raisonnement fût possible. Il n'avait, lui, ni rôle à jouer ni fidèles à ménager. Il était seul. Sa philosophie et lui ne formaient qu'un, et les compromis dont s'accompagne toute grande renommée n'avaient rien entamé dans sa belle âme farouche et fière de savant. Il faut ajouter qu'il avait trouvé le moyen, grâce à sa parfaite bonne foi, de traverser la société sans jamais la voir. Les passions qu'il avait dépeintes, les crimes qu'il avait étudiés, il les voyait comme ces personnages que désignent les observations médicales. «A..., 35 ans..., telle profession..., célibataire...» Et l'exposition du cas

se développe, sans un détail qui donne au lecteur la sensation de l'individuel. Pour tout dire, jamais le théoricien rigoureux des passions, l'anatomiste minutieux de la volonté, n'avait vu bien en face une créature de chair et d'os; en sorte que le mémoire de Robert Greslou ne se trouvait pas seulement parler à sa conscience d'honnête homme. Il devait mordre et il mordait sur l'imagination du philosophe à la manière dont la clarté du soleil mord sur la pupille d'un malade opéré soudain de la cataracte. Aussi, pendant les huit jours qui suivirent cette première lecture, ce fut comme une obsession continuelle, et cette obsession augmenta la douleur morale en la doublant d'une sorte de malaise physique. Ce cerveau de manieur d'abstractions subissait l'étreinte obsédante d'un cauchemar précis et concret. Le physiologue le voyait, son funeste disciple, tel qu'il l'avait vu là, dans cette même chambre, posant les pieds sur ce même tapis, appuyant son bras sur cette même table, respirant, bougeant. Derrière les mots écrits sur le papier, il entendait cette voix un peu sourde qui lui prononçait la terrible phrase: «J'ai vécu avec votre pensée et de votre pensée, si passionnément, si complètement...» Et les mots de la confession, au lieu de rester de simples caractères, écrits avec l'encre froide sur l'inerte papier, s'animaient ainsi en paroles derrière lesquelles il sentait vivre un être. «Ah!» songeait-il quand cette image était trop forte, «pourquoi la mère m'a-t-elle apporté ce cahier?» Il était si naturel que la malheureuse femme, en proie à sa folle anxiété de prouver l'innocence de son fils, eût violé ce depôt. Mais non, Robert l'avait sans doute trompée avec cette hypocrisie dont il se vantait, le misérable, comme d'une conquête psychologique... Cela seul, cette hantise hallucinante du visage du jeune homme, suffisait à bouleverser Adrien Sixte. Quand cette mère lui avait crié: «Vous avez corrompu mon fils...», car elle le lui avait crié, sa sérénité de savant avait à peine été touchée. Pareillement il n'avait opposé que le mépris aux accusations du vieux Jussat, répétées par le juge, et à la phrase de ce dernier sur la responsabilité morale. Comme il était sorti tranquille, intéressé même et presque allègre, du Palais de Justice! Et maintenant ce mépris, il ne le retrouvait plus en lui; cette sérénité, elle était vaincue, et lui, le négateur de toute liberté, lui, le fataliste qui décomposait la vertu et le vice avec la brutalité d'un chimiste étudiant un gaz, lui, le prophète hardi de l'universel

mécanisme, et qui jusqu'alors avait toujours connu l'harmonie parfaite de son cœur et de son esprit, il souffrait d'une souffrance en contradiction avec toutes ses doctrines: — il avait des remords, il se sentait responsable!

(*Le Disciple*)

LETTRES.

Les lettres commencent ordinairement par les mots: **Monsieur, Madame,** placés à une certaine distance du haut de la page et du commencement de la lettre, quand on écrit à une personne d'une position à peu près égale à la sienne. Si l'on s'adresse à un inférieur, on peut mettre **Monsieur, Madame,** dans le corps de la lettre soit en commençant la ligne, soit au milieu de la phrase, par exemple: *je suis fâché (je regrette), Monsieur, de...*; *J'ai reçu, Monsieur, la nouvelle... etc.*

Lorsqu'on est en bonnes relations avec les personnes à qui l'on écrit ou qu'il existe entre les correspondants un certain degré d'amitié, on peut se servir des formules: *Mon cher Monsieur...* ou bien *cher Monsieur, chère Dame.*

Quand on écrit à une personne d'un rang élevé ou à un supérieur, il est de rigueur (обязательно), de placer le mot *Monsieur*, seul et séparé au-dessus de la première ligne à une distance d'autant plus grande, du corps de la lettre, qu'on veut témoigner plus de respect: si la personne a un titre, il faut le mettre, par exemple: *Monsieur le Comte*; *Monsieur le Général*; *Votre Excellence*; *Monsieur le Ministre*; *Monseigneur; Votre Eminence* (Ваше Преосвященство); *Révérend Père* (для писемъ къ духовнымъ лицамъ не высокаго положенія); *Sire* ou *Votre Majesté*, (Ваше Величество); Votre Altesse (Ваше Высочество) etc.

Des fins des lettres.

Une lettre ne doit finir sur la première page qu'à la condition d'être assez courte pour qu'il reste au moins un cinquième de hauteur du papier en blanc au bas de la feuille; si l'on ne peut terminer

dans ces conditions, il est préférable d'espacer un peu les lignes de façon à en avoir trois ou quatre au recto (на оборотѣ) de la page.

Les formules les plus ordinaires pour terminer une lettre sont les suivantes:

Je suis, avec respect, Monsieur, votre très-humble et très obéissant serviteur.

Je suis, avec un profond respect, Monsieur, votre très-humble et très obéissant serviteur.

Je suis avec le plus profond respect, Monsieur, votre très-humble serviteur.

Le mot *respect* ne doit jamais être remplacé ni par *le dévoûment ni l'estime, ni la parfaite considération.* Il faut se rappeler que le *respect* est pour les supérieurs, les vieillards, les dames et les parents les plus proches.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec la plus profonde considération.

Agréez (Veuillez agréer) ou recevez (Veuillez recevoir), Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée (de ma haute considération). Veuillez agréer, je vous prie, Madame, l'assurance de ma respectueuse considération.

Ces manières de s'exprimer ne doivent s'employer qu'entre égaux.

J'ai l'honneur d'être avec une reconnaissance respectueuse, Monsieur, votre, etc.

J'ai l'honneur d'être, avec autant de reconnaissance que de respect Monsieur, votre, etc.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mon respectueux attachement.

Croyez (Veuillez croire), Monsieur, au respectueux attachement avec lequel je suis votre très-dévoué...

Croyez (Veuillez croire), Monsieur, au respectueux attachement avec lequel je suis votre très-dévoué... Agréez les sentiments d'amitié et de respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Monsieur, votre... Daignez croire à ma sincère et cordiale (сердечную) affection... Agréez mes salutations bien cordiales (amicales)...

Votre affectionné... Votre tout dévoué... Tout à vous de cœur... Votre tout dévoué serviteur... J'ai l'honneur de vous saluer (formule commerciale très-usitée). Je vous embrasse comme je vous aime, et c'est de tout mon cœur...

Vous connaissez mes sentiments pour vous... Tout à vous... Tout à vous d'amitié... Je vous serre la main... Croyez à ma vive amitié... Croyez à ma vive et sincère amitié... Comptez à jamais, Monsieur, sur la reconnaissance et l'attachement de votre...

Dans quelques lettres d'affaires, on met: «J'ai l'honneur de vous saluer»... ou «Je vous salue»... Pourtant il est bon à noter que dans toute autre lettre, il faut éviter de s'exprimer ainsi, sauf les cas quand on le fait à dessein, ayant des motifs de froideur.

MODÈLES DE LETTRES.

Billets d'invitation, d'acceptation et de refus.

№ 1.

Monsieur et Madame D... présentent leurs respects à Monsieur et à Madame P... et les prient de vouloir bien les honorer de leur présence à dîner, mardi prochain, à six heures.

№ 2.

Monsieur et Madame P... prient Monsieur et Madame R... de vouloir bien venir dîner avec eux jeudi prochain (le 24 janvier), à sept heures, et leur présentent leurs meilleurs compliments.

№ 3.

Mon cher Monsieur F...

Ayez l'extrême obligeance de venir nous voir demain soir. Nous aurons Monsieur B... et quelques autres personnes qui seront charmées de faire connaissance avec vous. Nous serons en tout petit comité.

Veuillez bien faire nos amitiés les plus sincères à Madame F... et embrasser bien tendrement pour nous votre chère et charmante fille.

Votre ami tout dévoué

Pierre G...

Lundi, le 4 mars 1905.

№ 4.

Monsieur et Madame D... regrettent que des engagements antérieurs les empêchent d'accepter l'aimable invitation de Monsieur et Madame G... pour mardi

---

№ 5.

Monsieur B... prie Madame S... de recevoir ses remerciments et l'expression de ses regrets. Déjà engagé, il ne peut accepter l'invitation qu'elle lui a fait l'honneur de lui adresser.

№ 6.

Une indisposition subite prive Monsieur M... de l'honneur de passer la soirée cher Madame R...; il la prie d'agréer l'expression de tous ses regrets.

Billets et lettres d'affaires, de demande, de sollicitation, de gratitude, de recommandation etc.

№ 7.

Monsieur L... aurait quelque chose d'important à communiquer à Monsieur C... Il le prie de lui indiquer le jour et l'heure où il pourra se rendre chez lui. Il espère que Monsieur L... voudra bien lui pardonner son importunité...

№ 8.

Au moment où Monsieur T... allait sortir pour se rendre au rendez-vous que Monsieur V... avait bien voulu prendre avec lui, une affaire de la plus grande importance l'a obligé à renoncer au plaisir qu'il s'était promis; il espère avoir l'honneur de se dédommager demain si Monsieur V... n'a point changé d'avis.

Le 6 juillet 1906.

№ 9.

Mon cher ami!

J'ai reçu la lettre si aimable que vous m'avez écrite pour m'inviter au dîner et à la soirée que vous avez donnés hier à l'occasion de l'avancement (повышенія, производства) qu'a obtenu M. votre fils dans les bureaux du ministère des Finances.

Vous ne doutez pas de l'empressement que j'aurais mis à m'y rendre, et du plaisir que j'aurais éprouvé à féliciter votre fils de son nouvel emploi; mais une circonstance tout à fait imprévue est venue me priver de ce plaisir, et il m'a été absolument impossible de quitter ma maison.

A sept heures, alors que je commençais à m'habiller, je vois tout à coup entrer dans ma chambre et sans avertissement aucun, deux de mes amis que j'ai reconnus, et avec lesquels j'étais lié d'intimité lorsque j'habitais Moscou; ils devaient partir le lendemain pour Paris par le train de neuf heures du matin. J'étais puni et bien puni, vous le voyez; il fallut s'executer de bonne grâce et renoncer à votre charmante soirée.

Recevez donc, mon ami, mes sincères excuses et veuillez me permettre de vous inviter à venir jeudi passer la journée avec moi.

Tout à vous *L... D...*

№ 10.

Chère Louise,

Tu dois m'avoir bien attendu et certainement, tu m'en veux de ce que je n'ai pas donné suite à ton invitation d'aller avec toi au théâtre. J'étais très peinée de devoir refuser, mais je ne pouvais pas encore risquer de sortir, car il y a huit jours à peine que, sortant,

d'une maladie, j'ai quitté le lit. C'est également pour ce motif que je n'ai pas répondu à ta lettre. A présent m'en veux-tu encore? Je le sais, tu me plains et me le prouverais le mieux en me visitant dimanche. Pardonne-moi et aime.

Ton amie *A...*

№ 11.

Monsieur,

Le faible service que j'ai tâché de vous rendre ne méritait pas la manière dont vous me témoignez que vous l'avez reçu, et vous deviez me laisser la satisfaction d'avoir faite une action que vous désirez, sans y mêler un compliment que je n'avais pas attendu. Soyez assuré, Monsieur, du plaisir que je trouverai toujours à vous témoigner, par mes services, la vérité avec laquelle je suis, Monsieur, votre bien dévoué serviteur

S... B...

№ 12.

Mon cher ami,

En présence de la douce amitié que tu me témoignes chaque jour, je ne saurais laisser passer le jour de l'An sans t'assurer que mon affection ne le cède en rien à la tienne, et que les sentiments que je te porte au cœur m'inspirent à tous égards les vœux les plus ardents pour ta santé et ton bonheur. Puisse Dieu, qui connaît nos pensées les plus intimes, réaliser tout ce que je te souhaite; tu pourrais ainsi mieux apprécier que je ne saurais te l'exprimer, la mesure de l'attachement de ton dévoué ami.

L... F...

№ 13.

Mon cher ami,

Je profite du renouvellement de l'année pour t'offrir l'hommage des vœux bien sincères que je forme pour ton bonheur. L'année qui

vient d'expirer ne t'a pas été favorable; les peines, les maladies, les tribulations de tout genre qui t'ont frequemment assaillis, ainsi que divers membres de ta famille, ne t'ont pas épargné; comme on le dit vulgairement, les années se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Je souhaite que celle dans laquelle nous entrons te dédommage largement des peines de la précedente et soit suivie de beaucoup d'autres, toutes de bonheur. Puisse Dieu, que j'invoque en ta faveur, te conserver la santé ainsi qu'à tous les membres de ta famille. Puissent avec la grâce de la protection divine, toutes les entreprises réussir au gré de tes désirs!

Tels sont les vœux que forme pour toi celui qui est et toujours sera.

Ton plus affectionné camarade
H... R...

№ 14.

St-Pétersbourg, le 28 août 1905.

Monsieur,

Je désire vous entretenir d'une affaire que j'ai à vous proposer; il me serait agréable de pouvoir vous rencontrer. Veuillez avoir l'obligeance de me faire connaître l'heure à laquelle je pourrais vous trouver, à moins que vous ne préfériez vous rendre chez moi, jeudi ou vendredi de cette semaine, de midi à deux heures.

Je vous prie d'agréer l'assurance de ma parfaite considération.

P... K...

№ 15.

Mon cher ami,

La constante affection que vous m'avez témoignée pendant ma maladie me fait un devoir de vous annoncer bien vite que, depuis quelques jours, je suis dans ce qu'on appelle la convalescence.

Merci, mon cher, merci de votre bonne et tendre amitié; j'en suis profondement touché: c'est en vérité, un soulagement pour une personne qui souffre de voir qu'elle n'est pas oubliée de ses amis. Croyez bien

que je n'oublierai jamais les marques d'affection que vous m'avez données et permettez-moi de vous en remercier avec toute l'effusion d'un cœur reconnaissant.

Votre ami bien dévoué
F... B...

№ 16.

Mon cher Monsieur,

La personne qui vous remettra la présente (lettre) est M. N..., qui habite la même ville que moi, et pour lequel j'ai autant d'estime que d'amitié. Il a besoin de quelques renseignements, et même d'un peu de protection. Il vous expliquera lui-même son affaire. Je pense que vous êtes en position de lui rendre service. En l'obligeant, vous m'obligerez moi-même, et je vous en serai infiniment reconnaissant.

Votre dévoué serviteur et ami
O... M...

№ 17.

Monsieur,

Je prends la liberté de vous adresser M. N..., qui compte passer un ou deux mois dans la ville que vous habitez. C'est un homme recommandable, et pour lequel j'ai la plus grande estime. Veuillez lui faire connaître tout ce que votre ville et ses environs renferment de curieux, et lui rendre tous les services que vous me rendriez à moi-même; je vous en aurai la plus sincère obligation.

En attendant l'occasion de faire à mon tour quelque chose qui vous soit agréable.

Je vous salue cordialement
M... S...

№ 18.

Monsieur,

La bienveillance que vous m'avez toujours montrée, et la protection que vous avez bien voulu m'accorder en plusieurs circonstances,

m'enhardissent à vous offrir, aux approches du premier janvier, le tribut de reconnaissance et de dévouement que je vous dois, en y joignant les vœux sincères que je fais pour vous et pour tous ceux, qui vous intéressent.

J'ose espérer, Monsieur, que vous accueillerez avec bonté l'hommage de ma gratitude, car cet accueil favorable sera pour moi un présage heureux pour l'année qui va commencer.

J'ai l'honneur d'être avec respect, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

M... P...

№ 19.

Monsieur,

Je saisis avec plaisir l'occasion du renouvellement de l'année, pour rompre le silence qui règne depuis si longtemps entre nous, et pour vous présenter les bons souhaits que je fais pour vous, ainsi que les assurances de mon inaltérable amitié et de mon dévouement. J'espère que vos enfants jouissent d'une bonne santé; embrassez les pour moi, et veuillez présenter mes hommages respectueux à votre chère épouse.

Votre affectionné et dévoué
V... C...

№ 20.

Mon cher Monsieur,

Puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de votre naissance, permettez que je saisisse l'occasion de cet heureux jour pour vous exprimer en mon nom, et en celui de ma famille, notre sincère attachement.

Comme chaque année nous ramène le même jour, chaque année doit augmenter aussi pour vous les sentiments d'estime et d'amitié qui vous sont si justement dus, si l'on recapitule tout le bien que vous avez fait pendant sa durée, tous les services que vous avez rendus avec cette amabilité et le desintéressement qui forment le fond de votre caractère.

Puisse cet anniversaire se prolonger encore un grand nombre d'années. Puissent-ils vous voir jouir d'une santé parfaite et d'un bonheur constant; c'est le plus ardent de mes souhaits.

Recevez, mon cher Monsieur, les assurances du vif attachement de votre dévoué.

N... S...

№ 21.

Monsieur,

Permettez-moi de saisir l'occasion de votre fête pour vous présenter les témoignages de ma vive reconnaissance pour toutes les bontés que vous avez pour moi. Je ne sais comment vous exprimer les sentiments de gratitude et d'affection dont mon âme est pénétrée; mais quand on réunit comme vous les qualités les plus précieuses de cœur, on comprend facilement le langage de la reconnaissance chez les autres. Soyez donc vous-même, Monsieur, mon interprète auprès de vous, et veuillez me croire.

Votre très-humble et très-obéissant serviteur

P... A...

№ 22.

Monsieur,

Ma coupable négligence a pu vous faire croire à un oubli qui est bien loin d'exister; aussi est-ce avec empressement que je saisis l'occasion que m'offre le nouvel an pour rompre le silence qui était venu refroidir nos relations si amicales autrefois. Croyez que si les apparences ont pu être contre moi, mon cœur n'a pas changé et qu'il a fallu des occupations bien absorbantes pour me faire négliger notre correspondance. Puis, comme toujours lorsqu'on est resté longtemps sans écrire, on diffère de jour en jour; on remet sa lettre au lendemain, et ce lendemain s'éloigne tellement qu'on n'ose plus mettre le projet à exécution.

Pourtant, cher Monsieur, j'espère que votre cœur est resté tel que je le connaissais, c'est-à-dire bon et indulgent, que vous accepterez mes excuses, que vous me rendrez votre amitié. C'est le vœu que je

forme pour cette nouvelle année. Rien ne me rendrait plus fier et plus heureux.

Quelle que soit votre réponse, croyez-moi toujours le plus fidèle de vos serviteurs.

C... N...

Le 29 décembre 1906.

№ 23.

Monsieur,

J'étais trop privé du plaisir de lire vos bonnes lettres, pour vous garder rancune, dès que vous paraissez revenir à moi et disposé à reprendre notre correspondance; je n'ai jamais accusé votre cœur, mais ne comprenant pas la cause de votre long silence, je cherchais ce qui dans ma conduite avait pu m'attirer votre refroidissement, et ne le trouvant pas, j'attendais du temps et des circonstances des explications plausibles. Les voici venues, je les accepte et j'espère que rien ne viendra désormais troubler notre amitié.

Je bénis la nouvelle année qui me permet de retrouver un ami sur lequel je n'osais plus compter.

Croyez, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments d'estime et d'amitié.

G... R...

Le 31 décembre 1906.

№ 24.

Voilà bien des mois, mon cher N..., que nous sommes privés de votre présence. Qu'est-ce donc qui peut vous retenir si longtemps loin de vos amis et de vos parents? Vos affaires ne sont donc pas terminées? Si cela est, hâtez-vous de les finir et revenez bien vite parmi ceux qui vous chérissent et qui ne peuvent s'accoutumer à votre absence.

Vous trouverez bien du changement à N...; mais je ne veux rien vous dire, afin de piquer votre curiosité et de vous obliger à presser votre arrivée pour la satisfaire.

Je vous embrasse affectueusement.

№ 25.

Monsieur,

J'ai eu l'honneur de vous écrire le 15 du mois dernier, en sollicitant de vous divers renseignements qui me sont indispensables. Déjà, le mois précédent, je vous avais écrit dans le même but, et je n'ai reçu de réponse à aucune de ces deux lettres.

Je ne sais à quoi attribuer ce silence, et je viens vous prier de vouloir bien enfin m'honorer d'un mot de réponse.

Veuillez me pardonner mon importunité, et me croire

Votre très-humble serviteur.

№ 26.

Monsieur,

Je suis étonné qu'après la lettre que je vous ai écrite, vous ne m'ayez pas fait remettre la somme que je vous ai prêtée, et que vous ne m'ayez rien fait dire à ce sujet.

Cette manière d'agir est d'autant moins convenable, que ce prêt a été fait sans intérêt.

Hâtez-vous donc, Monsieur, de terminer cette affaire d'une manière satisfaisante, et qui me laisse la possibilité et le désir de vous être encore agréable à l'avenir.

J'ai l'honneur de vous saluer.

№ 27.

Monsieur,

Vous vous rappelez sans doute qu'à la fin du mois d'octobre 1905, vous vîntes me prier de vous prêter une somme de 300 roubles que vous promîtes de me rendre à la fin de l'année. Comme j'avais cette somme disponible dans le moment, je vous la prêtai avec plaisir.

Je vous rappelle que l'époque du remboursement est passée. Cette somme, sur laquelle j'avais compté, me fait faute en ce moment, en sorte que je me trouve gêné. Veuillez donc avoir la complaisance de me l'apporter le plus tôt qu'il vous sera possible.

J'ai l'honneur de vous saluer.

№ 28.

Monsieur,

Je connais depuis longtemps votre bonté et votre obligeance, les services que vous avez bien voulu me rendre sont gravés dans ma mémoire d'une manière ineffaçable. Souffrez que je m'adresse encore à vous pour vous supplier de m'être favorable dans la présente occasion. *(Détailler ici le service qu'on demande).*

Rien ne peut sans doute augmenter la vénération et la reconnaissance que je ressens pour vous; mais au moins, en me faisant obtenir l'objet de ma demande, par l'effet de votre puissante protection, vous jouirez de l'idée d'avoir fait un heureux de plus.

J'ai l'honneur d'être avec respect,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

№ 29.

Cher Monsieur,

Le sieur N..., que vous connaissez, n'a point payé le billet qu'il m'avait fait, et qui est échu d'hier. Je me trouve dans l'obligation de le rembourser, et je suis sans argent dans ce moment. Auriez-vous la bonté de me prêter la somme nécessaire pour effectuer ce remboursement, qui s'élève à 250 roubles? Vous pourriez compter sur mon exactitude à vous le rendre dans le courant du mois.

Dans l'espoir d'une réponse favorable,

Je suis votre affectionné serviteur.

№ 30.

Mon cher N...,

Je viens vous prier de me rendre un service qu'on ne peut demander qu'à un véritable ami. Je me trouve gêné par suite du manque d'une rentrée sur laquelle je comptais. J'aurais besoin d'une somme de 150 roubles que je pourrai vous rendre dans un mois. Pouvez-vous me

prêter cette somme? Si cela vous est possible, je suis certain que vous ne me la refuserez pas.

Je compte donc sur votre amitié,
et vous salue bien cordialement.

№ 31.

Mon cher ami,

Vous êtes dans une position qui vous met à même de m'être utile. Je me trouve, pour le moment, sans emploi et sans moyens d'existence; je pense que vous pourrez facilement me procurer une place. Quelque modeste qu'elle soit, je l'accepterai avec reconnaissance, et je vous regarderai comme mon sauveur. Vous me connaissez assez pour savoir que je remplirai convenablement les fonctions qu'on voudra bien me confier.

Dans l'espoir que vous accueillerez favorablement la demande d'un ami,

Je vous salue bien cordialement.

№ 32.

Monsieur,

J'ai une affaire assez importante qui va s'engager devant le tribunal de votre ville. Voudriez-vous vous charger de mes intérêts? Voici en peu de mots le sujet de ce procès (*Exposer ici d'une manière succincte le motif du procès et les circonstances accessoires*).

Si vous consentez à vous charger de ma cause, je vous enverrai toutes les pièces (документы) à l'appui. Vous voudrez bien me faire savoir également quelle est la somme dont je vous serai redevable pour vos honoraires.

Recevez, Monsieur,
l'assurance de ma parfaite considération.

№ 33.

Monsieur,

L'excellente reputation dont vous jouissez m'engage à m'adresser à vous, pour une affaire très-importante pour moi (*Expliquer ici l'affaire avec clarté et précision*).

Voulez-vous avoir la bonté, Monsieur, de vous charger de cette affaire? Dans ce cas, veuillez me dire quelles sont les pièces que je dois vous envoyer, et quelle est la forme à donner à la procuration (довѣренность) qui vous est nécessaire. Vous me ferez également connaître la somme que je devrai ajouter à l'envoi pour les premiers frais.

Recevez, Monsieur,
les assurances de ma parfaite considération.

№ 34.

Monsieur,

J'apprends que vous êtes chargé des affaires de la succession de monsieur N..., mon parent. Je joins ici une note qui vous fera connaître mon degré de parenté et qui établit mes droits. Veuillez m'assigner un rendez-vous, afin que je puisse vous donner connaissance des pièces à l'appui de ces droits.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, avec la plus parfaite considération.

Votre dévoué serviteur.

№ 35.

Mon cher Monsieur,

J'ai le plaisir de vous faire part du mariage de ma fille avec Monsieur A..., dont vous connaissez la famille. Il sera célébré le 24 du courant à l'église de.... à 11 heures précises. J'espère que vous voudrez bien y assister avec Madame votre épouse ainsi qu'au repas de noce qui aura lieu à cinq heures, au.... (indiquer l'établissement ou l'adresse).

En attendant ce moment, veuillez agréer l'assurance de mon attachement et de ma parfaite considération.

Votre dévoué serviteur.

Lettres de commerce.

№ 36.

Monsieur,

Je viens de recevoir votre envoi du 28 expiré. La qualité des marchandises ne répond aucunement à ce que j'attendais. Les vingt pièces de toiles imprimées, pour robes, que vous m'envoyez, n'offrent que des dessins passés de mode, et quatre de ces pièces sont mauvais teint. Les deux pièces de cotonnade sont extrêmement grosses et ne valent pas le prix coté.

Je vous avais cependant expressément recommandé de ne m'envoyer que des dessins nouveaux, et surtout rien que des étoffes bon teint.

Persuadé que vous êtes trop juste pour ne pas reconnaître la légitimé de mes réclamations, je viens vous demander un rabais sur le montant de votre facture. Si vous consentez à m'accorder une diminution de 40 francs sur la somme de 460 francs qui en forme le total, je continuerai de m'adresser à vous pour tous mes besoins; dans le cas contraire, je me verrai forcé de me fournir dans une autre maison.

Si nous sommes d'accord, vous pouvez faire traite à vue sur moi pour le montant de votre facture, déduction faite des 40 francs de rabais,

J'ai l'honneur de vous saluer.

№ 37.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous prévenir que je vous envoie, par les Messageries (ou la poste), la somme de six cent cinquante-deux francs, formant le solde des marchandises que vous m'avez expédiées le 15 décembre dernier. Veuillez me créditer pour solde jusqu'à ce jour.

J'ai l'honneur de vous saluer.

№ 38.

Monsieur,

Je suis créancier du sieur N..., de votre ville, qui vient d'être déclaré en état de faillite, pour une somme de 682 fr. 50 c. Je viens vous prier de me représenter dans cette faillite. Je vous envoie, à cet

effet, mes titres, consistant en trois effets impayées, avec un bordereau de ces effets dûment certifié.

Je vous envoie aussi un pouvoir, pour me représenter.

Vous donnerez ou refuserez votre adhésion aux propositions du failli, suivant les circonstances que vous apprécierez vous-même, m'en rapportant entièrement à vous.

Les opérations de la faillite terminés, vous me ferez connaître le montant de vos débours et de vos honoraires, que je m'empresserai de vous faire passer.

J'ai l'honneur de vous saluer avec une parfaite considération.

№ 39.

Monsieur,

Les rapports d'intimité que vous avez eus avec mon père, l'affection que vous n'avez cessé de me témoigner, le dévouement franc et sincère que vous m'avez montré dans les différentes époques de ma vie, tout me fait un devoir de ne rien entreprendre sans vous consulter.

Je suis en marché pour faire l'acquisition d'un fonds de bijouterie à..., qui serait cédé, si je dois m'en rapporter aux personnes que j'ai déjà consultées, à des conditions avantageuses, à cause de la position un peu embarrassée dans la laquelle se trouve le cédant. Les personnes que j'ai consultées me paraissent dignes de foi, et les réflexions auxquelles je me suis livré me portent à croire que cette affaire me conviendrait sous une foule de rapports.

Cependant, je ne prendrai aucune détermination sans que vous m'ayez donné votre avis sur cette entreprise; c'est à votre grande expérience que je veux m'en référer.

J'attends donc avec confiance vos bons conseils, et vous prie d'agréer l'expression de mon respectueux attachement.

№ 40.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que je viens d'établir à... rue... N... un établissement dont le genre d'affaires principal sera la commission et tout ce qui s'y rattache.

Soutenu par les résultats d'une laborieuse expérience, des capitaux suffisants, je me livre avec assurance aux affaires, espérant obtenir par mes efforts et mon activité la confiance des commerçants qui voudront bien me confier leurs intérêts. Telles sont les garanties que j'offre à mes commettants. J'ose d'autant plus espérer de captiver leur bienveillance, que je ne négligerai en aucune façon les intérêts qu'ils voudront bien confier à mes soins, et que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour mériter leur confiance.

Agréez, Monsieur, mes salutations empressées.

№ 41.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous informer que monsieur A... par des motifs de santé, a cessé de faire partie de ma maison depuis le 1er janvier dernier, sa signature sociale ayant, en conséquence, atteint son terme, veuillez en prendre bonne note.

C'est avec un regret bien profond que je vois monsieur A... dans l'obligation de cesser des rapports pendant lesquels il s'est acquis des droits ineffaçables à mon estime et à mon sincère attachement.

Cette retraite, du reste, ne doit apporter d'autre changement dans ma maison que celui des signatures; ses conseils, son expérience dans les affaires, ses lumières, seront toujours pour moi les doux témoignages de son affection.

Je ferai donc, soyez-en assuré, tous mes efforts pour conserver la confiance bienveillante dont vous nous avez honorés.

Agréez l'assurance de ma parfaite considération.

№ 42.

Monsieur,

Nous sommes en possession de votre lettre fort gracieuse du 10 mars dernier, et nous vous prions d'agréer nos remercîments des obligeantes offres de services que vous voulez bien nous faire.

C'est avec un bien grand plaisir, soyez-en convaincu, que nous saisirons avec empressement l'occasion où nous pourrons les utiliser.

Pour le moment cependant, la stagnation toujours croissante des affaires nous met hors d'état de commencer nos relations. Si le commerce reprenait un peu d'activité, nous saisirions avec empressement cette occasion pour établir des relations auxquelles nous attachons infiniment de prix.

Agréez, etc.

№ 43.

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous aviser que, d'après vos ordres, nous vous avons expédié, par le chemin de fer petite vitesse, les marchandises détaillées en la facture ci-jointe s'élevant à 1,500 roubles, dont vous voudrez bien me créditer.

La marchandise est superbe et de bonne qualité; nous espérons que vous serez satisfait. Si les qualités vous conviennent, vous voudrez bien nous en informer, afin que nous puissions, dans la prochaine expédition, nous conformer à vos avis et vous servir tout à fait selon vos intentions; soyez persuadé que nous attachons le plus grand prix à nos rapports et que nous ne négligerons rien pour les rendre de plus en plus agréables.

Agréez, etc.

№ 44.

Monsieur,

J'ai sous les yeux votre lettre du 15 mars, je m'empresse d'y répondre.

Vous êtes surpris, dites-vous, que je n'aie pas satisfait de suite monsieur B... Pouvais-je le payer sans votre autorisation? J'aime à croire que vous approuverez ce que j'ai fait, quand vous saurez que sa facture fourmille d'erreurs; qu'il réclamait 1,500 fr., et que par votre lettre du 1er février vous prétendez ne lui devoir que 1,200 fr.; des explications devenaient, dès lors, indispensables; je ne pouvais régulièrement disposer de vos fonds sans votre ordre formel.

Je ne puis vous cacher que vos reproches me paraissent un peu piquants; il aurait été plus convenable, à mon avis, de les suspendre jusqu'à la première entrevue.

Si pourtant il vous est agréable que je termine cette affaire avec monsieur B..., veuillez prendre la peine d'examiner sa facture, je rectifierai les erreurs que vous me signalerez; et s'il les accepte, je pourrai le payer régulièrement.

Recevez, Monsieur, mes affectueuses salutations.

№ 45.

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous confirmer ma dernière lettre du 10 courant, qui contenait le relevé de votre compte de l'année dernière soldant en ma faveur par 3500 francs.

Les affaires que je fais en ce moment exigent des fonds extraordinaires, ce qui me force à presser mes rentrées. Vous me rendrez, je vous l'avoue, un signalé service en me réglant, le plus tôt possible, le solde de votre compte. J'attends donc ce service de votre amitié; cependant, si la totalité de la somme vous gênait trop, vous m'enverriez un à-compte de 2000 francs.

Agréez, Monsieur, mes salutations affectueuses.

№ 46.

Monsieur,

Je viens vous prier de vouloir bien m'adresser vos règlements pour mes livraisons des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, s'élevant à 4300 fr. environ, aux échéances de mars, avril et mai prochains.

J'ai besoin de ces valeurs et je compte sur votre obligeance accoutumée.

Agréez mes affectueuses salutations.

№ 47.

Monsieur L... à P...

La présente vous sera remise par M. A..., que je prends la liberté de vous recommander d'une manière toute particulière. Ce jeune homme a travaillé plusieurs années dans ma maison, et sa conduite irréprochable m'a inspiré pour lui le plus vif intérêt. J'ose espérer que vous voudrez bien l'honorer de votre protection. Je le recommande encore à votre gracieux accueil, persuadé que vous lui prodiguerez les aimables attentions que vous accordez à tous mes amis.

Veuillez agréer d'avance mes sincères remercîments pour tout ce que vous ferez en faveur de M. A..., et disposer de moi, sans réserve, en pareille ou toute autre circonstance.

Agréez mes sentiments d'estime et de considération.

№ 48.

Monsieur,

J'ai reçu en son temps votre agréable lettre du 10 courant avec la facture des marchandises que vous m'avez expédiées, s'élevant à 3,500 fr.

Je vous remets ci-joints:

Fr.	1,000	en un billet de la Banque de France.
	1,000	sur le sieur B... jeune au 30 juin.
	1,000	mon billet à votre ordre au 15 juillet.
	500	— — au 15 sept.

Somme égale. Fr. 3,500 dont je vous prie de m'accuser réception.

Agréez mes bien cordiales salutations

№ 49.

St-Pétersboug, le 4 mars 1906.

Monsieur Louis Blanc, à Paris.

Je me hâte (je m'empresse) de vous accuser réception de votre honorée du 20 courant par laquelle vous m'informer que vous avez tiré sur moi la somme de cinq mille (5000) francs, à soixante jours de date. Soyez convaincu, monsieur, qu'au jour indiqué je ferai honneur à votre traite. Veuillez agréer, monsieur, l'hommage de mon respect

---

№ 50.

Monsieur R..., à Paris.

Je vous prie de vouloir bien me dire, par retour du courrier (съ обратною почтою), le dernier prix des articles que vous trouverez spécifiés (поименованными) dans la liste ci-jointe. Si vos prix sont avantageux, vous recevrez sous peu (вскорѣ) des commandes considérables tant pour moi que pour mes correspondants.

J'ai l'honneur de vous saluer

L... A...

№ 51.

Librairie Plon et Cie

à Paris, Rue Garonnière, 8.

Veuillez au reçu de la présente m'expédier par retour du courrier les ouvrages (livres) spécifiés dans la liste ci-jointe.

Je ne vous envoie pas pour le moment le montant du prix vu que j'ignore quel sera le rabais que vous me ferez et les frais de l'expédition.

Vous aurez donc l'obligeance de m'expédier le colis contre remboursement (наложенномъ платежомъ).

J'ai l'honneur de vous saluer.

J... N..

№ 52.

Librairie J. Tissandier.

à Paris, Rue St-Joseph, 8.

Ci-joint je vous envoie un chèque pour la somme de 28 francs sur Crédit Lyonnais, veuillez au reçu de la présente m'expédier par retour du courrier (grande vitesse) les livres ci-dessous mentionnés y compris l'atlas, dont il a été question dans ma lettre du 14 février.

Je vous prie d'agréer mes salutations.

N... O...

PROCURATIONS.

Une procuration peut être spéciale, et bornée à un seul objet; elle peut embrasser plusieurs objets; enfin elle peut être générale.

1. Formule d'une procuration générale.

Je soussigné, X..., propriétaire (colonel..., ingénieur, etc...) à Z... donne pouvoir à Mr...., de, pour moi et en mon nom, régir, gérer et administrer tous les biens meubles et immeubles dont je suis possesseur à (Paris, Nice...), ainsi que toutes les affaires civiles et commerciales, tant à Paris qu'en d'autres lieux, et de se transporter partout, à mes frais, où besoin sera; l'autorisant à toucher et à recevoir de tous débiteurs, locataires et fermiers, les sommes qui pourraient m'être dues, tant en capital qu'en frais et intérêts; toucher le remboursement de toutes rentes ou de tous capitaux, acheter ou vendre des rentes sur l'État, ainsi que des actions industrielles.

Vérifier, débattre tous comptes, en payer, en recevoir le reliquat (недоимка) s'il y a lieu; souscrire ou faire souscrire tous contrats, billets ou obligations à terme; accepter des traites; endosser des billets; louer ou affermer en totalité ou en partie mes biens immeubles, faire procéder à toutes réparations qu'il jugerait nécessaires, faire tous emprunts, consentir et accorder toute hypothèque et privilège, accepter toute donation et legs particuliers ou universels, soit sous bénéfice d'inventaire, soit autrement.

Vendre tout ou partie des biens meubles et immeubles appartenant au constituant, introduire ou faire toute instance devant tous juges ou tribunaux civils et de commerce constituer tous avoués ou avocats, les révoquer et en constituer d'autres; s'opposer, appeler, se pourvoir en cassation ou par requête civile, acquiescer à tous jugements et à toute sentence arbitrale, transiger; citer et comparaître devant tous juges de paix, conseils de prud'hommes (оцѣнщикъ, экспертъ и т. п.); s'y concilier si faire se peut.

Rendre plainte, obtenir tous jugements, exercer toute poursuite soit au civil, soit au criminel, s'inscrire en faux, former toute opposition et saisies-arrêts, faire toutes saisies-exécutions, suivre toute expropriation forcée, surenchérir. En cas de faillite d'un débiteur, paraître à toute assemblée de créanciers, affirmer les créances sincères et véritables, accorder ou refuser le concordat et recevoir tout dividende; faire tous placements et emplois de fonds; s'intéresser dans toute entreprise ou établissement, et les commanditer.

Retirer de la poste toute lettre chargée ou paquet, signer et émarger tous registres et feuilles.

Et généralement, faire pour mon intérêt, dans les cas prévus ci-dessus comme dans ceux non prévus, tout ce que les circonstances indiqueront de convenable, promettant de l'approuver.

Nice, le 1er février 1906.

Signé: *N*...

2. Formule d'une procuration ne comprenant qu'un seul objet.

Je soussigné, X..., propriétaire à Z..., donne pouvoir à Jean-François Lerouge, (négociant, avoué, ...etc.) à Paris, de, pour moi et en mon nom, recevoir du sieur Lallemand, agent d'affaires à Paris, la somme de onze cents francs, dont celui-ci m'est redevable, et d'en donner décharge et quittance valable.

De plus, dans le cas de refus de payement, j'autorise ledit mandataire à poursuivre ce recouvrement par toutes les voies de droit, promettant de ratifier les mesures qu'il croira devoir prendre, et de l'indemniser de tous les frais qu'il jugera à propos de faire, afin de parvenir au recouvrement de ladite somme.

Fait à Vichy, le quinze mai mil neuf cent six.

(*Suit la signature*).

FIN.

ПОЛНЫЙ

практическій и теоретическій

КУРСЪ АНГЛІЙСКАГО ЯЗЫКА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХЪ

(съ указаніемъ произношенія)

В. Бургарда.

— Въ печати и выйдетъ вскорѣ въ свѣтъ. —

ПРИМѢЧАНІЕ

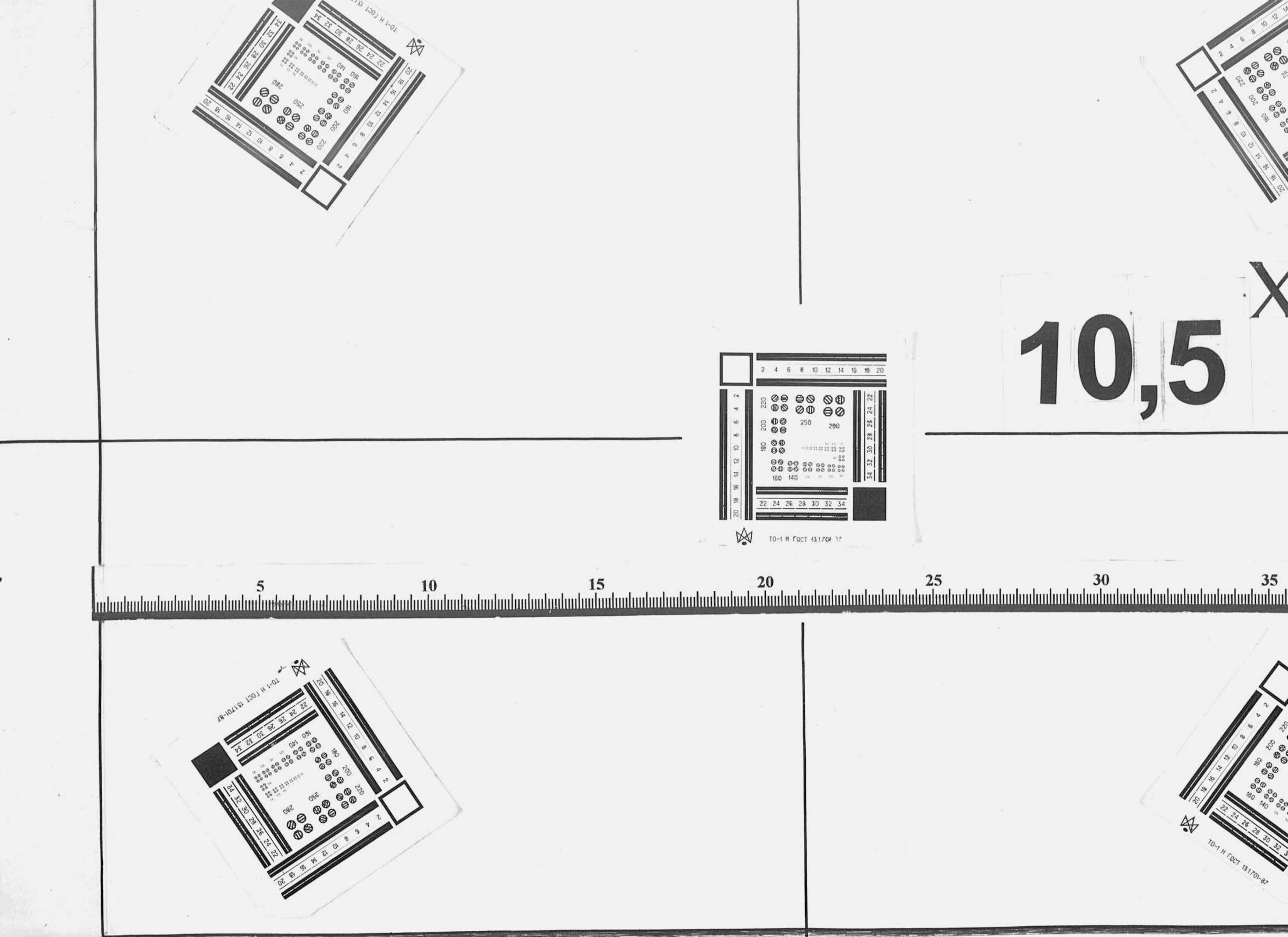
для покупающихъ эту книгу.

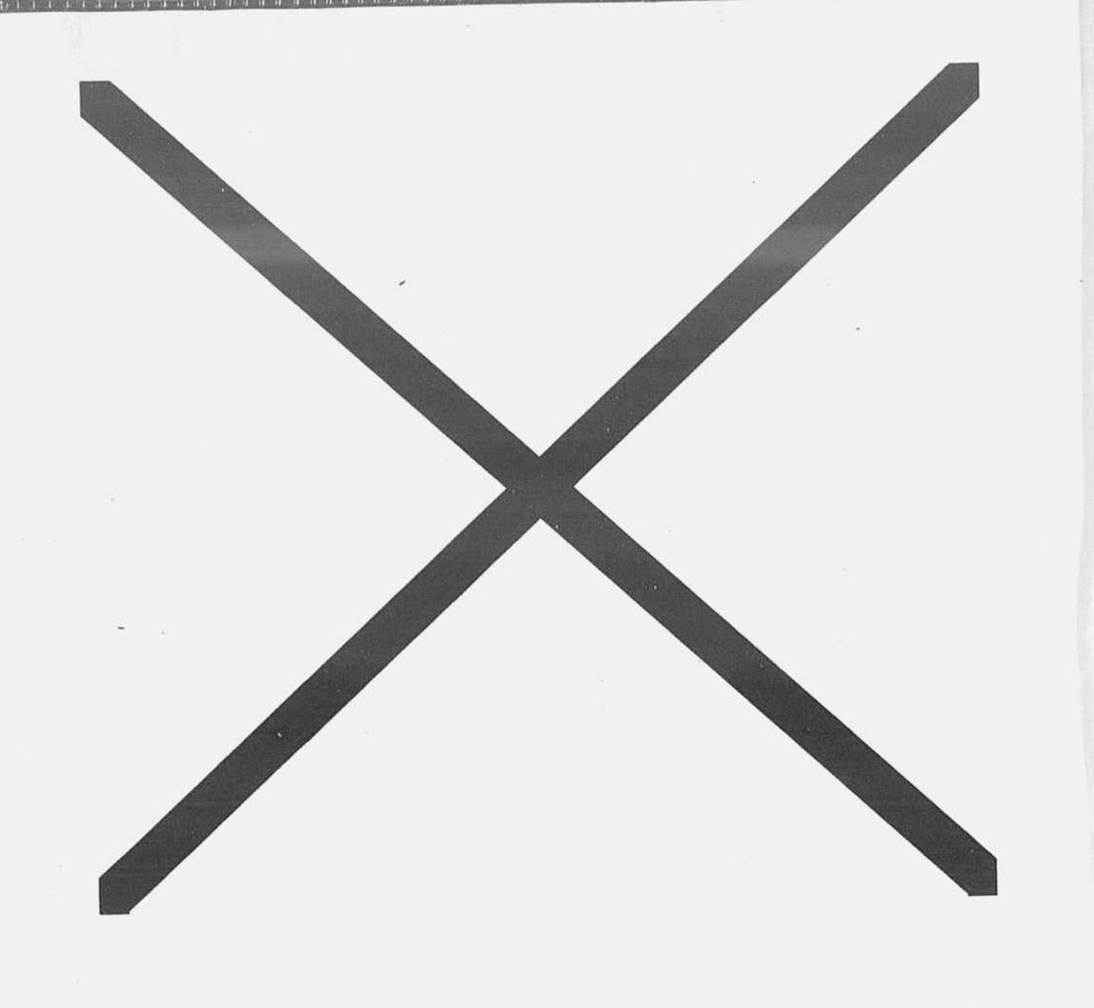
Всякій, купившій учебникъ, можетъ отослать его автору (С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 106; прошу лишь имѣть въ виду, что авторъ живетъ въ С.-Петербургѣ только съ 15 сентября по 1 мая, остальное время года за границею), если, пройдя его добросовѣстно, онъ найдетъ, что учебникъ не принесъ ему истинной пользы и не оправдалъ его ожиданій. Номинальная цѣна будетъ выслана желающему немедленно за отчисленіемъ 20% (уступки дѣлаемой книгопродавцамъ) и 15 коп. за почтовый переводъ (для иногородныхъ). Книга можетъ быть и бывшая въ употребленіи, лишь бы съ полнымъ числомъ страницъ и не слишкомъ запачканная.

Начинающіе изученіе французскаго языка, во избѣжаніе лишняго расхода, могутъ пріобрѣтать сначала 1-ю часть руководства, и тогда лишь покупать 2-ю часть, когда они будутъ убѣждены въ несомнѣнной пользѣ учебника.

Лица, не имѣющія вѣрнаго понятія объ изученіи языка, думающія, что это дѣло нѣсколькихъ недѣль, а не нѣсколькихъ мѣсяцевъ, сдѣлаютъ гораздо лучше, **не покупая эту книгу.**

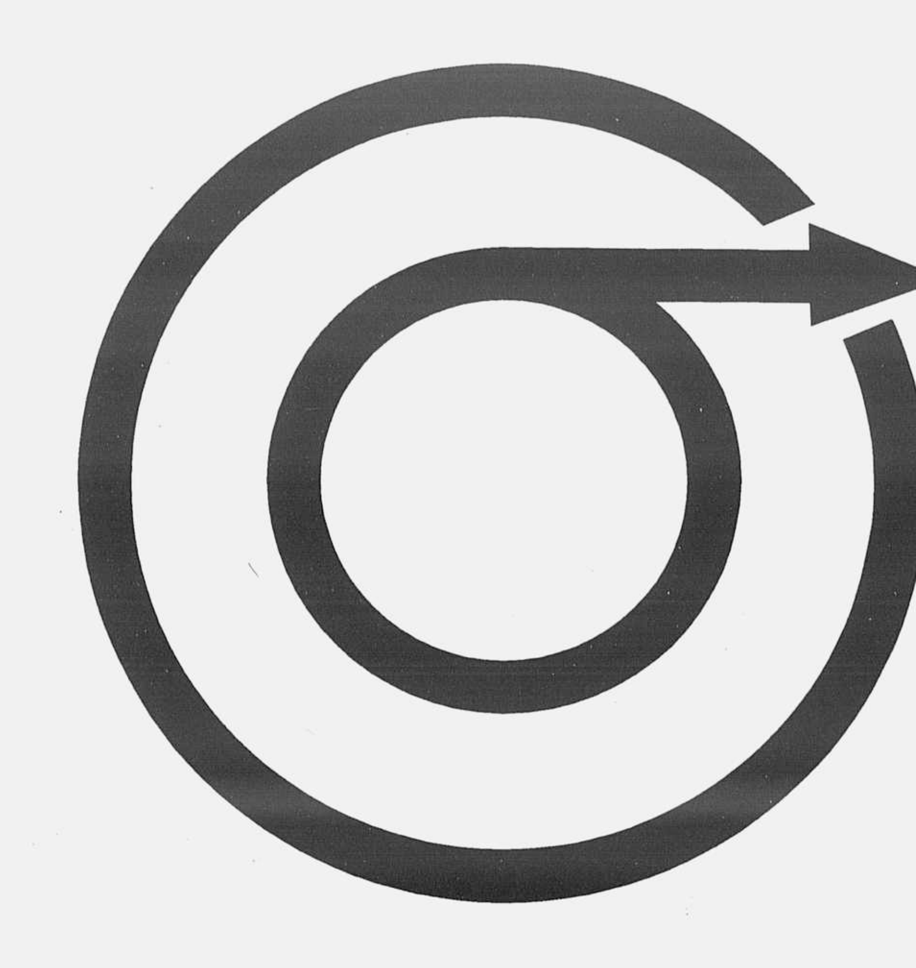
Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ имперіи и по желанію высылается въ провинцію наложеннымъ платежомъ. Главный складъ всѣхъ изданій В. Бургарда въ книжномъ магазинѣ Н. Н. Морева (Фену и К°), С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ № 92.


10,5
ТО-1 Н ГОСТ 13.1.701-87
5 10 15 20 25 30 35



КОЛИЧЕСТВО КАДРОВ:

176



ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕМОТАЙТЕ ПЛЕНКУ